4
П-78

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова



www.ruslang.ru

75038

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1981

Очередной выпуск серии посвящен актуальным вопросам синтаксиса, грамматики и словообразования современного русского языка. В разделе о языке художественной литературы освещаются семантические проблемы стиховедения.

Ответственный редактор
доктор филологических наук
В. П. ГРИГОРЬЕВ

4
П-78
БИБЛИОТЕКА
ИН-ТА РУССКОГО ЯЗЫКА
АН-ТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР
75038

П $\frac{70101\text{-}373}{042(02)\text{-}81}$ 493-80. 4602000000

© Издательство «Наука», 1981 г.

Г. О. ВИНОКУР

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
(Выпуск первый. Задачи филологии)

ОГЛАВЛЕНИЕ

От публикаторов (с. 3); § 1. Филологические науки (с. 5); § 2. Филология как изучение языка (с. 6); § 3. Филология как обработка текста (с. 8); § 4. Филология как история национальной культуры (с. 12); § 5. Исторические корни филологии (с. 16); § 6. Кризис филологической традиции (с. 21); § 7. Фридрих-Август Вольф (с. 24); § 8. Август Бёк (с. 28); § 9. Ф. Ф. Зелинский (с. 33); § 10. Общее определение филологии (с. 36); § 11. Филология и исторические науки (с. 41); § 12. Филология как «момент» в научной работе (с. 47); § 13. Филология и языковедение (с. 50); § 14. Циклизация филологических наук (с. 54).

ОТ ПУБЛИКАТОРОВ

«Введение в изучение филологических наук» подготовлено к печати самим автором — Григорием Осиповичем Винокуром в последний год его жизни. В 1943/44 и в 1945/46 уч. гг. Г. О. Винокур осуществил свою давнюю мечту: он прочитал в МГУ им. М. В. Ломоносова и МГПИ им. В. П. Потемкина курс лекций для студентов-филологов первого года обучения под названием «Введение в изучение филологических наук». В курсе было четыре раздела: 1) что нужно понимать под филологией; 2) объем и разделы филологии; принципы выделения ее отделов; 3) методы филологии; 4) образцы филологического изучения текстов. Краткое изложение первых трех разделов представляет данная публикация.

Четвертый раздел (т. е. предполагаемый второй выпуск, так и оставшийся не написанным) был посвящен филологическому чтению конкретных русских текстов — от летописи до литературных произведений XIX в. Центральное место здесь занимало чтение Пушкина, и это было неслучайно. Г. О. Винокур считал, что «без филологического изучения Пушкина, предполагающего в первую очередь раскрытие истории пушкинских текстов в связи с анализом стиля, метрики и языка, невозможен дальнейший прогресс в познании Пушкина как великого русского поэта и лучшего представителя русского национального самосознания» (ЦГАЛИ, фонд Г. О. Винокура, № 2164, оп. 1, ед. хр. 65). Будучи автором исследований и изданий «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Бахчисарайского фонтана», «Цыганов» и ряда других произведений великого поэта, Г. О. Винокур использовал в лекциях по филологии убедительные примеры из своей практики пушкиниста-текстолога. Он показывал, как ему удалось установить, кто был цензором «Бориса Годунова», что было написано на вырванном листе рукописи «Бахчисарайского фонтана», кто была няня Василиса, упоминаемая поэтом в письме к Вяземскому, когда было написано стихотворение «К чему холодные сомненья?», что следует буквально понимать под выражением «берега Салгира» и многое, многое другое. Особое место

в этих чтениях занимало комментирование десятой главы «Евгения Онегина»[1].

«Введение в изучение филологических наук» единственно в своем роде не только как учебное пособие. Оно имеет самостоятельное научное значение, так как до сих пор филология понимается неоднозначно, хотя сам этот термин известен с глубокой древности и ученые всех времен и народов неустанно им пользуются.

Филология sui generis привлекала внимание Г. О. Винокура с молодых лет. Более того, проблемы филологии всегда находились в центре всех областей гуманитарных знаний, к которым обращался ученый в течение своей жизни. Этот интерес непосредственно связан с отношением Г. О. Винокура к науке вообще, получившим характерное отражение в следующих его высказываниях.

Первое: «. . .различение проблем и расчленение их предметных оснований остается для меня главным и основным условием всякого научного труда» («Биография и культура». М., ГАХН, 1927, с. 85).

Второе: «Наука строится не рассуждениями о ней, а практической работой над материалом. Но эта практическая работа в очень сильной степени облегчается, когда исследователь ясно представляет себе, какой именно материал и для какой цели он изучает» (ст. «Об изучении языка литературных произведений». — *В кн.: Избранные работы по русскому языку*. М., Учпедгиз, 1959, с. 253).

Третье (на защите докторской диссертации по текстологии и языку Пушкина): «Несмотря на двойственный по внешности характер предлагаемого труда, содержащего в себе, с одной стороны, историко-литературные работы, а с другой — лингвистические и стилистические, сам я смотрю на себя, как на автора этого труда, не как на историка литературы и не как на лингвиста, а прежде всего как на филолога в специфическом значении этого термина. Обе эти науки — сестры, произведения одинаково ориентированного сознания, которое ставит себе задачей истолкование текста. Вот об этих-то общих, собственно филологических задачах обеих наук, служению которым я посвящаю свои силы, мне и хочется напомнить предлагаемым трудом» (ЦГАЛИ, фонд Г. О. Винокура, № 2164, оп. 1, ед. хр. 64).

С проблемами филологии связаны первые книги Г. О. Винокура — «Биография и культура» (М., ГАХН, 1927), «Критика текста» (М., ГАХН, 1927, первоначальное название «Русская филология и русские поэты»), глава «Культура чтения» в кн. «Культура языка» (М., изд-во Работник просвещения, 1925), его доклад в Пражском лингвистическом кружке «Лингвистика и филология» (1929), его многочисленные текстологические работы по Пушкину и, наконец, публикуемый очерк «Введение в изучение филологических наук», в котором сформулированы основные положения филологии как метода, как искусства чтения, как показателя национальной культуры[2].

Т. Г. Винокур Р. М. Цейтлин

---

[1] См. статьи Г. О. Винокура о Пушкине и его комментарии к текстам поэта, а также неопубликованную статью «Мелочи о Пушкине» (ЦГАЛИ, фонд Г. О. Винокура, № 2164, оп. 1, ед. хр. 52).

§ 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

На вопрос о том, какие именно науки называются филологическими, нельзя найти сразу готового ответа по двум причинам. Во-первых, состав этого цикла наук определяется в разных случаях очень различно. Во-вторых, не вполне ясно и то, что, собственно, в разных случаях имеется в виду самым выражением «филологические науки», т. е. каким условиям должна удовлетворять каждая данная наука для того, чтобы ее можно было объединять вместе с другими в составе особого цикла филологических наук.

Относительно состава филологических наук для начала полезно заметить, что вообще он понимается то более узко, то более широко. В центре более узкого понимания состава филологических наук стоит понятие *слова* как продукта человеческой культуры. В этом случае филологическими науками называют те науки, которые исследуют слово в тех или иных отношениях, преимущественно же как явление и орган литературы, в широком смысле этого понятия. Сюда входят частично или целиком языковедение, стилистика, поэтика, риторика, стиховедение, текстология и т. д.

При более широком взгляде на дело речь идет уже не только о слове, но вообще о *всяком* выражении духовной деятельности человека, и тогда пределы филологического цикла наук раздвигаются настолько, что включают в себя всю обширную область наук о человеке и обществе, т. е. не только историю языка и литературы, во всем объеме их проблем, но также историю наук и философии, историю искусств, верований, быта, хозяйства, права, государства и т. д.

Однако бесспорно, что прежде всего должен быть установлен самый принцип, на основании которого отдельные науки включаются или не включаются в число филологических наук. Это заставляет спросить, чем, собственно, объединяются различные науки филологического цикла, при любом понимании его пределов, что именно побуждает нас смотреть на соответствующие науки как науки одного и того же круга? Для такого вопроса тем больше оснований, что внутренняя связь между отдельными науками, относимыми к числу филологических, как это очевидно для всякого, с течением времени становится все более слабой. Она стала совсем слабой даже между науками о языке и литературе, т. е. науками, которые издавна считались самыми близкими родичами

---

[2] Обзор научной деятельности Г. О. Винокура и библиографию его трудов см. в кн.: *Цейтлин Р. М.* Григорий Осипович Винокур. Изд-во МГУ, 1965 (серия: Замечательные ученые Московского университета).

в области человеческого знания. С каждым новым поколением все меньше становится лиц, которые одновременно занимались бы вопросами языка и литературы, все меньшее число лингвистов обнаруживает живой интерес к проблемам литературоведения, все большее число литературоведов утрачивает вкус к фактам языка и умение обращаться с ними. Разумеется, в значительной степени это разобщение между родственными науками есть прямое следствие практической дифференциации наук и возрастающей специализации, этого необходимого и неизбежного условия всякого научного прогресса. Но от этого все же не становится менее необходимым точный ответ на вопрос о том, насколько реальны и существенны те связи, в силу которых мы выделяем в особый, замкнутый цикл так называемых филологических наук науки заведомо различного содержания.

Ответить на этот вопрос, уяснить себе, действительно ли науки филологического цикла представляют собой нечто единое и связаны какой-либо специфической общностью, или же это единство только кажущееся, остающееся в качестве пережитка тех времен, когда знание носило нерасчлененный характер энциклопедизма, естественно, можно только после того, как будет по возможности точно выяснено, какой смысл мы вкладываем в самое понятие филологии.

Это понятие толкуется по-разному.

§ 2. ФИЛОЛОГИЯ КАК ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

При известном взгляде на дело филология может толковаться как деятельность, имеющая целью изучение языка.

Для этого можно указать известные основания даже и в этимологии самого слова φιλολογία, понимаемого как любовь к речи. Правда, древние греки, по-видимому, толковали это выражение скорее как любовь к беседе, порою даже как словоохотливость [1], или, при другом значении слова λόγος, как любовь к знанию вообще, и далее — образованность, преимущественно литературную, книжную. Но дело не в этимологии, а в реальном понятии, которое обозначается данным словом. Если филология есть действительно изучение языка, то возникает вопрос об ее отношении к науке, именуемой лингвистикой (или языковедением, языкознанием, просто — наукой о языке). Здесь возможен ответ двоякого рода: 1) филология есть совершенно то же самое, что и лингвистика; 2) филология, как и лингвистика, изучает язык, но с особой точки зрения.

---

[1] Например, в «Законах» Платона афинянин называет себя φιλόλογος в отличие от спартанца, которого он называет βραχύλογος, т. е. 'малоречивый, говорящий кратко'.

В первом случае дело решается совсем просто, и вопрос сводится лишь к тому, есть ли надобность в этом лишнем обозначении для науки, уже и без того имеющей целых четыре названия. Надо указать, что сами языковеды никогда не называют свою науку филологией, это терминология преимущественно дилетантская. Но, как увидим, она имеет свои корни в определенной традиции, и именно стремление отгородиться от этой традиции и размежевать соответствующие понятия и сказывается в нередко встречающемся утверждении, что наряду с собственно лингвистическим, существует также особое филологическое изучение языка. В чем же отличие одного от другого?

Лингвистика есть изучение языка как такового, как некоторого специфического, ни с чем иным не сливающегося явления действительности, и ставит себе целью раскрыть закономерности, которые осуществляются в жизни различных языков, и далее— языка вообще. В этом смысле язык может быть обозначен как единственная и конечная цель лингвистики. Но в практической общественной жизни язык есть не самоцель, а средство. Поэтому наука вправе, да и должна, спросить себя также, каким образом язык обслуживает те области жизни, для которых он служит орудием. Одна из наиболее важных областей культуры, для которых язык служит орудием, есть письменность, литература в широком смысле слова. Таким образом, возникает вопрос — что такое язык как орудие письменности? Исследование именно этого и сходных с ним вопросов и называют иногда филологическим изучением языка в отличие от лингвистического, весь интерес которого сосредоточен на языке самом по себе. Так, например, одно дело — история форм имени прилагательного в русском языке вообще, другое дело — употребление тех же форм только в одной какой-нибудь специфической области речи, например — речи образной или научной, или в произведениях какого-нибудь отдельного поэта и т. д.

Однако не трудно видеть, что тут нет еще двух разных наук, и что филологию в этом смысле нельзя противополагать лингвистике как в точном смысле термина другую науку, потому что объект изучения в обоих случаях остается тот же — язык. Разница только в том, что в одном случае язык изучается в своих собственных рамках, так сказать «анатомически», а в другом — скорее «физиологически», «функционально», как нечто применяемое в интересах какой-либо иной области культуры, преимущественно — письменности. Вот эта-то связь между языком и теми областями культуры, в которых, как их орган, язык находит себе применение, и подчеркивается главным образом тем пониманием филологии, о котором идет сейчас речь. Запомним для дальнейшего, что здесь, таким образом, нет речи об особой науке «филологии», а имеется лишь своеобразное напоминание о том, что свою фактическую жизнь язык получает лишь как орудие, орган тех или иных областей культуры.

Таково одно из возможных толкований понятия филологии. Далее увидим, что оно имеет возможность опереться на известную историческую традицию, при том традицию не только научной работы, но также и словоупотребления (см. § 5, 13).

§ 3. ФИЛОЛОГИЯ КАК ОБРАБОТКА ТЕКСТА

На другую почву переносится вопрос о филологии тогда, когда под ней разумеют не отдельную науку, и не особое направление в какой-нибудь отдельной науке, а своеобразную деятельность, которой необходимо предваряется всякое исследование, опирающееся на данные письменных памятников.

В этом случае дело заключается в следующем. Все науки, известные человечеству, могут различаться в зависимости от того, имеют ли они возможность судить о своем предмете непосредственно, воспринимая его органами внешних чувств, или же только на основании «авторитета», как выражались когда-то, т. е. на основании тех или иных свидетельств, знаков, уже не чувственно постигаемых, а требующих известного толкования, уразумения. К первым относятся науки о природе, ко вторым — науки об обществе. В числе тех свидетельств, посредством которых доходят до своего предмета науки об обществе, особенно значительное место принадлежит памятникам письменности. К ним в поисках ответа на свои вопросы прибегают историки (в общем значении этого термина), литературоведы, лингвисты, искусствоведы, этнографы, экономисты, те, кто занимается историей науки, историей права, историей религий и т. д., словом все, кто так или иначе соприкасается с прошлым или вообще с тем, что не доступно непосредственному чувственному восприятию.

Однако для того, чтобы памятник письменности мог действительно служить источником исторической науки или какого-нибудь ее частного отдела, его первоначально нужно подвергнуть известной обработке. Его нужно прочесть, перевести, датировать, освободить от разнообразных возможных в нем наслоений в виде описок или вставок, восстановить в нем то, что могло быть опущено или искажено при переписке, может быть — неоднократной, разобраться в содержании и характере изложения, объяснить отдельные непонятные слова или выражения, раскрыть значение собственных имен и названий, в нем встречающихся, и т. д. Такая обработка памятника письменности, обычно принимающая форму научного издания его, снабженного всеми необходимыми данными для собственно научного его использования, и составляет содержание филологической работы в данном толковании понятия филологии.

Этого рода работа над текстом, ставящая себе задачей сделать его пригодным в качестве источника научного исследования, во многих случаях достигает большой сложности и требует самых

разносторонних сведений. Легко сообразить, что сложность этой работы возрастает по мере большей удаленности памятника от нашего времени и нашей культуры. Обрабатываемый текст может быть написан на мало доступном языке, или очень неразборчив по почерку, или вообще отличается дурной сохранностью, так что известную долю текста приходится восстанавливать по другим источникам или по догадке. Текст может отличаться, далее, такой сложностью или недоступностью содержания, что даже хорошее знание языка и умение разбираться в самых трудных системах письма и стилях почерка может оказаться недостаточным для того, чтобы можно было прочесть текст и отдать себе отчет в его смысле. Определение времени и места написания памятника в ряде случаев требует умения комбинировать самые разнообразные данные, относящиеся к качеству писчего материала, к характеру орудий письма, к стилю почерка, заставок, миниатюр, к системе летосчисления, к географической номенклатуре и топонимии, к данным истории языка и его диалектов и т. д. Но какой бы сложностью ни отличалась вся эта работа, какие бы широкие знания и разносторонние дарования ею ни предполагались, вся она, с данной точки зрения, представляется работой вспомогательной, предварительной, черновой, имеющей одну цель: превратить данный письменный памятник в препарированный источник научного исследования.

Ясно, что филология в этом смысле не может быть названа ни отдельной наукой, ни совокупностью или системой каких-нибудь наук. Она есть не что иное, как применение сведений, заимствуемых из различных специальных отраслей знания, к конкретной практической задаче, состоящей в необходимости приготовить для научной работы данный памятник, «дать его в руки» ученому читателю, исследователю. Это — не наука, а своеобразный «рабочий прием», как иногда говорят по этому поводу, особого рода умение, мастерство, ремесло (в хорошем смысле этого слова). Как увидим позднее, иногда это умение толкуется прямо как своего рода искусство. Что же касается наук, к помощи которых приходится в подобных случаях обращаться занятым этой филологической работой, то *эти науки наперед просто не определимы.* Здесь все зависит от характера обрабатываемого документа — от его содержания, от языка, на котором он написан, от отразившейся в нем системы письма, от материала, на котором он написан, от того, есть в нем какие-нибудь элементы художественной графики или живописи или нет, и многого другого. Если такие элементы художественности в документе есть — необходимы данные истории искусств, если это пергамент — нужно воспользоваться данными по истории и технике выделки пергаментов, если это трактат по физике — надо обращаться за сведениями к истории физических знаний и т. д. Никакого своего материала

у «филолога» в этом смысле слова нет, он умеет лишь находить и искусно объединять разнообразные данные и выводы, накопленные специальными науками, для того чтобы должным образом обработать свой текст и представить его ученому читателю во всеоружии ученого аппарата.

Это толкование понятия филологии пользуется широким признанием и имеет несомненную опору в реальной действительности. В духе этого толкования говорят нередко об отдельных представителях различных наук как об «опытных», «искушенных филологах», как о лицах, владеющих «хорошей филологической школой», имея в виду их умение хорошо разбираться в текстах сложного вида и содержания, их хорошие познания в языках и разнообразных системах письма, их обширную эрудицию архивного или энциклопедически-справочного типа и т. д. Но есть один важный пункт в изложенном воззрении, который возбуждает сомнения принципиального содержания. Это — понимание филологической работы, как момента, хотя и необходимого, но все же — только в н е ш н е г о по отношению к собственно научному исследованию, момента подсобного, предуготовительного в общем процессе научного труда, а потому принципиально о т д е л и м о г о от научного анализа и исследования в строгом смысле этих понятий.

Именно эту о т д е л и м о с т ь филологической работы над текстом от подлинно научного анализа и исследования и трудно признать реальной со строго логической точки зрения. Совершенно ошибочно думать, будто можно удовлетворительно обработать текст по правилам филологического мастерства и издать его в свет с надлежащими примечаниями, указателями, критическим аппаратом и словарем, — это обычно и считается задачей филолога, — не изучив предварительно обрабатываемый текст со стороны тех данных, которые заключены в самом его содержании и которые служат предметом соответствующих, заинтересованных в этом памятнике, специальных наук. Думать так, значило бы стоять на позиции крайнего и совершенно беспочвенного формализма. Достаточно одного элементарного примера, чтобы убедиться в полной неправильности такой точки зрения. Между комментаторами «Слова о полку Игореве» существует разногласие по поводу того, как следует понимать в тексте этого памятника слово *Троянь*, напр. в выражениях *рища въ тропу Трояню*, *на седьмомь вѣцѣ Трояни* и т. п. Среди различных гипотез, высказанных по этому поводу, была и такая, согласно которой в подлиннике «Слова» было не *Троянь*, а *Боянь*, а издатели «Слова» смешали сходные в старинной западнорусской графике начертание *Б* и лигатурное начертание *Тр*. Не трудно видеть, что почва для этой гипотезы, как бы ее ни оценивать, создается затруднительностью истолкования слова *Троянь*, если признать такое написание не искаженным. Поэтому противники данной гипо-

тезы принуждены производить сложные исторические исследо вания, цель которых — так или иначе доказать возможност притяжательного прилагательного от собственного имени *Троян* понимаемого различным образом, в тексте древнерусского геро ического эпоса. Таким образом, совершенно внешняя, каза лось бы, задача — выбрать одно из двух чтений для подготовля емого к изданию текста «Слова» или снабдить известной квали фикацией каждое из этих чтений в примечаниях к тексту — ока зывается неразрешимой без развернутых исторических разыска ний и глубокого анализа самого содержания памятника.

Все это не лишает силы нашу исходную точку зрения — все таки до тех пор, пока не решено, как следует читать в соответ ствующих местах «Слова» *Трояню* или *Бояню* и т. д., — текс «Слова» не существует и изучение памятника в его историческом и художественном содержании невозможно. Но все же ясно, что отношения «филологии» к соответствующим специальным наукам нельзя определять как односторонне вспомогательные и служебные. Выясняется, например, что «филолог» не только служит историку, но и сам требует также известных услуг от историка. Дело здесь, разумеется, не в наличности двух лиц: чаще всего бывает так, что «филолог» и «историк» объединяются в одном и том же лице. Дело в наличности двух задач: одна обращена к тексту памятника, другая — к тому, о чем говорится в памятнике. И вот выясняется, что не только практически, но и в существенном смысле одна задача от другой не отделима, и каждая из двух предполагает предварительное разрешение другой. Какие вопросы более общего содержания возникают в связи с этим и как они разрешаются — увидим далее (см. § 10, 11), но уже и сейчас можем утверждать, что односторонне служебный, внешний характер филологической работы в ее отношении к научному исследованию в собственном смысле слова в данном толковании понятия филологии составляет его важное внутреннее противоречие.

Сказанное имеет еще и тот смысл, что не следует представлять себе филологическую работу оторванной от собственно научной работы и в чисто профессиональном отношении. Ничего не может быть более вредным, чем представление о том, что можно заниматься творческой научной работой и создавать содержательные обобщения без необходимости «рыться» в сыром материале, разбирать разного рода «мелочи» текста и т. д., предоставляя всю эту неблагодарную черновую работу особого рода специалистам — «филологам». Разумеется, личные склонности различны. Но в принципе не может быть в науке хорошего чернорабочего, который, по крайней мере, не видит проблем более общего значения, и в особенности верно обратное: не может быть подлинного ученого, который не способен сам обслужить себя со стороны своих потребностей в черновой работе, который не чувствовал бы себя совершенно свободно в атмосфере сырых материалов и так

называемых научно-вспомогательных проблем, более того — не любил бы «рыться» в текстах и изданиях, не считал бы этого *своим собственным делом*. В качестве примера можно было бы назвать знаменитого московского ученого Ключевского, известный четырехтомный «Курс русской истории» которого не содержит почти никаких извлечений из памятников и никакого филологического аппарата, но который, тем не менее, среди деятелей своего поколения был бесспорно самым лучшим знатоком архивного материала, относящегося к истории Московского государства и превосходнейшим «филологом» в данном смысле слова. Изложенное в этом параграфе понимание филологии не свободно поэтому от упрека и в том отношении, что способно внушить представления, в их развитом виде ведущие к выводу, будто ученые вообще делятся на ремесленников-эмпириков, ничего не видящих дальше своего носа, и верхоглядов-теоретиков, не умеющих видеть даже того, что находится у них непосредственно под носом.

Это, однако, не последнее из распространенных толкований понятия филологии.

§ 4. ФИЛОЛОГИЯ КАК ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Довольно широким распространением пользуется также такое воззрение, которое видит в филологии систему наук, совместно изучающих историю какой-нибудь национальной культуры в совокупности всех ее многообразных проявлений.

С этой точки зрения нет какой-либо одной, общей филологии, а есть только филология русская или вообще славянская, английская или вообще германская, и соответственно французская или романская, арабская или семитская, венгерская или финно-угорская и т. д. Каждая такая национальная филология изучает язык, фольклор, письменность, поэзию, этнографию, живопись, зодчество, театр, религию, философию, право, политическую историю и все прочие явления соответствующей культуры, как предметы отдельных глав особого рода «филологической энциклопедии», долженствующей представить подробную и цельную картину духовной жизни данного народа или группы народов. Именно это понимание филологии лежит в основании таких выражений, как кафедра славянской (или иранской и т. п.) филологии, или «Энциклопедия славянской филологии» (издание Российской Академии наук, выходившее в 1908—1915 гг.), «Grundriss der germanischen Philologie» (известное издание Германа Пауля), «Grundriss der romanischen Philologie» (издание Густава Гröбера) и т. п. Короче говоря, филология в данном случае понимается, как история данной национальной культуры, слагающаяся в нечто цельное из истории отдельных ее областей.

Этот взгляд на филологию также не свободен от внутренних противоречий и возбуждает сомнения, по крайней мере, двоякого рода.

Во-первых, отдельные национальные культуры не изолированы. Нет сомнений в том, что каждая национальная культура, рассматриваемая со стороны ее материальных воплощений, действительно специфична и своеобразна. Достаточно в этом отношении сослаться на такие явления культуры, как язык или быт. Но в то же время каждому понятно, что об абсолютной замкнутости национальных границ здесь не может быть и речи. Даже оставляя в стороне все, что может быть сказано о единстве культурно-исторического развития человечества, об общечеловеческих культурных ценностях и постоянном взаимодействии культур, осуществляющемся в ходе человеческой истории, здесь нужно принять во внимание только то, что каждая культура слагается хотя и из не похожих, но *однородных* явлений: у каждого народа есть язык, быт, искусство, политическая история и т. д., хотя все это у разных народов, может быть, и не похоже, не совпадает в своем внешнем, материальном воплощении. Но тогда спрашивается, как, например, надо изучать русский язык: как нечто, составляющее одно целое вместе с русской литературой, с русским искусством, с русским бытом, с русской политической историей, или как нечто, что может быть исследовано в своей природе только при совместном изучении с языками английским, персидским, эстонским и т. д.? Ясно, что русский язык, как один из человеческих языков, может изучаться только так, как вообще изучаются языки в языковедении. И этому нисколько не мешает признание того бесспорного факта, что в своей исторической жизни русский язык тесно связан и даже сливается с русской историей, литературой и вообще со всей русской культурой в целом. Но одно дело — изучение языка, как известной стороны действительности, в его собственной природе, и совсем другое дело — учет тех общих исторических связей и условий, в которых осуществляется конкретная историческая судьба данного языка.

Поэтому приходим к выводу, что так называемая национальная филология никак не может пониматься как некая самостоятельная научная проблема или система наук. В лучшем случае она есть сводка, объединение некоторой части данных, порознь отвлекаемых от отдельных наук в той мере, в какой эти данные применимы в обобщенной истории данного народа или группы народов. Филология в этом смысле, как и ранее, не имеет своего *собственного* материала, а лишь сопоставляет и объединяет сторонние наблюдения и выводы. Такие сводки данных, несомненно, обладают большой практической полезностью и нужда в них возникает постоянно. Но все же это не *система* знаний, а именно только *совокупность* добываемых

со стороны с в е д е н и й, «аггрегат», как когда-то определял филологию этого типа Гегель.

Во-вторых, нужно обратить внимание на разницу, которая существует между культурой отдельного народа и группы народов. Например, культура английского народа, несомненно, представляет собой известное конкретное единство. Но что такое культура «германских» народов, которая должна изучаться «германской» филологией? Да и что такое вообще «германские» народы, понимаемые, как некоторое единство, — реальное ли это единство? Если, например, английская литература имеет известные связи с немецкой литературой, то вряд ли потому, что и англичане, и немцы — народы германские, так как эти связи не могут быть в существенном смысле отличены от связей, которые существуют, например, у английской литературы с литературой романцев-французов. С другой стороны, совершенно ясно, что англо-французские литературные, да и не только литературные связи гораздо более содержательны, чем связи англо-шведские или англо-голландские, хотя шведы и голландцы это тоже германцы. Не трудно прийти к выводу, что не существует никакой «германской» литературы или вообще «германской» культуры как чего-то единого и специфического. Есть только один реальный признак, на основании которого мы вообще распределяем народы по национальным группам. Этот признак — р о д с т в о п о я з ы к у. Германские народы это, может быть, народы в антропологическом, этнографическом и в целом ряде других отношений совсем разные, но они говорят на языках, имеющих общее происхождение. Ясно, что этого слишком мало для того, чтобы говорить о единой культуре в применении к целой группе народов.

И в самом деле, даже и языки германских народов с течением времени стали друг на друга очень не похожи. Общеизвестно, что современный английский язык, например, в целом ряде отношений больше похож на французский, чем на немецкий. Английский язык сохраняет много общего с немецким в общем своем фонетическом облике, в глагольной системе. Но именная система английского языка и его лексика несомненно очень сильно сблизились с соответствующими свойствами французского языка. А уж нечего и говорить о том, что родство по языку вовсе не влечет за собой автоматически родства культуры в остальных отношениях, а главное — совсем не предполагает общности культурного развития. С другой стороны, вполне возможно культурное единство таких народов, языки которых не находятся в отношениях ближайшего родства. Русские по языку гораздо ближе к литовцам и латышам, чем к англичанам или французам, но культурные связи между русскими и народами балтийской группы по своему значению совершенно несоизмеримы с отношениями между русскими и англичанами или французами. Еще более выразительный пример дает нам мировое значение арабской культуры.

Арабы по языку семиты, как и евреи. Между тем, вследствие широчайшего распространения арабского языка и вообще арабской культуры во всем мусульманском мире, арабская филология гораздо теснее связана с филологией тюркской или иранской, чем с еврейской.

Наконец, с идеей национальной филологии в данном отношении плохо согласуется и та область знания, которая, как вскоре увидим, послужила первоначальным образцом для филологии германской, романской, славянской и т. д., именно так называемая классическая, или античная филология. Под этим названием разумеется совокупность наук, относящихся к культуре древней Греции и Рима. Разумеется, и классическая филология не есть система знаний, а только «аггрегат», как об этом сказано было выше. Но зато она свободна от той искусственности, которая характеризует группировку народов по единственному признаку родства языков в филологиях национального типа: греки и римляне объединяются классической филологией не по признаку родства языков, так как греческий и латинский языки, хотя вообще и родственны, как языки индо-европейские, но не образуют отношения ближайшего родства, а действительно по признаку общности культур.

В общем приходим к выводу, что идея национальной филологии в применении к культуре г р у п п ы народов не выдерживает логического испытания в самом своем основании. Она сохраняет известное значение только в применении к древнейшей стадии развития некоторых областей культуры, в строгом смысле — только в применении к древнейшим стадиям истории генетически связанной группы языков, но не может служить стержнем подлинно научного построения. Что же касается национальной филологии как энциклопедии знаний по культурной истории одного отдельного народа, то такая энциклопедия принципиально неспособна перерасти рамок простой сводки разнородного материала и представить собой какое-либо самостоятельное научное целое.

Это, впрочем, не означает, будто культурная история какого-либо отдельного народа как нечто цельное вообще не может служить предметом самостоятельного научного исследования. Но в этом случае искомое ц е л о е культурной истории народа не может быть получено путем механического соединения истории языка, истории литературы, истории быта, верований и т. д., а наоборот, само по себе должно служить прямым предметом и исходным началом исследования. Цель такого исследования должна в этом случае заключаться в том, чтобы выяснить, как известные общие свойства данной нации, окрашивающие собой всю ее историческую жизнь в целом, проявляются в ее языке, литературе, верованиях, быте и т. д. Иными словами, это должен быть путь, прямо противоположный тому пути, каким обычно

идут в построении филологических энциклопедий — путь не от слагаемых к сумме, а от целого к частным проявлениям этого целого. И уже совсем странно было бы именовать такого рода исследование свойств народа в их историческом обнаружении исследованием филологическим. Скорее его можно было бы понять как задачу так называемой *народной*, или *этнической*, *психологии* — науки, провозглашенной во второй половине XIX в. Штейнталем и Лацарусом, представленной (правда, в очень спорной и даже прямо неудачной форме) известным монументальным, но не завершенным трудом Вундта «Völkerpsychologie» и т. д. Другое дело, что наука этнической психологии до сих пор существует больше в намерениях и возможностях, чем в осуществленных результатах. Но здесь не место выяснять причины того, почему эта наука не получила того развития, на которое рассчитывали ее пионеры.

Нужно однако предупредить о том, что исследования, ставящие перед собой задачу изучить «дух народа» (как часто выражаются в этих случаях) в его исторических обнаружениях, подвержены очень сильному соблазну метафорически-идеалистического истолкования этого понятия. Этого рода истолкования народного духа обычно оказывались в ближайшем соседстве с идеями национального и расового шовинизма, от которых не свободны и многие попытки создания филологических энциклопедий. Этим, в частности, объясняется и то настороженно-подозрительное отношение к идеям этнической психологии и национальных филологий, которое наблюдалось в течение второй половины XIX в. в передовых общественных кругах Европы. Так, например, Энгельс чутко улавливал связь между увлечением славянской филологией и реакционными идеями панславизма.

§ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ФИЛОЛОГИИ

Раньше чем продолжать начатое рассуждение о задачах и природе филологии, необходимо спросить себя, существует ли какая-нибудь связь между изложенными до сих пор, столь различными по своему характеру, толкованиями понятия филологии? Случайно ли все эти разнородные построения именуются общим именем филологии, или же между ними и в самом деле есть что-нибудь общее, может быть в прошлом, если не сейчас?

Такая общность есть и заключается она прежде всего именно в общности исторической традиции. Это заставляет нас обратиться к историческим корням современных филологических знаний.

Филологические знания, как обособленный вид деятельности и профессиональных занятий, сложились в эллинистическую эпоху, к концу IV в. до н. э. Высшая точка подъема античной духовной жизни, как она отразилась в памятниках поэзии, науки и искусств древней Греции, к этому времени была уже позади,

и новые поколения принуждены были жить преимущественно великим культурным наследством прошлого. Между тем непосредственная доступность культурных памятников прошлого неизбежно уменьшалась. Ряд обстоятельств, о которых здесь нет надобности подробно говорить, способствовал тому, что одним из наиболее влиятельных центров, сосредоточивших в себе собирание и изучение памятников древней греческой письменности, стала Александрия, возникшая во второй половине IV в. до н. э. в качестве форпоста греческой цивилизации в Египте. Здесь образовалась одна из громаднейших библиотек древнего мира, особенно умножившаяся в правление Птоломея Филадельфа (309—246 гг. до н. э.) и насчитывавшая к этому времени, как говорят источники, до полумиллиона единиц хранения, включая множество дублетных экземпляров.

Уже само по себе это собрание должно было породить профессионалов, которые были бы людьми, сведущими в литературе, умеющими разбираться в различных рукописных версиях одного и того же произведения и выбирать путем сличения лучшие, определять авторов безымянных рукописей и отличать подлинники от подделок, сортировать писателей по тем или иным признакам их достоинства, по жанровым и формальным свойствам их произведений, собирать материал географического, мифологического и иного содержания для объяснения того, что могло уже стать не вполне понятным в текстах классических писателей, составлять соответствующие каталоги, своды и т. д. Все это и стало делом ученых хранителей александрийской библиотеки, которые и явились таким образом *первыми филологами* в определенном смысле этого понятия.

В чисто практической обстановке работы над рукописями александрийской библиотеки на протяжении нескольких поколений в среде александрийских библиотекарей создалась богатая, блестящая филологическая традиция. Многие ее представители успели широко прославиться еще при жизни своей громадной ученостью, искусством обращаться с рукописным преданием, авторитетностью комментария и эстетического суждения, наконец, также и своими талантами мыслителей и писателей. Таковы имена деятелей III—II вв. до н. э. Каллимаха, Зенодота, Эратосфена Филолога (так он сам величал себя, желая подчеркнуть этим свою славу, как необыкновенного эрудита), Аристофана Византийца, Аристарха, деятельность которого (222—150 гг. до н. э.) составляет время высшего расцвета александрийской филологии, и др. [2] В работе этой плеяды деятелей приобрели свои первоначальные очертания и основные отрасли филологического труда — начатки языковедения, критика текста, теория коммен-

[2] Подробности — в сочинениях по истории классической филологии, в частности в т. I сочинения Says'a или в хорошей маленькой книжке Kroll'я.

www.ruslang.ru

тария — «герменевтика», лексикография, источниковедение и т.д. Большой интерес представляет то обстоятельство, что александрийцы никогда не называли свою деятельность именем науки, ἐπιστήμη, они называли ее искусством, τέχνη, и именно ἡ γραμματικὴ τέχνη, т. е. грамматическим искусством, а самих себя соответственно — грамматиками, οἱ γραμματικοί [3]. Конечно здесь «грамматика» означает совсем не то, что сейчас, т. е. не отдел языкознания и соответствующую школьную дисциплину. Александрийцы понимали грамматику в очень широком смысле как искусство, относящееся ко всему написанному и составляющему известный итог, свод всего известного людям [4]. Одно из дошедших до нас и, по-видимому, широко в свое время известных определений грамматики, приписываемое обычно Дионисию Фракийцу (ок. 170—90 гг. до н. э.), понимает под ней «осведомленность (ἐμπειρία) в большей части того, о чем говорится у поэтов и прозаиков». Но были теоретики, протестовавшие против этой ограничительной оговорки: «в большей части». Самое содержание грамматического искусства по тому же определению, складывалось из четырех [5] частей или обязанностей — μέρη ἔργα, officia: 1) умение прочесть произведение в соответствии с правилами просодии, выразительности — ἀναγνωστικόν (μέρος), recitatio; 2) умение исправить погрешности в тексте произведения — διόρθωτικόν, recensio; 3) умение объяснить в нем все требующее комментария — ἐξηγητικόν, interpretatio; 4) умение дать ему надлежащую эстетическую оценку, разумеется, по канонам того времени — κριτικόν, judicium. Для выполнения этих обязанностей грамматик располагал соответствующими орудиями — ὄργανα: знанием языка, метрики и реалий, т. е. имен вещей. Важнейшее из этих «орудий» — разумеется, знание языка во всех его тонкостях, т. е. то, без чего нельзя взять рукопись в руки: здесь, следовательно, истоки традиции, понимающей филологию как изучение языковой формы памятника (§ 2).

На основании сохранившихся данных можно попытаться представить себе общий облик ученого, воспитанного александрийской традицией или другим каким-нибудь сходным очагом эллинистической культуры. Это должен был быть человек, в центре жизненного внимания которого стояла рукопись, книга, текст, автор, как воплощенная идея и сумма знаний и для которого реальная историческая обстановка, сама по себе действительность в ее прошлом и настоящем, существовала преимущественно в той мере, в какой она могла служить объяснением к сказанному у автора. Текст классического автора с этой точки зрения должен

[3] Это обстоятельство очень подчеркивает Узенер в своей замечательной речи «Philologie und Geschichtswissenschaft» (Bonn, 1882).

[4] τὰ γράμματα в буквальном латинском переводе — litterae, означает буквы, а отсюда — написанное, письменность, литература.

[5] В некоторых учениях этих частей насчитывалось шесть.

был представляться как бы фокусом, в котором собирались разнообразные сведения и справки, нужные для того, чтобы этот текст можно было обработать, как этого требовали officia. Ясно само собой, что сведения и справки требовались при этом самого разнообразного содержания. Этим объясняется жадная любознательность, а также и энциклопедический характер учености первых филологов. Среди них были замечательные знатоки вовсе не только языка или метрики, но также сочинений по геометрии, астрономии или географии. Вообще грамматик должен был знать все, т. е. все то, что могло оказаться упомянутым у того или иного автора, в том или ином сочинении.

Все это делает понятным, почему к данному типу знания и занятий действительно не вполне удобно прилагать имя *науки* в строгом смысле этого понятия. Деятельность этого рода представляет собой движение *от действительности к книге*, к автору. Это были, следовательно, знания, характеризовавшиеся не со стороны своего содержания и способа добывания, а только по своеобразному способу их применения в интересах того, что представлялось непосредственной данностью и конечной целью усилий: рукописи, текста. Это делает понятным также и то, что собственные произведения представителей такого рода филологии в такой большей мере представляют собой различные комментарии, схолии, глоссы, справочники, словари и другие образцы этого же жанра.

Теперь не трудно видеть, как родилась и к какому источнику восходит современная филология, когда под ней подразумевают так называемую филологическую обработку текста (см. § 3). Современные приемы филологической обработки текста по своему высокому совершенству совсем не похожи на первые опыты александрийских грамматиков и часто достигают такой высокой степени технической точности, о которой в описанное только что время и мечтать нельзя было. Однако самая *идея* труда и профессии осталась совершенно та же. Первично дан *текст*, и для того чтобы он мог сохранять свое существование, он должен быть обставлен соответствующими условиями. Эта идея из Александрии и других эллинистических центров была перенесена в Рим (первоначальным насадителем филологии в Риме был Кратес из Маллоса, вождь пергамских ученых, враждовавших с александрийскими грамматиками и называвших себя, в противовес тем, «критиками»); она подспудно продолжала жить в течение средних веков в очагах монастырской культуры, зажила новой жизнью после Возрождения и в конце-концов была передана новому времени в виде мощной традиции *классической филологии*[6], т. е. филологии, обращенной к памятникам

[6] Собственно имя *филологии* за этой традицией закрепилось относительно поздно, уже после Возрождения.

Греции и Рима. История этой традиции и специальные особенности ее сегодняшней судьбы не входят в задачу данного очерка. Нужно только упомянуть, что с течением времени, и именно в связи с археологическими открытиями Возрождения и последующих периодов, приемы работы, сложившиеся в применении к письменным памятникам, начали переноситься, разумеется с необходимыми модификациями, и на памятники вещественные. Так, например, реставрация художественных памятников древности представляет собой в идее полную аналогию реставрации утраченных частей какого-нибудь текста и т. д.

Но вместе с ростом и совершенствованием описанной филологической традиции параллельно происходили процессы, подтачивавшие внутреннее единство филологических изучений в их направленности на памятники античной культуры как нечто замкнутое и цельное. Процессы разложения филологии назревали с разных сторон. Во-первых, с течением времени в орбиту внимания любителей письменности и других древностей попадали также памятники не греко-римской, а иных, например, восточных культур. Обработка и изучение этих памятников требовали уже совсем других сведений, иной техники, иного взгляда на вещи. Во-вторых, и это особенно важно, запас всевозможных материалов и сведений, накоплявшихся по мере успехов филологии, становился настолько большим, что неизбежно вызывал дифференциацию труда. Все более трудной должна была становиться задача объяснения памятника во всех отношениях сразу, и при том — памятника любого характера. На этой почве возникало расчленение прежнего типа образованности, т. е. образованности общего энциклопедического характера, на отдельные специальные области, сообразно разным типам памятников, по их форме или содержанию, а также и сообразно различным сторонам действительности, находящим свое выражение в памятниках. Так, одни филологи имели преимущественно дело с текстами поэтическими, другие — с текстами прозаическими, одни — с рукописными, другие — с нанесенными на твердую поверхность — с надписями; одни филологи специализировались на обработке памятников со стороны языка или метрики, другие — со стороны реалий, и т. д. Эти процессы дифференциации филологических знаний продолжаются до сих пор, и в особенности они заметны еще в более молодых по времени сложения областях филологии, как, например, востоковедение, романская или славянская филология и т. д.

Самое же существенное заключается в том, что с известного времени в мировоззрении носителей европейской культуры произошел решительный поворот во взглядах на историю человечества и способы ее изучения. А так как филология всегда имела дело с материалом исторического характера, то это изменение в в понимании истории не могло не коснуться и судьбы филологии

как специфической области знания. Рядом с филологией возникла наука истории, а отдельные области филологии, на которые она постепенно распадалась в силу указанных причин дифференциации и разделения труда, стали приобретать форму самостоятельных исторических наук, обращенных уже не к памятникам, а через них прямо к самой действительности. Таким образом, наряду с расчленением филологии на самостоятельные области знания, создались также параллелизм и конкуренция в отношениях между филологией и историей. Все вместе взятое явилось причиной глубокого кризиса старинной филологической традиции, особенно сильно сказавшегося в первой половине XIX в., но исподволь назревавшего уже и ранее.

Изучение этого кризиса и должно составить ближайшую задачу нашего изложения.

§ 6. КРИЗИС ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Как уже сказано, описываемый кризис наиболее отчетливое свое выражение нашел в том факте, что с филологией стала соперничать научная история. Известно, что история стала наукой в подлинном смысле этого понятия, в сущности, очень недавно — не ранее второй половины XVIII в., а до того представляла собой лишь особую отрасль литературного искусства. Разумеется, предпосылки к превращению истории из литературного рассказа в исследование, опирающееся на твердую почву логики, стали создаваться уже издавна. Но действительно наукой, т. е. исследованием, устанавливающим известные закономерности, история стала только тогда, когда человечество научилось смотреть на совершившееся в прошлом и совершающееся в настоящем не просто как на совокупность интересных или поучительный происшествий и фактов, не как на хаотическое нагромождение случайностей, а как на некоторое связное це л о е, осуществление некоторого р а з в и т и я.

Выработка научного взгляда на историю была, таким образом, одним из существенных результатов исторического мировоззрения, так называемого и с т о р и з м а, явившегося одним из самых могущественных веяний в духовной жизни европейских народов на рубеже XVIII и XIX вв. Распространение исторического миросозерцания тесно связано с расцветом философского идеализма разных оттенков, и это сказалось в том, что время Лейбница, Канта, Гегеля было вместе с тем временем отчетливого формирования и первых прочных успехов философии и методологии истории, впоследствии, разумеется, коренным образом пересмотренных философией диалектического материализма. Но в общем движении к историзму участвовали также писатели-ро-

мантики, с их интересом к народности и старине, с их обостренным чутьем своеобразия и самобытности в различных проявлениях данной национальной культуры. Наконец в том же направлении развивалась также мысль отдельных представителей филологического знания и его различных областей, как, например, Винкельмана, сочинение которого «История древнего искусства» (1764) обычно считают первым прямым выражением самой и д е и исторического искусствознания. В этой-то духовной атмосфере и переживала филологическая традиция то перерождение, о котором мы должны сейчас говорить.

В длительном и сложном процессе превращения истории из литературного явления в явление науки (в известном смысле этот процесс можно считать не вполне законченным и для нашего времени) должны были сыграть свою роль и те собственно исторические навыки и сведения, которые были накоплены филологической традицией. Вот почему в многочисленных сочинениях на тему об «искусстве писать историю», которые предшествуют различным попыткам создать методологию научной истории, и в особенности в соответствующих сочинениях XVIII в., так много говорится о достоверности исторических источников и приемах их критической обработки, т. е. в вопросах, издавна хорошо знакомых филологам и сохраняющих все свое значение и для современной исторической методологии. С известным правом можно сказать, что раньше чем превратиться в научную историю, литературно-повествовательная история должна быть оплодотворена приемами филологического анализа памятников. Крупнейшие историки античности в XIX в., изучавшие античность с позиций научной истории нового типа, были в то же время настоящими филологами-классиками. Таковы, например, Нибур (1776—1831), Моммсен (1817—1903).

Однако в той мере, в какой история нового типа усваивала из филологической традиции свойственные последней строгие и точные приемы работы над источником, неизбежно создавалась атмосфера соперничества между филологом и ученым историком. Последний, естественно, не мог довольствоваться воззрением на исторический факт только как на материал для объяснения памятника. Предметом его исследования был уже не сам по себе памятник, а историческая действительность в ее законосообразном развитии, памятник же стал лишь с р е д с т в о м к овладению этим предметом. Между тем филологи в той мере, в какой они осознавали себя историками, по-прежнему представляли себе историческое исследование только в форме комментария к памятнику. С удивительной ясностью это сказалось в инциденте, о коротом рассказывает один из крупнейших немецких филологов второй половины XIX в. Герман Узенер: «До сих пор, — говорил Узенер в 1882 г., — звучат у меня в ушах поразительные слова, которыми один из моих университетских учителей

приветствовал только что появившуюся книгу о римском триумфе[7]: Как может разумный человек писать исследование о триумфе? Вот если бы ему надо было объяснить какое-нибудь место у Ливия, в котором идет об этом речь, он мог бы достать параллельные места и разъяснить неясное. Но книга? Кто спрашивает сам от себя (von sich aus) о триумфе?» Действительно, филолог старой формации с а м о т с е б я не задает никаких вопросов, а следует только за вопросами, задаваемыми текстом. Поэтому историкам этот традиционный филологический подход к делу должен был казаться смешным и устарелым крохоборством, буквоедством, филологам же новейшие попытки историков — широковещательным дилетантизмом.

Но дело не только в этом перенесении центра внимания с памятника на самую действительность. Дело также в том, что если история есть действительно закономерный процесс, то она есть непременно процесс мировой, общечеловеческий. Этот процесс поразному, с различной степенью яркости своих отдельных этапов, может выражаться в истории отдельных человеческих групп, но во всяком случае история перестает быть повествованием о судьбах избранных, как иногда выражались, «исторических» народов, и в идеале становится наукой о жизни человечества в целом. Понятно, что и эта черта новой исторической науки, с полной ясностью определившаяся в ней только с течением времени, шла в разрез с давней традицией филологических знаний, ограниченных преимущественно областью греко-латинской античности. Сейчас нам представляется элементарно простым тот факт, что история древнего греческого общества теснейшим образом связана с историей других человеческих групп и сама имеет свою предысторию в культуре более древних народов. Но потребовалось известное время, пока этот факт превратился в нечто элементарное для умов, воспитанных многовековой традицией, круг исторических воззрений которой был замкнут тем, о чем говорится у античных поэтов и прозаиков.

Так или иначе, но уже в начале XIX в. создалось положение, неизбежно порождавшее острый конфликт между филологией и историей. Оказалось, что предметы, составлявшие в течение многих веков область филологических занятий, выделяются из состава филологического энциклопедизма, при том не только по причинам необходимости разделения труда, но также и в результате критического пересмотра прежних методов работы. Исторические знания эмансипируются, образуют особую научную область, создают новую линию научно-академической специализации. При этом важнее всего то, что этот процесс эмансипации переживается не только так называемой общей историей, т. е. историей социально-политической и военной, историей государств

[7] Речь идет о книге, изданной в 1854 г.

и народов, но также и всеми теми частными ответвлениями исторической науки в ее всеобъемлющем смысле, которые мало-помалу начали вырастать в особые научные дисциплины по мере усложнения проблем и увеличения материалов, т. е. историей литературы, историей языка, историей искусств, историей научного знания, историей хозяйства, историей религий и т. д. Все эти отдельные исторические науки на протяжении XIX в. одна за другой стали формироваться как особые проблемы и особые специальности, отрываясь от породившей и воспитавшей их филологии, подобно тому, как созревшие птенцы покидают гнездо, в котором они выросли. Но если, таким образом, вся филология оказалась поделена на части, зажившие обособленной, самостоятельной жизнью, то сама филология, очевидно, должна была прекратить свое существование, потому что стала беспредметной? Именно в этой форме и обозначился тот конфликт между филологией и историческими науками, о котором здесь говорится: если история и ее отдельные отрасли действительно представляют собой самостоятельные науки, то что остается делать филологии? Если же филология тем не менее существует, то как примирить ее традиции с теми новыми научными запросами, которые идут от истории и отдельных исторических наук?

Неудивительно, что именно первая половина XIX в. оказалась эпохой, особенно богатой различными методологическими сочинениями и соответствующими дискуссиями на тему о том, что такое филология и каковы ее отношения к истории. Спокойная, усидчивая работа над классиками и античными источниками, давшая обильные и ценнейшие плоды на почве, возделанной Ренессансом, сначала во Франции (XVI—XVII вв., крупнейший представитель эпохи — Иосиф Скалигер), потом в Голландии и Англии (XVII—XVIII вв., крупнейший представитель эпохи — англичанин Ричард Бентли), с конца XVIII в. стала все более заметно сопровождаться тревожными поисками ответа на общий вопрос о природе филологии и ее месте в системе человеческих знаний, напряженной разработкой вопросов филологической методологии.

Вопросы эти разрабатывались преимущественно в Германии, в обстановке расцвета философского идеализма и художественного романтизма. Основной вопрос этого рода был вопросом об отношении филологии к истории. С двумя важнейшими попытками дать ответ на этот вопрос мы теперь и познакомимся. Это попытки Вольфа и Бека.

§ 7. ФРИДРИХ-АВГУСТ ВОЛЬФ

С именем Фридриха-Августа Вольфа (1759—1824) издавна уже принято связывать новую эру в истории филологических знаний в Европе, и это, независимо от специальных заслуг Вольфа

в области классической филологии [8], надо признать верным в том отношении, что Вольф явился создателем первой по времени, вполне обстоятельно изложенной *системы филологии* как рационально построенного и замкнутого круга знаний. Вольфу именно принадлежит попытка понять филологию как самодовлеющую единую *науку*, и это сказалось уже и в том характерном факте его биографии, произведшем большое впечатление на его современников, что при поступлении в число студентов геттингенского университета в 1717 г. он настоял на том, чтобы его записали в матрикуле как «студента-филолога» (Studiosus Philologiae), что совершенно не предусматривалось обычаями: были только студенты-теологи, студенты-юристы и т. д. Однако, признавая эту выдающуюся роль Вольфа как систематизатора филологических знаний своего времени, нельзя не соглашаться с мнением некоторых историков филологии, что, собственно *идейная* инициатива в новой филологической эре принадлежала не Вольфу, а создателям романтического и неогуманистического мировоззрения, воспитанником которого был он сам [9].

Вольф был больше всего педагог, и именно из его педагогической деятельности, как он сам об этом сообщает, выросла та система филологии, которую принято считать поворотным пунктом в истории этой области знания. В 1807 г. Вольф опубликовал сочинение под заглавием: «Darstellung der Alterthums-Wissenschaft («Изложение науки о древности»). В предисловии к этому сочинению говорится, что оно выросло из цикла лекций, служивших «введением к энциклопедическому обзору знаний, обычно именуемых филологическими». По словам Вольфа, в самом же начале его профессорской деятельности он почувствовал «властное стремление отдать себе самому и своим слушателям определенный отчет в общем понятии, содержании, связи и основной цели занятий этого рода, относительно которых сочинения самых признанных знатоков представляют мало удовлетворительного». При этом, говорит Вольф, он поставил себе задачей понять весь круг соответствующих знаний как «одно органическое целое» и этим поднять их до уровня «упорядоченной философско-исторической науки». С этой целью он и начал читать названный курс лекций — впервые в 1785 г. Таким образом, названное его сочинение представляет собой плод по меньшей мере двадцатилетнего опыта размышлений и преподавания. В чем же заключается итог этого длительного опыта?

---

[8] Одна из важнейших заслуг Вольфа в этом отношении — новая постановка вопроса о Гомере в его знаменитых «Prolegomena ad Homerum» (1795).

[9] Например, Кролль пишет: «Новая эпоха в нашей науке начинается не с Вольфа, с которого обычно ее начинают, а с Винкельмана, Лессинга и Гердера».

Основная мысль сочинения Вольфа отчасти сказывается уже в том именовании, которое он избирает для анализируемой им области знаний. Перечисляя ходовые обозначения этой области — «филология», «классическая ученость», «древняя литература», «гуманитарные занятия», «изящные науки» (перевод французского belles lettres — выражения, впоследствии закрепившегося в качестве обозначения повествовательной художественной литературы), Вольф находит известные недостатки или неясности в каждом из них. Он предпочитает всем им свой собственный термин Alterthums-Wissenschaft — «наука о древности», содержание которой он определяет как «совокупность знаний и сведений, знакомящих нас с действиями и судьбами, с политическим, ученым и бытовым состоянием греков и римлян, с их культурой, с их языками, искусствами и науками, нравами, религиями, национальными характерами и образом мышления, так что мы становимся способными основательно понимать их дошедшие до нас произведения и, проникая в их содержание и дух, воспроизводить античную жизнь и сравнить ее с позднейшей и современной».

Раскрывая далее в подробностях эту формулу, Вольф характеризует отдельные отрасли, из которых в сумме слагается постулируемая им наука о древности. Это, во-первых, знания служебного характера, представляющие собой о р г а н собственно науки, а именно грамматика, герменевтика, определяемая как «искусство проницательно раскрывать мысли автора из их изложения», и критика. Во-вторых, это различные дисциплины, порознь ведающие отдельными сторонами античной культуры, как, например, древняя география, хронология, мифология, история литературы, история искусств, эпиграфика, так называемые древности, т. е. история социальных установлений, ремесел, быта и т. д. В общем итоге схема Вольфа состоит из двадцати четырех дисциплин, составляющих в совокупности «науку о древности», считая дисциплины обоих родов, причем дисциплины второго рода — порознь применительно к грекам и римлянам.

Здесь нет надобности входить в подробное обсуждение всего хода аргументации Вольфа и тех характеристик, которые он дает отдельным дисциплинам из числа этих двадцати четырех. Общая идея Вольфа в достаточной мере определяется уже и тем немногим, *что сказано*. Не трудно видеть, что это есть та именно идея, *которая* лежит в основании рассмотренного уже выше (§ 4) воззрения на филологию как на особую научную систему, складывающуюся из совокупности знаний об отдельной, в себе замкнутой культуре, т. е. также и в основании понятия так называемой национальной филологии. Именно Вольф и был первым научным организатором этой идеи, перенесенной учеными последующих поколений с античной почвы на почву культурной истории других народов или групп народов.

Разумеется и сам Вольф не мог не понимать, что допускавшееся им ограничение «науки о древности» только культурой греков и римлян нуждается в какой-то рациональной мотивировке. Ведь древность это не только греки и римляне, но также, как заявляет сам же Вольф на первых страницах своего сочинения, египтяне, евреи, персы, народы Азии и Африки. Но, рассуждает Вольф, есть существенная разница между греками и римлянами, с одной стороны, и прочими народами — с другой. Первые создали «высшую подлинную духовную культуру», тогда как вторые — только «цивилизацию». Это противопоставление к у л ь т у р ы и ц и в и л и з а ц и и, ставшее после Вольфа привычным в европейской науке, может быть оправдано лишь как указание на разные и последовательные стадии в истории той или иной человеческой группы, но совершенно порочно, если его понимать как разную о ц е н к у истории р а з н ы х человеческих групп. Да и с чисто фактической стороны непонятно, почему египетская или еврейская культура не такие же культуры, как греко-римская. Вся разница лишь в том, что не первые, а последняя стала отправным пунктом культурного развития современных европейских народов, в принципе же здесь нет никакого различия. Но Вольф находился под обаянием распространенного в его время неогуманистического воззрения на древнего римлянина и особенно грека как на идеал духовного развития человеческой личности, следовательно, и как на идеал в о с п и т а т е л ь н ы й . — воззрения, ярко отметившего собой деятельность Винкельмана, развивавшегося Вильгельмом Гумбольдтом и вообще оставившего очень заметный след во всей европейской культурной жизни XIX в. Тем не менее уже и ближайшие преемники Вольфа не могли не признать его систему, ограничивавшую рамки филологии греко-римской античностью, с этой стороны логически не выдержанной и ошибочной.

Довольно быстро обнаружилась также ее несостоятельность и в том отношении, что она была создана лишь применительно к древним, но не к новым народам. Как раз эпоха Вольфа была эпохой первоначальных успехов сравнительного языковедения, установившего языковое родство греков и римлян с рядом народов Востока и новой Европы. Установление этих родственных языковых связей произвело громадное впечатление на ученых начала XIX в., и в пылу увлечения они не заметили, как это языковое родство стало переноситься и на родство этническое и культурно-историческое. Рядом с понятием «праязыка» возникло понятие «прародины», как будто бы, например, несомненное языковое родство современных так называемых германских народов должно предполагать их совместное происхождение в чисто этническом и территориальном смысле (на самом деле, как мы знаем, отдельные германские народы, как, например, немцы и англичане, представляют собой совсем разные этнические типы). Овладевшая умами фикция полного единства национальных

групп (не просто языков!) в далеком прошлом и породила то выделение обще-индоевропейской, а затем германской, романской, славянской и т. д. филологий, о котором уже шла речь в § 4. Таким образом, перенесение идеи Вольфа на почву новых европейских народов лишь внешним образом исправило логическую ошибку Вольфа, состоявшую в ограничении филологических наук исключительно древним и античным материалом. Но вместо этой ошибки появилась новая, при том гораздо более опасная, потому что она была менее заметна, а именно ошибка внесения этнического принципа в построение филологии как науки.

Важнее же всего то, что система Вольфа явилась не столько ответом на вопрос, который был задан филологии идеей научной истории, сколько уклонением от этого ответа. Эта система отвечала лишь на вопрос о том, что такое филология, с точки зрения Вольфа. Между тем отвечать надо было на вопрос о том, что такое филология как наука, отличная от истории, возможна ли филология как наука, несовпадающая с научной историей и отдельными ее ответвлениями. Не трудно видеть, что на этот последний вопрос построения Вольфа дают недвусмысленно отрицательный ответ, потому что все дисциплины, составляющие вольфовскую науку о древности, за исключением грамматики, герменевтики и критики, играющих в этой системе роль «органа» знаний, представляют собой не что иное, как именно исторические дисциплины. Прямо не высказанный, но с неизбежностью вытекающий из системы Вольфа вывод состоит в том, что классическая филология, какими бы новыми названиями ее не именовать, есть не что иное, как совокупность наук, изучающих историю Греции и Рима в широком смысле. Выражение «аггрегат наук», примененное Гегелем к филологии, было высказано им именно по адресу системы Вольфа и подражаний ей. Но вместе с тем ясно, что конфликт между филологией и идеей научной истории на почве вольфовской системы приводил к методологическому поражению первой: попытка понять филологию как самодовлеющую, особую науку Вольфу явно не удалась.

§ 8. АВГУСТ БЁК

Существенно новый и очень плодотворный нюанс в понимание отношений между филологией и историей был внесен деятельностью Августа Бёка (1785—1867), одного из наиболее видных преемников Вольфа в истории классической филологии в Германии. Как и Вольф, Бёк был выдающимся университетским преподавателем. В течение многих лет он, по образцу Вольфа, читал обобщающий курс «энциклопедии и методологии филологических наук». Этот курс уже после смерти Бёка был издан по запискам одним из его слушателей в 1877 г., но свои основные мысли по вопросу о природе филологии Бёк по различным поводам успел высказать в пе-

чати еще при жизни, а кроме того они многократно излагались и комментировались различными его учениками, не только в Германии, но и за ее пределами.

В чисто философском смысле изложение предмета у Бёка стоит на неизмеримой высоте в сравнении с системой Вольфа. Это сказывается уже в первом параграфе его курса, который начинается так: «Понятие какой-нибудь науки или научной дисциплины не может быть определено тем, что будет по очереди перечислено то, что входит в ее предмет. Это как будто бы кажется само собой разумеющимся; но филологию многие привыкли рассматривать только как аггрегат, и те, кто так смотрят на нее, не могут дать о ней другого понятия, ктоме состоящего в перечислении ее частей, т. е. по существу никакого. . . Определение филологии через перечисление ее частей нисколько не лучше определения прекрасного, которое Платон вкладывает в уста Гиппия: прекрасное — это прекрасная девушка, золото и т. д.». Бёк называет такие способы определения филологии «смехотворными». В этом полемическом приступе к предмету нельзя не видеть решительного намерения преодолеть чисто эмпирическую, лишенную подлинного философского духа, систему Вольфа. В другом месте Бёк и прямо заявляет, что Вольф «обнаруживает полную неспособность к образованию понятий», что, по его словам, «не необычно для филологов». Сам Бёк идет совсем иным путем.

Прежде всего он старается выяснить, может ли быть приписано понятию филологии нечто, что отличало бы ее от прочих наук. Указав, что понятие филологии не отождествимо ни с понятием науки о древности, ни с понятием языкознания, истории литературы, критики и т. д., Бёк, однако, в результате приходит к выводу, что филологию по предмету ее занятий невозможно отличить от истории. «История, — говорит он, — только по видимости различается от филологии, и именно в отношении объема, так как обычно историю по ее главному предмету ограничивают политической стороной, а остальную культурную жизнь рассматривают в дополнение к государственной жизни». Вывод этот имеет, таким образом, по внешности отрицательный характер. Но нужно сказать, что он вовсе не вытекает из самого хода рассуждений Бёка и прочих определений, какими он предваряется, а именно в них и заключается оригинальная сторона его учения.

Дело в том, что Бёк говорит о филологии не только как о сумме знаний, в каковом отношении она действительно сливается с историей в широком смысле слова, но и как об особом способе смотреть на вещи и разновидности познавательного акта. Все науки, рассуждает Бёк , в конечном итоге составляют две области, как он выражается — «физику» и «этику», т. е. науки «о природе» и науки «о духе». Филология не вмещается в эту схему, так как не принадлежит ни к одной из этих двух областей, но в то же время в известной мере охватывает обе.

Поясняя эту несколько неожиданную мысль, Бёк говорит, что филолог не должен философствовать как Платон, но п о н и м а т ь Платона обязан, при чем вовсе не только как произведение словесного искусства, со стороны формы, но также и со стороны содержания. Точно так же филолог не может заниматься физическими опытами и рассуждениями, но с о ч и н е н и я исследователей природы составляют все-таки объект филологии. Вообще, говорит Бёк, не создание чего-либо, не «продуцирование» входит в задачи филологов, а только познание созданного, «продуцированного». Поэтому истинную задачу филологии он определяет как п о з н а н и е п о з н а н н о г о, познание того, что уже создано наперед человеческим духом.

В этой крылатой формуле — «познание», или как Бёк выражается в другом месте, «воспознание познанного» (Erkenntnis или Wiedererkenntnis des Erkannten) — под «познанным» понимается не только в прямом смысле ставшее известным науке, но познаваемое также и художественно, воплощенное в практическом действии, вообще все, нашедшее свое закрепление в каком-нибудь сообщении, знаке, образе, слове. Вследствие этого, говорит Бёк, филологическое познание составляет своеобразную аналогию к философскому познанию. Философия познает первично γιγνώσκειν, филология — сызнова ἀναγιγνώσκειν — «слово, которое в греческом языке не даром сохранило значение чтения, так как чтение есть отличительная филологическая деятельность, а склонность к чтению — первое выражение филологической склонности». Совсем кратко Бёк определяет вторичное познание познанного как п о н и м а н и е. Все это дает ему право смотреть на филологию как на одно из необходимых условий культурной жизни, как на элемент, «первично заложенный в глубине человеческой природы и в цепи культуры». Филология, говорит он, покоится на одной из основных склонностей образованных народов; философствовать (φιλοσοφεῖν) может и необразованный народ, но не филологизировать (φιλολογεῖν).

Вот самое существенное в учении Бёка о филологии. Как видно из изложенного, в этом учении переплетаются две плохо между собой согласованные линии рассуждения. С одной стороны, Бёк *не отказывает филологии в значении н а у к и, хотя сам же* признает, что в этом отношении нельзя установить никакого различия между *филологией и историей, понимаемой в широком смысле* слова, а не только как история политическая. С другой стороны, Бёк видит в филологии особый вид познания, и даже шире — особое отношение к действительности, а именно — умение видеть и воспринимать действительность только в осуществленных уже актах ее познания и восприятия. В соответствии с этим Бёк делит филологию на две отдельные области: 1) филологию «формальную», которая содержит учение о методах «познания познанного», показывает, как это своеобразное познание, отождествляемое им,

как сказано, с пониманием, достигается; и 2) филологию «материальную», представляющую собой совокупность реальных исторических сведений: ограничение этой области только историей греко-римского мира у Бёка уже не имеет принципиального характера, как это было у Вольфа, и объясняется исключительно технически понимаемой необходимостью разделения обширной истории человечества на частные проблемы.

В этом совмещении двух разнородных проблем, в этом опыте понять «формальную» и «материальную» филологию как две части, два отдела чего-то целого, и заключается несомненная логическая ошибка Бёка. Но в то же время большое преимущество учения Бёка по сравнению с системой Вольфа заключается в том, что обе части филологии, «формальная» и «материальная», хотя бы и внутри единого целого, но все же разделены. Преимущество это состоит в том, что признание тожественности филологии как науки с историей не влечет за собой логически непризнания реальности филологии вообще, т. е. того отрицательного в отношении филологии вывода, к которому неизбежно ведет система Вольфа, если продумать ее основания до конца.

Для того чтобы быть последовательным, Бёку нужно было бы сказать, что никакой «материальной» филологии вообще не существует, потому что это то же самое, что история, потому что в этом смысле слово «филология» есть лишь затуманивающий сущность вещей и совершенно излишний синоним к слову «история». Если можно говорить о филологии как о чем-то отличном от истории, не совпадающем с ней, то только, действительно, как об особом способе видеть действительность, как о методе, и как раз в очень глубоком, содержательном определении и раскрытии этого метода и заключается историческая заслуга Бёка, не до конца оцененная последующими поколениями.

Как указывает сам Бёк, а также его биографы и ученики, в своем понимании филологии как метода он ближайшим образом отправлялся от идей Фридриха Шлейермахера (1768—1834), известного протестантского религиозного мыслителя, философа-романтика, но также и классического филолога, очень много сделавшего, в частности, в области изучения Платона [10]. В ряде сочинений, посвященных теории филологического метода, в которых теперь, разумеется, многое очень устарело, но многое и сейчас сохраняет еще поучительность, Шлейермахер прямо говорит о филологии как об искусстве, и именно искусстве усваивать чужую мысль, искусстве понимать. Не трудно видеть, что здесь устанавливалась таким образом известная преемственность

[10] Например, в одном месте своей «Энциклопедии» Бёк говорит, что он сам не может отличить, что в его изложении принадлежит его собственной мысли, а что идет от Шлейермахера.

с традициями александрийской филологии, но, разумеется, на соответственно более высоком уровне теоретической мысли. В краткой формуле движение от александрийцев до времени Шлейермахера и Бёка можно охарактеризовать так: первоначальная филология александрийцев, захиревшая в средние века, но ожившая в эпоху Возрождения, породила из себя систему исторических наук, однако не растворилась в этих науках без остатка и сохранила свое самостоятельное существование в качестве того особого искусства читать и обрабатывать документы, каким она и была с самого начала.

Поставив на плодотворную почву учение о «формальной» филологии как методе, Бёк вместе с тем сумел отделить ее от изучения языка. Вопреки явно недостаточному учению Вольфа о языкознании как «органе» филологии, Бёк справедливо видит в изучении языка одну из задач не «формальной», а «материальной» филологии, в область которой оно входит наряду не только с изучением письменности, литературы, философии и науки, но также и с изучением памятников частного и общественного быта, памятников искусства, вообще вещей в широком смысле слова. Своей практической деятельностью Бёк, в частности, значительно стимулировал изучение именно последних, т. е. не-языковых памятников античного мира [11]. В обоих этих отношениях, т. е. в отказе от взгляда на языкознание как только на «орган» филологии и в значительном расширении собственно исторического изучения не-словесной стороны античного предания, Бёк наталкивался на непонимание и даже просто враждебное отношение со стороны своих товарищей по специальности, классических филологов первой половины XIX в. В анналах классической филологии на долгое время осталась памятной ожесточенная полемика между Бёком и его школой, с одной стороны, и школой Готфрида Германна (1772—1848), изумительного знатока античных языков и литератур, всецело стоявшего на позициях старой филологической традиции, — с другой. Германн отрицал так называемую «материальную», или, как говорили также, «реальную» филологию, и был прав, пока это отрицание не превращалось в отрицание исторической науки, истории языка, истории искусств и т. д., и не проявлялось в фактах, вроде приводимого Узенером (см. § 6). Но, с полным основанием настаивая на том, что филология имеет дело лишь с критикой и истолкованием текстов, Германн в то же время оказался неспособен возвыситься до такого содержательного раскрытия самой идеи филологической работы над памятником, которое просвечивает в поучительных и талантливых размышлениях Бёка.

---

[11] Здесь особенно большое значение имела деятельность его друга и ученика Карла Готфрида Мюллера (1797—1840).

§ 9. Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ

В форме, не до конца последовательной и ясной, Бёку все же удалось показать, *как* может быть разграничена область собственно филологии от области научной истории. Однако задача заключается не только в том, чтобы размежевать обе эти области, но также выяснить их взаимные отношения. Филология и история — не то же самое. Но ведь это еще не значит, что обе эти области вполне чужды одна другой. Наоборот, как мы хорошо знаем из повседневного научного быта и как будет выяснено в дальнейшем изложении, в практической научной работе эти области одна от другой неотделимы. В чем же заключаются их взаимоотношения? Один из наиболее ясных ответов на этот вопрос был дан выдающимся русско-польским филологом-классиком конца XIX столетия Ф. Ф. Зелинским.

Сущность воззрений Зелинского по данному предмету доступна нам по очень краткому, но чрезвычайно отчетливому ее изложению в статье «Филология», помещенной в 70 полутоме «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. По сравнению с Бёком изложение Зелинского имеет то неоспоримое и важное преимущество, что он рассматривает филологию и историю не как две *части* чего-то единого и цельного, а как две *стороны*, или два *аспекта*, одной и той же, как он выражается, «историко-филологической науки». Это не просто различие терминов, но также различие в самом понимании существа дела. То, что у Бёка приходится вычитывать, договаривая недосказанное за автора, Зелинский прямо формулирует от себя. Именно он отчетливо заявляет, что *материально* филологию и историю разграничить невозможно, но что различие между ними — *в методе исследования*.

Историко-филологическую науку Зелинский понимает как такую, которая имеет своим содержанием «изучение творений человеческого духа в их последовательности, т. е. в их развитии». Объект этой науки таков, что его нельзя изучать непосредственно, «лицом к лицу», — хотя бы уже потому, что он представляет собой прошлое [12]. Его изучение возможно только потому, что он оставил известные следы — памятники, которые стоят между исследователем и его объектом и «обусловливают распадение историко-филологической науки на историю и филологию». «Чем ближе, — говорит Зелинский, — какой-нибудь ученый труд к памятникам, тем более носит он филологический характер; чем больше он удаляется от памятников и налегает на общие законы развития, тем более его характер будет историческим. Другими словами: фило-

[12] Ниже увидим, что дело не только в специфике истории как науки, изучающей *преимущественно* прошлое (*принципиально* она может изучать и «текущее»), а в особой, опосредствованной данности исторического предмета.

логия — это обращенная к памятникам история — обращенная к общим законам развития сторона историко-филологической науки; история и филология — не две различные науки, а два различных аспекта одной и той же области знания . . . Отсюда следует, что строгое отделение истории и филологии на практике невозможно: всякий филолог должен быть в известной части своего научного естества историком, и наоборот; иначе филологическая деятельность будет бесцельной, а историческая — беспочвенной».

Но что, собственно, означает эта установка на памятник, которая характеризует специфическим образом филологию? Она выясняется из анализа самого понятия памятника. Дело в том, что памятник, в том виде, как он нам дан непосредственно, как он сохранился и до нас дошел, не может еще служить источником исторического построения. Различая памятники географические (например, самая земля), этнологические (люди с их языком, обычаями, верованиями), археологические (постройки, утварь) и библиологические (письменность), Зелинский говорит о них так: «Западное побережье Малой Азии значительно изменилось за двадцать веков, вследствие наносов ее рек, религия греков изменилась вследствие принятия христианства, данный барельеф или данная надпись сохранены в неполном виде, данное литературное произведение пострадало вследствие невежества или произвола переписчиков. Итак, требуется наука, которая научила бы нас парализовать влияние столетий, отделяющих нас от древнего мира; эта наука называется к р и т и к о й». Так возникает и оформляется потребность о б р а б о т к и памятника, в которой то, что именуют филологической критикой, составляет один из важнейших моментов, но которая одной критикой еще не исчерпывается. Общий смысл подобной обработки памятника заключается в том, чтобы превратить его в подлинный и с т о ч н и к для познания соответствующего исторического предмета.

Критика, рассуждает далее Зелинский, имеет своей целью «восстановить данный памятник в том виде, в каком он был в искомую эпоху». Но далее наступает необходимость данный памятник п о н я т ь, и при том «понять в с е с т о р о н н е, так чтобы в нем не осталось ни одной невыясненной стороны». Эту задачу Зелинский возлагает на «аналитическую герменевтику», обычным выражением которой считает объяснительные издания авторов. После этого уже начинаются задачи собственно истории, для которой, как мы помним, памятник есть лишь след чего-то, в чем отразились общие закономерности развития. Но, говорит Зелинский, между филологией и историей существует «мост» в виде «синтетической герменевтики», которая отличается от «аналитической» тем, что она, во-первых, останавливается в данном памятнике не на всем, что в нем требует объяснения, а только на том, что непосредственно интересует данную область исторической науки, а во-вторых, тем, что не ограничивается рамками дан-

ного памятника, а собирает однородные данные по многим памятникам — собирает все памятники, в каких рассчитывает найти материал для данной исторической науки.

Итак, *памятник* с помощью *критики* превращается в *свод источников*, который находит себе объяснение в *аналитической герменевтике*, а *синтетической герменевтикой* превращается уже непосредственно в *материал* соответствующих исторических наук. Таков путь от филологии к истории в изображении Зелинского.

Нельзя не признать очень удачным предлагаемое Зелинским построение. Из него следует, что в центре внимания как филолога, так и историка стоит *памятник*. Но для первого памятник в его прямой данности и есть непосредственный объект работы, а для второго — это только исходный пункт исследования. Первый пользуется разнообразными данными, собираемыми им также, но не исключительно, у историков, для того чтобы «обработать» памятник, т. е. восстановить его в подлинном виде и объяснить его — и это есть содержание «критики» и «аналитической герменевтики», по Зелинскому. Второй же, пользуясь результатами этой обработки, видит в памятнике не целое, не объект sui generis, а только вместилище потребных ему сведений, которыми он и распоряжается так, чтобы эти сведения могли служить материалом для исторического изложения и соответствующих научных выводов («синтетическая герменевтика» Зелинского). Так филология и история, действительно, оказываются двумя сторонами работы над памятником и в этом смысле практически неотделимы одна от другой.

Изложенное учение Зелинского нельзя признать достаточным только в одном отношении. Именно, оно не дает ясного и развернутого понятия о природе того, что представляет собой в самом своем существе та филологическая сторона работы над памятником, объем и границы которой намечены Зелинским в общих чертах правильно. Зелинский говорит об отдельных этапах или приемах этой работы как об отдельных научных дисциплинах, характеризуя их по их непосредственной практической задаче — критической или объяснительной. Но сущность этой работы требует более глубокого, принципиально-философского определения. В этом отношении гораздо ближе к делу несомненно оказывается традиция, видящая в филологии своеобразное «искусство понимания», традиция, которая, как мы видели, имеет очень древние корни и которая в новейшее время была поддержана школой Шлейермахера — Бёка и в дальнейшем горячо отстаивалась, например, Германом Узенером (1834—1905).

Судя по его равнодушно-скептическому отзыву о теории Бёка, Зелинский не считал эту традицию своей. Между тем именно она, разумеется, с надлежащим ее очищением от философских

идеалистических предпосылок и всего того, что уже неприменимо к современным требованиям научности, должна быть положена в основу попыток дать ответ на вопрос, что же, собственно, представляет собой филология и какое специфическое содержание заключено в этом понятии.

§ 10. ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОЛОГИИ

Со всей решительностью нужно установить прежде всего то положение, что ф и л о л о г и я н е е с т ь н а у к а, точнее — что нет такой науки, которую, в отличие от других, можно было бы обозначить словом «филология», как ее названием. Эмпирическое содержание всего того, с чем имеет дело филология, без остатка покрывается предметом соответствующих специальных наук, исследующих отдельные стороны исторической действительности. Поиски специфического содержания для филологии на этом пути, как мы имеем право заключить на основании множества попыток этого рода с конца XVIII в. и до наших дней, абсолютно бесплодны и не могут привести ни к какому положительному результату.

Но действительность дана нам двояко — как п р и р о д а и как к у л ь т у р а: в первом случае — непосредственно, и тогда она постигается наблюдением и экспериментом; во втором — опосредствованно, в известных чувственных воплощениях, в той м а т е р и и, которая, по слову Маркса, изначально «как проклятие» отягощает сознание, но которая сама по себе не есть еще самое сознание, а только чувственная оболочка, его овеществляющая и реализующая, — и в этом втором случае действительность постигается через расшифровку смысла этих чувственных примет, через их п о н и м а н и е. Эти чувственные воплощения, в которых нам дана культура, и есть то третье, что стоит в данном случае между наукой и постигаемой ею действительностью.

Дело заключается вовсе не в том только, как говорят обычно, и как повторяет и Зелинский, что история имеет дело с прошлым, т. е. с тем, что недоступно непосредственному наблюдению. Ведь науки о природе также часто имеют дело с прошлым, — достаточно сослаться хотя бы на *геологию или палеонтологию*. Но геология или палеонтология восстанавливают прошлое по сохранившимся материальным остаткам этого прошлого, от которых и заключают к целому. Между тем изучение культуры, даже и тогда, когда оно направлено на соответствующие явления современности, всегда и принципиально имеет дело не с самими этими явлениями в их прямой данности, а только с теми или иными опосредствующими их чувственными приметами, с тем, что в общем случае может быть названо с о о б щ е н и я м и о них.

Это понятие с о о б щ е н и я следует толковать в самом широком и обширном смысле. Сообщение — это не только слово, документ, но также и различного рода вещи, которыми мы не просто практически пользуемся, но которые нам «говорят» о чем-нибудь, например, когда мы имеем дело с мебелью, помещаемой нами не в спальню или столовую, а в музей, так как она есть продукт известного художественного стиля, а отсюда — и известного общественного вкуса, миросозерцания и т. д. Мы, разумеется, и этого рода мебель можем взять в руки. Но ведь в руках у нас будет в этом случае находиться только кусок дерева, а не самый стиль его обработки и не его художественно-исторический смысл. Последний нельзя «взять в руки», его можно только понять, т. е. извлечь своеобразным умственным актом из того сообщения, которым в данном случае и является так, а не иначе обработанный кусок дерева.

Другим примером может служить произведение живописи. Пейзаж или портрет — своего рода вещи, однако их бытие не исчерпывается только тем материалом, из которого эти вещи состоят: полотном, красками и т. д. Можно представить себе человека, превосходно различающего мельчайшие оттенки цвета и тем не менее не видящего в картине того, что в ней есть, т. е. известного художественного образа. Этот образ только воплощен в том материале, который можно увидеть, взять в руки и т. д., но он действительно д а н только тому, кто умеет его постигнуть, т. е. извлечь его из опосредствующей его материи. В этом смысле и картина есть особого рода «сообщение».

Однако самое универсальное, практически наиболее пригодное и жизненно наиболее ценное средство сообщения — это, конечно, человеческий язык, и прежде всего — в его письменной форме. Бóльшая практическая ценность письменного слова по сравнению с устным, именно в этом качестве сообщения, давно уже признана народной мудростью в латинской пословице Scripta manent, чему в точности соответствует более образно выраженный смысл русской пословицы: «что написано пером, того не вырубить топором», тогда как к устному слову хорошо применима другая русская пословица: «слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Письменное слово (вообще всякий т е к с т, т. е. включая и устную речь, элементы которой устойчивы и закреплены традицией, повторяемы) — *о б о з р и м о*. Устная речь дана нам в самом процессе ее становления и понимать ее мы можем только *пока* она звучит. Если же мы стараемся понять ее путем припоминания услышанного и уже отзвучавшего, то мы ее, в сущности, уже записываем, т. е. превращаем в текст. Но текст отличается тем свойством, что мы можем его перечитывать столько раз, сколько это требуется заданием, а потому его содержание способно быть понято с какой угодно степенью точности и глубины. Можно сказать, что письменный текст представляет собой и д е а л ь-

н о е с о о б щ е н и е, и вот почему о письменном слове иногда говорят как об «альфе и омеге всякого исторического исследования» (Узенер).

Разумеется, самая т е х н и к а понимания письменного слова и сообщений другого рода будет различна. Но пока мы говорим только о принципах и стремимся к определениям общего характера, мы, по только что высказанным соображениям, можем пользоваться письменным словом как всеобщим образцом сообщения, принять его в дальнейших рассуждениях в качестве сообщения как такового.

Если, таким образом, известные области действительности доступны нам не иначе, как через сообщения, то для того, чтобы данные области действительности могли стать предметом научного исследования, очевидно, необходимо уметь извлекать их из соответствующих сообщений, иначе говоря — уметь видеть в сообщениях то, о чем они сообщают, уметь их ч и т а т ь, раз уж мы условились образцом сообщения принять письменное слово. Между тем мы не всегда отдаем себе полный отчет в том, что такое чтение. На той высокой ступени цивилизации, на которой находится современное образованное общество, чтение представляет собой нечто, настолько привычное и незаметное, настолько тесно сплетенное с ежеминутной повседневностью, что подлинное, чрезвычайно сложное содержание этого высшего умственного акта становится предметом размышления только в особых, исключительных случаях. Разумеется, практически не одно и то же пробегать рассеянным взором отдел спортивной хроники в только что полученном свежем выпуске вечерней газеты, вчитываться в волнующие строки любимого поэта или разбирать в лупу потускневшие от времени письмена древней рукописи, да притом еще на каком-нибудь малоизвестном языке. Неоспоримо однако, что в с я к и й акт чтения, как бы прост и доступен ни казался он вполне грамотному и образованному читателю, предполагает ту или иную выучку, сноровку, в общем случае — мастерство и искусство.

В принципиальном смысле, следовательно, чтение есть не что иное, как особое искусство, и именно искусство извлекать содержание из соответствующего сообщения. Это искусство тем сложнее, чем богаче содержание сообщаемого и чем труднее техника анализа средств сообщения, а это в свою очередь зависит от характера материальной организации этих средств. Так, содержание газетной хроники или коммерческого объявления постигается легче и скорее, чем содержание поэтического образа или философской мысли. Но, с другой стороны, можно представить себе, что содержание философской мысли, изложенной на родном для читателя языке, может оказаться для него более доступным, чем коммерческое объявление на языке, ни грамматика, ни графика которого читателю неизвестны. Так или иначе, но нет

сомнений, что чтение — это искусство, которому надо у ч и т ь с я, и что, следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, знакомый с техникой чтения не одного, а разных видов сообщений, притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания не упускаются его умственным взором, словом, м а с т е р ч т е н и я и есть тот человек, которого мы называем ф и л о л о г о м. Самое же и с к у с с т в о ч и т а т ь в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначить в этом случае словом «ф и л о л о г и я».

Что такое название не произвольно, свидетельствует вся история филологической традиции, и в особенности история того конфликта, в который эта традиция вступила в XVIII—XIX вв. с исторической наукой и ее отдельными областями. В древности умение извлекать данные из памятников и исследование того, что таким путем из памятников извлекалось, не было расчленено, составляя недифференцированное содержание общей «учености», «начитанности», «осведомленности» книжного характера. К нашему времени круг человеческих знаний стал настолько многообразен и внутренне богат, что приобрел форму множества отдельных, самостоятельных специальных наук. От прежнего филологического энциклопедизма, однако, осталось то, что когда-то связывало все эти области знания в их зачаточном состоянии в одно целое, именно самый с п о с о б у з н а в а т ь. По праву за ним должно быть оставлено имя, принадлежавшее ранее всему нерасчлененному целому.

Но дело, понятно, не в том, как назвать соответствующую деятельность, а в том, чтобы увидеть, что такая деятельность есть и вникнуть в ее подлинную сущность. Для этого необходимы некоторые дополнительные разъяснения.

Когда мы говорим о чтении, об умении извлекать содержание из сообщения как об искусстве, то это может вызвать сомнения относительно сопоставимости данного рода деятельности с обычным представлением о таких искусствах, как музыка, поэзия, живопись и т. д. В самом деле, та деятельность, какую обычно мы имеем в виду, когда говорим об искусстве, результатом имеет создание художественных произведений. Ясно, что постулируемое здесь филологическое искусство никаких художественных произведений не создает и не в этом имеет свою цель. Есть, однако, и другого рода искусство, которое находит свое выражение не в создании новых художественных ценностей, а в осуществлении некоторых практических целей, при помощи не одних только положительных знаний и технической выучки, но также творческой фантазии и интуиции. Это искусство того рода, которое возникает при благоприятных условиях из ремесла, одушевляемого творческим воображением. Оно нередко встречается в технике, хирургии, вообще в тех областях, в которых при известных условиях, —

а одним из них должно быть присутствие соответствующей специфической одаренности, — проявляется умение и мастерство в высшем смысле этих понятий. В обыденном языке мы называем такое выполнение соответствующей задачи артистическим. Такое умение само по себе производит эстетическое впечатление, хотя бы и не выражалось в создании положительных эстетических ценностей, и именно в этом смысле может быть названо искусством, художественным явлением sui generis.

Разумеется, филологическая деятельность вовсе не в каждом своем отдельном акте достигает того совершенства, о котором здесь идет речь. В общем случае на нее приходится смотреть как на достижение одной из посредствующих ступеней в той лестнице, которая ведет от простого ремесла, находящегося в ее основании, до подлинного искусства в выше означенном смысле, находящегося в ее вершине. Но пока речь идет об основных принципах, необходимо помнить, что таков во всяком случае идеал филологической работы. В идеале филологическое ремесло становится искусством.

Непосвященные нередко называют филологов «буквоедами», «гробокопателями» и сходными другими нелестными именами и, надо сказать, иной раз вполне справедливо. Это бывает справедливо в применении к таким филологам, для которых буква есть буква, и ничего сверх этого. Со всей возможной тщательностью и аккуратностью они переписывают или воспроизводят в печати изучаемые ими рукописи и составляют сводки из чужих комментариев, причем нередко приносят этим посильную канцелярскую помощь науке, но смысл сообщаемого в рукописи остается ими совершенно неразгаданным и полностью сливается с внешней формой самого по себе сообщения. Это не подлинные филологи, не мастера, а подмастерья. Однако история филологической практики знает не мало примеров совершенно иного рода, и именно примеров такого умения читать буквы, что эти буквы наполняются живым и трепетным человеческим содержанием и обнаруживают за собой бездны мысли и чувства. Это примеры виртуозного применения техники чтения к расшифровке внешних форм сообщения, примеры конгениального проникновения в содержание сообщаемого, которое в этих случаях возникает перед взором читателя так, как если бы оно было вновь, еще раз создано вторично осуществившейся творческой волей. Такое умение увидеть живой дух за мертвой буквой и имел в виду Бёк, когда говорил о «познании познанного», и именно оно составляет высшую цель филолога. И эта-то цель и в самом деле представляет собой одно из врожденных и вечных стремлений человека, на определенной ступени культурного развития проникающегося жадным желанием узнать, пережить, продумать, прочувствовать то, что узнано, пережито, продумано, прочувствовано другими до него. В этом смысле нельзя не признать очень метким афоризм

Узенера: «Филология так же вечна, как вечен интерес человека к человеку».

Из чего складывается очерченное здесь общим образом филологическое искусство и как оно осуществляется в практическом смысле — об этом говорится во второй части этой книги*. Раньше чем заняться этими вопросами, нужно досказать то, что остается еще не досказанным относительно связи, какая существует между филологическим искусством и теми науками, какие нуждаются в его применении.

§ 11. ФИЛОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Все существенное на эту тему сказано уже в § 9, при изложении схемы Зелинского. Остается применить сказанное там к полученному нами общему определению филологии и более конкретно представить себе взаимоотношения филологии и истории в практической научной работе.

Нетрудно видеть, что к области филологического искусства, как оно определено в § 10, относятся те дисциплины, которые у Зелинского названы «критикой» и «аналитической герменевтикой». Первая имеет целью восстановить памятник (т. е. «сообщение») в том виде, каким он обладал в момент своего появления, вторая — объяснить его исчерпывающим образом. Теперь нет уже более надобности доказывать, что ни та, ни другая деятельность не могут быть квалифицированы в прямом смысле как науки, и что это только приемы, посредством которых из памятника извлекается заключенное в нем содержание. Но обратим внимание на чрезвычайно важное для нашей цели различие, которое устанавливается у Зелинского между «аналитической» и «синтетической герменевтикой» (термины эти нельзя признать вполне понятными и удачными). «Аналитическая герменевтика», говорит Зелинский, объясняет памятник в с е с т о р о и н е, а синтетическая — о д н о с т о р о н н е, но зато соединяет полученные результаты с результатами именно такого же одностороннего изучения других памятников. Здесь заключена очень ценная мысль, которая нуждается в некотором развитии для того, чтобы подлинный смысл отношений между филологией и историей предстал в более отчетливом виде.

В самом деле, то, что можно назвать в общем смысле «памятником», или «сообщением», в принципиальном отношении всегда заключает в себе содержание разнородного характера. Так, например, какой-нибудь древний документ юридического содержания, при всей простоте последнего, т. е. при полной, казалось бы, принадлежности его к истории правовых отношений, все же сверх

* Т. е. в предполагаемом втором выпуске. См. предисловие от публикаторов.

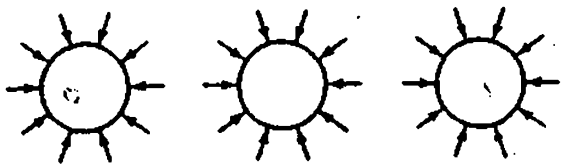
того непременно представляет собой еще и памятник языка, т. е. своего рода сообщение о том, каким был язык во время составления документа. Таким образом, по меньшей мере две научные специальности — история права и история языка — могут законно претендовать на данный документ как на свой материал. Без особых пояснений понятно, что, чем сложнее по содержанию и форме памятник, тем большее число «сообщений», относящихся к разным областям, в нем заключено. Так, например, литературное произведение, вроде какого-нибудь из больших романов Достоевского, служит одновременно и памятником истории русского языка, и памятником русского литературного искусства, и памятником истории общественной мысли и философских идей, и памятником из истории быта и т. д. Трудно сказать, кто из историков разнообразных сторон русской культуры «не имеет права» пользоваться материалом романов Достоевского или, придавая той же мысли более острое выражение, имеет право н е з н а т ь Достоевского. Отсюда возникает как будто впечатление, что «древняя грамота», «Достоевский», вообще всякий памятник, всякое сообщение есть сразу материал целого круга разнообразных наук, своеобразная res omnium.

Но в том-то и дело, что, несмотря на сказанное, всякий памятник одновременно сохраняет свое значение и как нечто ц е л о е, и именно как предмет филологии. Отдельные специальные науки берут в каждом данном памятнике только ту часть заключенного в нем содержания, какая им непосредственно нужна для того, чтобы далее исследовать соответствующее содержание памятника в свете закономерностей, составляющих предмет именно данной науки. Но филология не «исследует», а только «читает». Для нее памятник существует как первоначально заданное целое, в котором можно различить разнородные содержания, относящиеся к отдельным специальным наукам, только после того, как оно будет прочтено именно как целое. Именно на этом и основана та служебная роль филологии по отношению к отдельным историческим наукам, с точки зрения которой ее часто оценивают и о которой у нас шла речь в § 3. Действительно, филолог как бы приготовляет памятник для употребления его в специальном научном исследовании, выступает, по другому меткому слову Узенера, как «пионер истории», просто «читает» памятник для того, чтобы определить, что в нем есть. Поэтому его предметом действительно являются древняя грамота как целое, как она есть, Достоевский, как он есть и т. д. Но историк права пользуется историко-правовым содержанием данной грамоты в сопоставлении с историко-правовым содержанием многочисленных других памятников разнообразнейшего характера, историк русских общественных настроений пользуется соответствующим содержанием данного романа Достоевского в сопоставлении с такого же рода содержанием не только других романов того же автора и дру-

гих беллетристов, но и множества других документов, вовсе, может быть, не относящихся к сфере художественной литературы и даже к письменности вообще, и т. д.

Таким образом, возникает цепь отношений между филологией и отдельными историческими науками, которую можно наглядно представить в графической схеме (рис. 1 и 2).

I. Филологическое изучение памятников.



II. Историческое изучение памятников.



В первом из изображенных здесь двух рядов кружком обозначен памятник, а направленными в его сторону стрелками — тот круг разнообразных сведений, которые потребны филологу, чтобы прочесть, т. е. всесторонне объяснить памятник и выделить в нем соответствующие содержания («аналитическая герменевтика» Зелинского). Во втором ряду различно заштрихованные части кружков означают разные области действительности, о которых содержит сообщения памятник, а знаком лиги — объединение данных по одной и той же области действительности, заключенных в разных памятниках и ложащихся в основу собственно исторического исследования («синтетическая герменевтика» Зелинского).

Необходимо теперь обратить внимание на те стрелки, которые показаны направленными в сторону памятника в первом из этих изображений. Как сказано, ими символизируется круг разнообразных сведений, необходимых филологу для того, чтобы он мог прочесть памятник и выполнить по отношению к нему свой филологический долг. Это требует некоторых дополнительных разъяснений.

Сказанное имеет тот ближайший смысл, что невозможно филологически прочесть памятник без всякого п р е д в а р и т е л ь н о г о о п ы т а. Для того чтобы понять, что сказано в данном памятнике, необходимы наперед собранные сведения, точный объем которых вообще не поддается предварительному определению и в каждом данном случае зависит от содержания именно

этого памятника. Прежде всего, разумеется, надо владеть соответствующей техникой выражения, в общем случае, следовательно, — знать язык. Но знать язык это значит не только знать его грамматическую систему и уметь находить формальные связи между словами или внутри слов с производными основами, но также и понимать все бесчисленные «случайности» в индивидуальной нюансировке выражения, которые остаются за или над границами собственно с и с т е м ы языка, а между тем имеют первостепенное значение в актах живого общения через слово. Но ведь нужно знать также, что такое каждый из предметов действительности, называемых лексическими средствами языка, точно так же, как надо, например, знать, что представляет собой каждый из предметов, изображенных на какой-нибудь картине, для того чтобы действительно по-настоящему у в и д е т ь, понять ее. А так как рассказать словами или изобразить на картине можно действительно в с е, то и получается, что филолог должен уже наперед знать в с е в исчерпывающем смысле этого коротенького слова, для того чтобы понять или объяснить[13] свой памятник. Но ведь эмпирически это явным образом невозможно!

Именно в этом пункте и завязывается та интимная связь и нерасторжимая творческая дружба между историком и филологом, которая вырастает на почве их абсолютной взаимной необходимости друг для друга. Если нельзя знать все сразу, то ясно, по крайней мере, что чем больше знает филолог, тем лучше. Но если он встречается с чем-нибудь незнакомым, в простейшем случае — с каким-нибудь неизвестным ему до того словом, термином, — то, очевидно, ему не остается ничего иного, как обратиться на время в исследователя — лингвиста, археолога, юриста, медика и т. д., для того чтобы исследовательским путем установить, поскольку это еще не установлено, что представляет собой соответствующим образом названный, но неизвестный предмет действительности. Отсюда ясно, что филологу сплошь да рядом приходится, не ограничиваясь своей прямой обязанностью — читать памятник, именно для того чтобы лучше выполнить свою обязанность, расширять свой читательский опыт путем самостоятельных научных разысканий, не говоря уже, разумеется, о том, что уже достигнутые результаты в области различных специальных наук постоянно должны быть у него в распоряжении. Препарируя свойственными ей приемами памятник, филология как бы подает материал для наук, исследующих действительность в ее различных сторонах. И обратно, для того чтобы эта подача материала шла налаженно и без помех, науки о действительности постоянно помогают филологии обогащать тот опыт, с каким она

[13] «Понять» и «объяснить» — это, в сущности, то же самое: нельзя думать, что ты «понимаешь» нечто, если ты не можешь рассказать другим, что именно ты понимаешь.

приступает к делу. Филолог, как пчела, собирает мед знаний отовсюду, он энциклопедист изначально, по самой своей природе, потому что идет от *действительности* к памятнику, который как целое составляет его прямой объект. И уже после этого становится возможным обратный путь — от *памятника* к действительности, которым идут исторические науки.

Таким образом, отношения филологии к историческим наукам — это отношения диалектические: противоречия, возникающие на почве одной, разрешаются на почве других, и обратно. В этом вечном кругообороте и совершается описываемый здесь историко-филологический процесс.

Если принять во внимание указанные особенности этого процесса, то легко объяснить себе и то подлинное, что, несмотря на высказанные выше критические сомнения в возможности так называемых филологических энциклопедий, все же в них в известном смысле заложено. Такие энциклопедии не представляют собой отдельных наук, подлинных систем знания, и это остается бесспорным. И тем не менее существует реальная необходимость в том, чтобы был сосредоточен в одних руках, в одном месте, опыт, отлагающийся в результате занятий разнообразными по содержанию памятниками одного исторически-национального цикла. Существует, например, обширный цикл памятников на славянских языках, вообще — относящихся к славянам. Это могут быть памятники различные — юридические, литературные, этнографические и т. д., и в этом смысле они принадлежат различным наукам. Но, как мы уже знаем, есть еще необходимость «читать» эти памятники и тем приготовлять их для нужд их исторического изучения. Очевидно, что если что-либо может быть названо «славянской филологией» в качестве обособленной деятельности и отдельной научной специальности, то именно владение тем опытом, при помощи которого читаются вообще памятники, относящиеся к славянству.

Сказанное можно применить, например, и к часто возникающему вопросу о возможности и законности таких историко-литературных специальностей, как «пушкиноведение», «тургеневоведение» и т. п. занятий, посвященных изучению жизни и творчества одного отдельного писателя. Не раз говорилось о том, что претенциозное выражение «наука о Пушкине» методологически неприемлемо, потому что сюда входит целая цепь наук: биография, психология, стиховедение, лингвистика, поэтика и т. д. И тем не менее, совершенно понятно, почему существуют и не могут не существовать «пушкинисты». Это, очевидно, лица, которые прямым своим объектом имеют не что иное как самые памятники жизни и творчества Пушкина, лица, специализировавшиеся на искусстве читать эти памятники и конденсирующие необходимый для этого опыт. Здесь в малом масштабе повторяются общие отношения между филологией и историческими науками,

причем «пушкинисты» в данном случае находятся в положении именно ф и л о л о г о в.

Разумеется, здесь все время идет речь не столько об ученых, т. е. о людях, сколько о проблемах. Практически же «чистые» филологи, как и «чистые пушкинисты», которые занимались бы только памятниками и не принимали бы никакого личного участия в той или иной специальной научной области, встречаются очень редко, не говоря уже о том, что нет вообще филологов, которые умели бы с одинаковым успехом филологически обрабатывать памятники любого содержания. Но и обратно, почти не бывает «чистых» историков, т. е. которые не умели бы, в известных пределах, обслужить себя со стороны филологических потребностей, как об этом говорилось уже в § 3, а если такие историки и бывают, то это, несомненно, историки плохие. Так как памятники по п р е и м у щ е с т в е н н о м у своему содержанию очень различны, то простые соображения удобства приводят к тому, что соответствующими памятниками филологически занимаются представители тех специальных знаний, с которыми по своему содержанию эти памятники связаны теснее всего. Ошибочно думать поэтому, будто филологи это только языковеды или литературоведы. Литература, действительно, по своему всеобъемлющему культурно-историческому значению, по глубине и богатству синтезированного в ней содержания, стоит в центре внимания филологии, и вряд ли есть историк какой бы то ни было области действительности, который мог бы обойтись в своих исследованиях без данных, доставляемых литературой, в широком смысле этого термина. Однако в п р и н ц и п и а л ь н о м отношении историк литературы не больше филолог, чем историк медицины или историк математики. Ведь и последние пишут свои истории по документам, основываясь на сообщениях, которые, следовательно, они должны же уметь читать! Вот почему прав был Бёк, когда говорил, что писать о животных так, как писал Бюффон — это не обязанность филолога, но понимать сочинения Бюффона филолог должен уметь. Пусть этим не занимается филолог «вообще», «чистый» филолог, каких и не бывает на деле. Но если толкованием Бюффона занимается специалист по зоологии, разрабатывающий историю своей науки, то в этот, по крайней мере, момент, он настоящий филолог[14].

В конце концов приходим к выводу, что филолог — это всякий, кто имеет дело с «сообщениями», содержащими сведения о какой-нибудь, все равно какой, области действительности, иными средствами непознаваемой.

Именно на этом свойстве филологии основывается и ее громадное п е д а г о г и ч е с к о е значение. Во-первых, она вос-

[14] Прекрасный пример талантливой и подлинно филологической работы по истории не-гуманитарных знаний — недавно появившаяся книга проф. В. Ф. Кагана: Лобачевский. М.—Л., 1944.

питывает любовь к самой материи, из которой состоит сообщение, прежде всего — к языку, пробуждает благородную страсть к книге, к рукописи, к первоисточникам, учит уважать памятники как таковые. Пусть коллекционерство памятников принимает порой форму библиоманин и становится иногда смешным или даже уродливым социальным явлением, сама по себе идея, заключенная в горячей любви и уважении к «сообщениям» в их различных материальных воплощениях, не теряет от этого своей значительности. Но еще важнее, что филология учит читать с расчетом на исчерпывающее усвоение содержания, читать так, чтобы не оставалась в тексте не понятой ни одна буква, ни одна мельчайшая подробность изложения. Филология велит знать и понимать все, и в этом ее великое значение в истории человеческой культуры [15].

§ 12. ФИЛОЛОГИЯ КАК «МОМЕНТ» В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Из всего сказанного ясно, что из числа ходовых определений филологии, изложенных в начале этой книги, ближе всего к тому определению, которое здесь изложено как истинное, то, о котором шла речь в § 3, однако с той существенной разницей, что «обработка текста» понимается нами не как вспомогательное ремесло, находящееся в услужении у науки, а как подлинное творчество, находящееся в сложных диалектических взаимоотношениях с научной работой. Тем не менее нельзя отрицать того, что филология не имеет цели в самой себе и всегда связана с наукой [16]. Эта связь в практической научной работе может обнаруживаться в разных формах и в разной степени, так что филология становится то более, то менее заметным и значительным моментом в историческом исследовании. На этой стороне дела необходимо несколько задержаться.

Прежде всего разные ученые в разной мере обладают филологическими склонностями от природы. Таким образом, например, историк медицины с сильными филологическими склонностями, во-первых, не побоится заняться таким вопросом, разработка которого связана с чисто филологическими трудностями в виде чтения старинных трактатов по медицине на античных языках или по-арабски, раздобывания новых рукописных источников в малодоступных хранилищах и т. д., а во-вторых, будет стре-

[15] Были и есть ученые, считающие, что именно педагогическая задача и составляет сущность филологии. Так, например, французский филолог-классик Макс Боние учил, что классическая филология представляет собой сводку разнообразных сведений о греко-римской культуре, предназначенную для обучения и воспитания юношества (см. его кн.: *Bonnet M.* La philologie classique, 1892).

[16] Связь филологии и педагогики не противоречит этому, так как и для педагогических целей филология нуждается в постоянном общении с наукой.

миться сделать необходимую ему филологическую работу сам для себя. Наоборот, тот историк медицины, который, хотя и занимается историей, но не чувствует в себе подлинного филологического призвания, будет скорее заниматься такими вопросами, для разработки которых не нужно читать старые рукописи и не нужно знать трудных языков, а если и нужно, то все это можно возложить на какого-нибудь стороннего специалиста-помощника. Вообще такой ученый естественно будет тяготеть к проблемам, филологическая сторона которых хотя и требует соответствующих операций над источниками — без этого вообще не может быть никакой истории, — но операций по возможности легких, примитивных.

Этот воображаемый пример показывает, что в каждой области исторического знания есть проблемы большей и меньшей филологической сложности. Легко представить себе, что история средних веков требует гораздо более сложной филологической работы, чем история империалистической войны XX в., и не потому, что средневековая жизнь была сложнее, чем то, что переживалось современниками империалистической войны, — в действительности дело обстоит как раз наоборот, — а потому, что памятники средневековья нам труднее читать и доставать, чем памятники названной войны. Поэтому историку-медиевисту в большей степени необходима филологическая выучка, то мастерство чтения и понимания, о котором шла речь выше, чем историку, изучающему военную историю XX в. Можно сказать, что в работах первого филологический «момент» сильнее, чем в работах второго. А отсюда и в общежитии мы скорее назовем филологом специалиста по средневековой истории, чем специалиста по истории XX в.

Разумеется, есть такие области исторического знания, в которых филологический «момент» еще сильнее, чем в истории средневековых политических или культурных отношений. Здесь нет надобности перечислять все возможные степени силы исследуемого нами филологического «момента» в разных отраслях исторического знания. Но важно усвоить себе, что действительно в каждой из этих отраслей могут быть отдельные проблемы, темы, разделы, отличающиеся взаимно разной степенью потребного для них филологического усилия. Так, например, историк древнерусской литературы в большей степени филолог, чем исследователь современной русской литературы (хотя в принципиальном смысле и последний, разумеется, остается филологом!), русский исследователь даже современной персидской литературы больше филолог, чем русский же исследователь русской или немецкой литературы XVIII в., русский лингвист, изучающий древнерусский язык, в большей мере филолог, чем русский лингвист, изучающий современный французский язык, и т. д., до бесконечности. Все здесь зависит, как мы видим, от характера потребных для дела памятников, «сообщений», но также — и этого не следует забывать — от

личных склонностей, потому что иной раз менее «филологичная» по существу тема может оказаться более «филологично» обработанной, чем вполне «филологичная» тема, попавшая в руки ученому со слабой филологической выучкой или без надлежащего вкуса к филологическому мастерству. На рубеже XIX—XX вв. в России действовали два великих лингвиста — Фортунатов и Бодуэн-де-Куртене, но в силу личных интересов, первый был в гораздо большей мере филолог, чем второй, хотя оба они уступали в данном отношении место А. И. Соболевскому, замечательному ученому, но лингвисту во всяком случае гораздо менее значительному, чем первые двое. Таким образом, независимо от места, принадлежащего данному ученому в своей специальной области, в его общественно-историческую репутацию вплетается еще особый оттенок, состоящий в указании на то или иное его отношение к филологическому искусству.

Но это только одна сторона затронутого здесь вопроса. Разная степень силы филологического «момента» может быть обусловлена еще и *способом трактовки* того объекта, который избран для исследования, и именно — большей или меньшей степенью его изолирования от других, смежных, областей действительности.

Филология, как мы видели, по самой своей природе отличается стремлением к универсализму и энциклопедизму. С другой стороны, как это хорошо известно, отдельные области культуры не только тесно связаны взаимными отношениями в своем конкретном историческом бытии, но в известном смысле могут даже трактоваться как нечто цельное. В интересах науки необходимо, по возможности, исследовать отдельные области культуры — язык, искусство, литературу, науку и т. д., — в выделенном виде, чтобы можно было установить специфические признаки каждой и не смешивать различное в нерасчлененном общем. Это, однако, не должно отнимать у исследователя памяти о том, что между изолируемыми таким образом областями культурной действительности существуют очень сложные взаимоотношения, постоянно сказывающиеся на фактической истории каждой из таких областей. Ясно, например, что история языка в значительной мере определяет историю литературы, как и наоборот, история литературы отлагается своеобразными явлениями в истории языка. И вот большая или меньшая степень внимания к этим внутренним отношениям между разными областями культуры при исследовании каждой из них и будет определять большую или меньшую силу филологического «момента» в соответствующей научной работе, т. е. в большей или меньшей степени будет отвечать духу филологического энциклопедизма и взгляду на культуру как на нечто целое. Так, историк языка, акцентирующий в своей работе связь истории языка и истории литературы, будет в большей мере выступать как филолог, чем такой историк языка, в работе которого соответ-

ствующие моменты отступают на задний план, приглушены. И обратно, историк литературы, обращающий большое внимание на связь успехов литературы с выработкой литературного языка, будет скорее назван нами филологом, чем такой историк литературы, в работе которого лингвистический фон литературного развития будет недостаточно отчетлив.

Также и этого рода примеры могут приводиться во множестве. Полезнее, однако, остановиться на каком-нибудь одном типическом, и разобрать его подробнее. Пусть таким примером послужит нам принципиально важный вопрос о филологическом «моменте» в языковедении.

§ 13. ФИЛОЛОГИЯ И ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ

Отношения филологии и языковедения отличаются большой сложностью и многое в них не разъяснено с должной отчетливостью. Попытаемся внести некоторую ясность в этот вопрос, подойдя к нему исторически.

Современное научное языковедение — отрасль знания очень молодая, сложившаяся вполне только в начале XIX в. Но корни этой науки очень старые. Один из старинных источников этой науки, источник вполне практический, ясен уже из того, что сказано было до сих пор: это — потребность хорошо знать и анализировать язык сохранившихся памятников письменности, хотя бы сначала просто для того, чтобы сделать эти памятники пригодными для элементарного пользования. По мере усложнения филологических проблем, возникавших по отношению к памятникам, усложнялись и задачи изучения текста со стороны языка. На этой почве стали возникать различные грамматические и стилистические теории [17] как известное обобщение накопившихся эмпирически наблюдений.

Однако у этих теорий был и другой исходный пункт, именно — античная философия, которая не могла в свое время не поставить в ряду прочих своих основных вопросов также вопроса о природе языка и об отношении его к мысли, как мы находим это уже у Платона и Аристотеля, затем у стоиков и т. д. Вопросы философии языка и собственно грамматической теории, понятно, не могли разрабатываться разобщенно. Общий вопрос о том, что такое язык и каковы его основные законы, с одной стороны, и потребность хорошо знать языковые приметы текстов в их сходствах и различиях, с другой, составили уже ко времени александрийцев почву того, что может быть названо зародышем будущей науки о языке. Как раз ко времени расцвета александрийской филологии относится известная полемика между «аналогистами» и «аномали-

[17] Полезным введением в их изучение может служить книга: Античные теории языка и стиля. Под общ. ред. О. Фрейденберг. Л., 1936.

стами», из которых первые во главе с александрийцем Аристархом считали развитие языка процессом законосообразным, а вторые, например пергамская школа, полагали, что изменения в языке имеют своим источником случайность, ошибки.

Таким образом, изучение вопросов языка, не выходя из пределов общей филологической образованности, как она охарактеризована в § 5, уже и у древних в известной мере могло служить предметом самостоятельного и независимого интереса.

Тем не менее филологическое изучение языка (см. § 2), т. е. умение устанавливать известные связи между языком данного текста и прочими его общими и частными свойствами, в течение очень долгого времени было направляющим, независимо и от того, что мало-помалу становилась известной письменность и на других языках, кроме греческого и латинского. Но подлинный переворот в языкознании был вызван открытием санскрита в конце XVIII в. и установлением генеалогической связи между индоевропейскими языками в трудах Раска, Боппа и др. Оказалось, что греческий и латинский языки — это, в сущности, лишь два отдельные острова в громадном архипелаге индо-европейского языкового мира, притом значительно уступающие санскриту по своему значению для ц е л е й реконструкции индо-европейского языка, которая стала основной целью новой науки. В настоящее время лингвистика уже очень далеко отошла от этого наивного взгляда на свои задачи [18], но независимо от своего дальнейшего развития, найдя свою особую цель, языковедение стало действительно самостоятельной наукой, ставящей свои собственные проблемы и создающей собственные методы изучения языков в их истории.

Представителями классической филологии новое направление в изучении языка, так называемое сравнительное языковедение [19], было встречено большей частью или враждебно, или с недоумением. Однако с течением времени и классики принуждены были принять участие в новом научном движении [20] своими, уже собственно лингвистическими, трудами по греческому и латинскому

[18] Замечательный русский ученый Н. В. Крушевский уже в 1881 г. (в книге «К вопросу о гуне», с. 3) с поразительной смелостью и ясностью мысли заявлял, что восстановление праязыка «не может называться наукой», а может быть лишь одним из результатов науки м е ж д у п р о ч и м. Это мнение и вообще было одним из лозунгов «младограмматической» школы.

[19] В английской научной традиции, как терминологический пережиток, лингвистика до сих пор порой именуется «сравнительная филология» (comparative philology).

[20] Лингвистика здесь многим была обязана Г. Курциусу (1820—1885), который одним из первых представителей классической филологии признал сравнительное языковедение и дал основополагающие образцы собственно лингвистической работы по греческому языку (ср. его речь «Philologie und Sprachwissenschaft», 1861).

языкам. Все же традиционные филологические занятия по языку и стилю отдельных авторов, жанров письменности и т. п. от этого не прекратились и практическая потребность в таких занятиях не перестала существовать. Игнорирование этой стороны дела было серьезной ошибкой представителей победившего сравнительного языковедения.

Их стремление резко оттолкнуться от старинной филологической традиции изучения языка, совершенно с ней порвать, было вполне естественно, так как эта традиция мешала новой науке завоевать самостоятельное положение. Таков в истории русской науки был, например, несколько задорный антифилологизм Бодуэна-де-Куртене и его учеников. Но новая наука появилась не вместо старой, а именно как нечто вполне новое, и осуществлению ее задач традиционная филология в принципиальном отношении нисколько не препятствовала. Как уже выяснено, филология не есть и никогда не была наукой в собственном смысле этого слова, хотя в ее задачи и входит известное применение научных данных. Поэтому при беспристрастном взгляде на дело, она может быть только заинтересована в дальнейшей, безостановочной дифференциации наук и сама постоянно содействует этому своими запросами. Так, и успехи сравнительного языковедения были с большой пользой применены к делу в продолжавшейся и после победы этого направления филологической работе над текстами. Но теперь мы убеждаемся, что научное языковедение в свое время не взяло всего того у филологов, что могло бы взять.

В самом деле, как уже было сказано (см. § 2), язык можно и должно изучать не только вообще, строго грамматически, но также и в конкретных условиях его исторического бытия и развития. А как только ставится этот вопрос о конкретных исторических условиях жизни языка, так непременно возникает и вопрос о связи языка с ближайшими к нему областями культуры. Язык тогда предстает взору исследователя уже не только как известная система звуковых единств, обслуживающая потребности мышления и социального общения, в каком качестве он составляет предмет грамматики, этой лингвистической дисциплины par excellence, а как та или иная совокупность речевых актов, т. е. практических применений данной системы, возникающих в определенной человеческой среде, в определенное время, ради конкретных практических интересов — бытовых, литературных, художественных и т. д. Возникает необходимость изучать язык в его функциональных разновидностях, определяемых разновидностями человеческого общения, и в конкретных культурно-исторических условиях его роста и развития. Между тем именно филологическая традиция, издавна привыкшая к комплексному изучению культурных явлений, поскольку она имела дело не с языком, поэзией или историей, взятыми порознь, а с памят-

ником как таковым, сохранила до наших дней умение смотреть на язык как на член более широкого и сложного культурного целого, умение, полемически отстранявшееся на задний план основоположниками сравнительного языковедения и в значительной мере забытое их учениками.

Как же разрешается в конечном итоге конфликт между этим филологическим и собственно-лингвистическим воззрением на задачи изучения языка?

По-видимому, ответ на этот вопрос должен состоять в следующем:

1. В той мере, в какой филологическая обработка текста остается делом совершенно реальным и насущно необходимым, она неизбежно включает в круг своего ведения также и вопросы языка, и даже начинает с них как с первого, что дает ей возможность «подступиться» к памятнику. Здесь филология не может не опираться на опыт и выводы научного языковедения, и в этом отношении филологи — ученики лингвистов.

2. Независимо от интересов филологической обработки текстов существует само по себе научное языковедение, изучающее язык как явление действительности sui generis. Нередко спорили о том, что такое язык — явление культуры или природы. Для нас нет сомнений в том, что правилен только первый из этих ответов, однако откуда мог возникнуть второй? Дело объясняется той своеобразной особенностью языка по сравнению с прочими явлениями культуры, что, представляя сам собой продукт культуры, он в то же время служит универсальным «сообщением», воплощением для целого ряда других продуктов культуры — литературы, поэзии, науки и всего остального, что находит себе вообще выражение в языке и письменности. Таким образом, для того, кто исследует, например, философскую мысль, воплощенную в слове, язык представляется своеобразной материальной средой, через которую исследователь проникает к своему предмету, подобно тому, как искусствовед пролагает себе путь к живописному образу через физические свойства красок.

Есть и другие причины, которые побуждали относиться к языку как явлению природы и порождали так называемое натуралистическое направление в изучении языка, но на них нет нужды здесь останавливаться. Сказанного достаточно, чтобы понять, что также и язык дан нам не прямо, а опосредствованно и что, следовательно, мы его также понимаем и читаем — в том смысле, в каком здесь все время употребляется этот термин, он применим, понятно, и к усвоению звучащей речи. В повседневной речи этот процесс «чтения» языковых «сообщений» совершается автоматически и подлинной филологии здесь, разумеется, еще нет, хотя принципиальные условия для нее даны уже и здесь, именно: сообщение и понимание. Но, поскольку мы имеем сейчас дело с наукой, явно, что научное языковедение и его представители, хотят они

этого или нет, неизбежно совершают филологический акт, когда приступают к исследованию своего материала — иначе его у них не было бы. С полной практической очевидностью это ясно еще и потому, что даже и живая звучащая речь всегда изучается по тем или иным записям, хотя бы сделанным фонетическим письмом, т. е. все-таки по текстам. Это, правда, не касается экспериментальной фонетики, изучающей физиологию и акустику звуков речи при помощи разных приборов, но это уже действительно акустика и физиология, а не языковедение.

В итоге приходим к выводу, что и так называемые «чистые» лингвисты, исследующие язык ради самого только языка, не могут не быть в принципиальном смысле филологами.

3. Однако помимо всего есть еще, как мы видели, громадная область лингвистических проблем, требующих в той или иной степени, в зависимости от конкретного содержания темы и принятой точки зрения на нее, известного внимания к связям, существующим у языка с прочими областями культуры. Это проблемы истории языка в собственном смысле термина, появляющиеся тогда, когда язык изучается как одна из сторон в биографии данного народа, лица, литературы и т. д. Ясно, что изучение такого рода проблем требует от языковеда не только общей филологической позиции, но и соответствующего филологического опыта и умения. Это и будут лингвистические исследования, отмеченные присутствием в них более или менее сильного филологического «момента», и здесь уже лингвист может быть назван учеником филолога.

Сказанное здесь об отношении филологии к лингвистике может быть применено с соответствующими перестановками и изменениями, и к отношению филологии к разным другим наукам, в практике которых возникает филологический момент большей или меньшей значительности.

§ 14. ЦИКЛИЗАЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

В заключение нашего исследования задач филологии мы должны вернуться к вопросу, с которого начали: что такое филологические науки и чем они объединяются?

После всего, что было сказано до сих пор, ясно, что искать ответа на этот вопрос нужно не в содержании наук, а в природе их объектов и в способах, какими данные науки добывают свой материал. Мы установили, что существует обширный круг наук, которые исследуют явления, доступные для изучения только в их опосредствованиях. Это, следовательно, науки, материал которых становится для них доступным только с помощью филологического искусства. Науки, которые нуждаются в применении этого искусства, и могут быть названы науками филологическими.

Правда, все науки этого рода имеют известное сходство и со стороны своего содержания. Как мы уже знаем, это науки исторические, исследующие каждая особую область человеческой культуры. Эти науки называются также г у м а н и т а р н ы м и, так как в конечном итоге они изучают именно человека в его деяниях. Полезно еще раз напомнить, что к таким гуманитарным наукам относится и история самой науки, притом не только гуманитарной, но также, например, математики или естествознания, так как и эти науки — творения человека. Можно поэтому представить себе такую координацию этих наук, которая сделала бы своей целью поставить в центр своего внимания именно ч е л о в е к а (или народ, человечество, что принципиально то же самое) и затем исследовать, каким образом общие признаки и свойства человека обнаруживаются в различных продуктах его действий, в разных областях культуры. Но если такая проблема и возможна, то она во всяком случае не есть проблема в прямом смысле филологическая. Как уже говорилось (§ 4), исследование данного круга вопросов могло бы составить предмет науки, вроде возникавшей одно время «этнической психологии». Не приходится особо доказывать, что и такая наука не избежала бы необходимости пользоваться приемами филологии. Но если бы и можно было бы в таком случае все гуманитарные науки назвать филологическими, то все-таки именно потому, что они невозможны без применения филологического искусства, а не почему-либо другому.

Таким образом, мы снова приходим к общему выводу, что филологическими науками следует называть науки, нуждающиеся в применении филологического искусства. Однако чрезмерная общность такого определения, безупречного со стороны принципиальной, нуждается в некоторых ограничениях со стороны требований научной практики.

Дело в том, что самая материя, из которой состоят «сообщения», в разных случаях различна, а потому и техника чтения «сообщений» не совпадает. В отдельных случаях она настолько различна, что практически трудно рассчитывать на одновременное умение читать сообщения разной материальной природы. Отсюда возникает возможность произвести известное расслоение внутри общего цикла филологических наук, в зависимости от характера материальных воплощений, с которыми приходится иметь дело в различных случаях.

Прежде всего приходится с этой точки зрения разделить филологические науки на такие, которые имеют дело с языковым воплощением соответствующих содержаний, и такие, материал которых дан не в формах языка. К последним относятся науки, которые познают свой материал через интерпретацию в е щ е й, как например археология и науки об изобразительных искусствах. Читать рукопись и постигать содержание, воплощенное в утвари, постройках, статуях, картинах — это приемы настолько различ-

ные практически, что их можно считать двумя самостоятельными видами того практического искусства, которое мы условились именовать филологией. Не будет ошибкой сказать, что они только в философском, теоретико-познавательном смысле представляют собой одно и то же, а между тем сейчас мы говорим именно о научной практике.

Этим в достаточной степени объясняется установившееся словоупотребление, которое с известного времени все чаще исключает из общего цикла филологических наук науки, имеющие дело не со словом, а с вещами. Правда, полного разрыва между словесными и не-словесными науками, и именно практически, все равно не получается. Всякий археолог и историк искусства знает, что без помощи литературных источников он работать не может. Представить себе историка греческой скульптуры, не умеющего читать и понимать Гомера в подлиннике, совершенно невозможно. Но литературные источники в таких случаях представляют собой, хотя и чрезвычайно важный, но все же только подсобный материал. Поэтому с чисто практической точки зрения можно говорить о цикле филологических наук в двояком смысле: в более широком, включающем также науки не-словесные, и в более узком, включающем только одни словесные науки.

Но начатое расслоение может быть продолжено и дальше. Под словесными науками мы здесь понимаем все такие науки, материал которых независимо от представляемого ими содержания дан в слове. Но если мы теперь обратим внимание на то, какого рода материал воплощается в слове в различных случаях, то увидим, что в общем цикле широко понимаемых словесных наук в свою очередь можно выделить два новых цикла меньшего объема. Первый из этих циклов будет обнимать науки, которые хотя и принуждены иметь дело со словом, чтобы таким путем прийти к своему материалу, но сами исследуют действительность не словесную, а реальную в прямом смысле понятия. Сюда относятся науки, изучающие социально-политические отношения, хозяйство, достижения науки и техники и т. д., в той мере, в какой их материал извлекается из языковых документов. Ко второму из этих циклов меньшего объема тогда отойдут науки, которые не только черпают свой материал в памятниках языка, но и самый материал которых представляет собой языковую действительность.

Это прежде всего языковедение, предмет которого, как уже было сказано (см. § 13), есть одновременно и объект исследования и «сообщение» универсального характера, а затем история литературы, материал которой, при любом его узком или широком понимании, во всяком случае не отделим от языка и непременно входит в языковую действительность. В результате убеждаемся, что есть словесные науки с реальным материалом и словесные науки с словесным материалом. Вторые, в отличие от первых,

могут быть названы филологическими науками в наиболее узком, специальном смысле этого выражения.

Итак, можно говорить о трех циклах филологических наук, из которых каждый последующий как бы вложен в предшествующий и из него вынимается. Это, во-первых, науки, изучающие материал, который воплощен как в языковой форме, так и в вещах; во-вторых, науки, имеющие дело с материалом, воплощенным только в формах языка; и в-третьих, науки, изучающие только такой материал, который уже и сам по себе есть язык в том или ином его качестве. Науки последнего из этих циклов, наука о языке и наука о литературе, и подразумеваются чаще всего, когда идет речь о филологических науках в повседневном, ходовом словоупотреблении.

Но не может ли быть это расслоение обширной области филологических наук продолжено еще дальше? Об этом необходимо спросить себя, между прочим, и потому, что со стороны каждой из двух наук последнего, наиболее узкого филологического цикла с течением времени все более заметными становятся попытки решительно отмежеваться от соседней в отношении своих задач и методов. Это сказывается и в том, например, что лингвисты очень неохотно причисляют себя к числу филологов, а литературоведы под филологами преимущественно имеют в виду лингвистов. Здесь не место для развернутого исследования сложного вопроса об отношениях между двумя основными филологическими дисциплинами — лингвистикой и литературоведением, но вкратце по этому поводу можно сказать следующее.

По содержанию своему это науки, разумеется, разные и в интересах более точного определения содержания каждой из них тенденцию к возможно более строгой их дифференциации нельзя не считать полезной и здоровой. Тем не менее следующие три обстоятельства создают между языковедением и литературоведением связь более тесную, чем та, которая существует вообще между разнообразными науками филологического цикла.

Во-первых, обе эти науки в чрезвычайно большом числе случаев работают над одними и теми же памятниками. В принципе, для лингвиста всякий языковой памятник есть памятник е г о науки, в том числе, следовательно, — и памятники разнообразнейших жанров литературы. Процент литературных памятников в общем числе памятников, которыми пользуется лингвист, высчитать очень трудно, но невозможно сомневаться в том, что он очень высок. Но не забудем и того обстоятельства, что, и наоборот, в с е памятники, которыми занимается литературоведение, представляют собой одновременно и памятники языка.

Во-вторых, с точки зрения интересов лингвиста, литература есть не что иное, как известная разновидность языка. Лингвист, исключающий из поля своего зрения литературу, в принципиальном смысле осужден на неполноту познания своего предмета,

Конечно, и здесь, как и везде, существует разделение труда и узкая специализация, а потому сказанное не следует понимать в том смысле, что каждый специалист по лингвистике непременно должен заниматься также и той формой языка, какую представляет собой литература. Но с точки зрения принципиально-методологической не может быть вполне адекватного и исчерпывающего знания о языке, пока не приняты во внимание все разновидности языка, существующие в исторической действительности. Одной из таких разновидностей, по важности своей занимающей далеко не последнее место в ряду прочих, является литература.

В-третьих, наконец, невозможно истинно-научное литературоведение, пока оно игнорирует тот самоочевидный факт, что литературное произведение есть не просто выражение той или иной идеи, а непременно языковое ее выражение, и что поэтому для исследователя литературы язык имеет значение, далеко выходящее за пределы значения внешней оболочки, как бы футляра, в который нечто вложено. То, что исследуется в науке о литературе, не может быть вынуто из соответствующей языковой формы в «чистом» виде, потому что языковая форма входит как известный ее член внутрь структуры литературного явления как такового.

Уже и этих трех утверждений, в справедливости которых вряд ли кто-нибудь может усомниться, достаточно для того, чтобы понять, что известного рода предметная связь между наукой о языке и наукой о литературе не может исчезнуть ни при каких обстоятельствах. При всей неизбежности и жизненной необходимости строгой дифференциации обеих этих наук, наблюдающееся наряду с этим в научной практике движение в пользу тесного сотрудничества между ними и признание высокой полезности для каждой из двух наук постоянного взаимного обмена материалом и выводами нельзя не признать движением высоко разумным.

Нельзя считать случайностью и то, что в высшей школе всех стран до сих пор сохраняется совместное преподавание и изучение этих двух наук, в качестве наук — в наиболее специфическом значении этого термина — филологических.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Н. Ю. ШВЕДОВА

ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ СТАЦИОНАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

(двукомпонентные предложения с именительным падежом и инфинитивом)

В современном русском языке именительный падеж может соединяться с инфинитивом в двукомпонентное предложение, главные члены которого находятся в отношениях подлежащего и сказуемого: *Его мечта — летать*; *Летать — его мечта*. Вопрос о том, построены ли такие предложения по одному синтаксическому образцу или по двум разным образцам, является спорным. В пользу того, что здесь действует один образец — с подлежащим-инфинитивом, говорит тот факт, что в непсходных формах и в реализациях с полузнаменательными глаголами именит. падеж как будто бы всегда может быть заменен творительным падежом (*Мечтой было / будет / стало лететь*) и, следовательно, имя в любом случае является сказуемым: его постпозиция по отношению к инфинитиву нормальна в неактуализированном варианте предложения, а препозиция — в варианте актуализированном. В пользу того, что здесь действуют два самостоятельных образца, в которых инфинитив в одном случае обозначает носителя признака, а в другом случае — признак, говорит ряд фактов, которые будут рассмотрены ниже.

В грамматических исследованиях нет единства при характеристике данного явления. Описывая двусоставные несогласованные предложения «с инфинитивом в первом составе» (*В этом городе знать три языка — ненужная роскошь*. Чехов), Шахматов в том же параграфе выделяет пункт «Обратно», приводя в нем такие примеры, как *Главная беда — начать*; *Большое это удовольствие — жить на земле* (Горький), а также с именем в творит. падеже: *Выкупиться на волю было его заветной мечтой* (Гончаров) [1]; объяснение того, что понимать под «обратно», отсутствует.

Пещковский, описывая «глагольные личные нераспространенные предложения с предикативным членом и нулевой связкой», в особый тип выделяет предложения с предикативным членом — инфинитивом (*Долг мой повиноваться приказу*. Пушкин) и противопоставляет их предложениям с предикативным членом —

---

[1] *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941, с. 148.

именем на основании формы прош. вр. вспомогательного глагола (*долг был повиноваться*); при отсутствии связки или при постановке ее в форме буд. вр. Пешковский видит в таких предложениях «двузначность» [2].

Во введении ко второму тому академической «Грамматики русского языка» 1952—1954 гг., написанном В. В. Виноградовым, предложение *Мечта моего сына — стать художником* рассматривается как самостоятельный тип [3]; в основном тексте «Грамматики» так же трактуются предложения: *Цель старика Колобова была объехать. . . хлебный район* (Мамин-Сибиряк); *Главное было — не сильно орать* (Фадеев) [4]. В «Грамматике» 1970 г. схема N_1 — Inf не выделена совсем.

В настоящей статье мы попытаемся привести ряд аргументов в пользу того, что в современном языке существуют две самостоятельные структурные схемы предложения: N_1 — Inf и Inf — N_1. При этом мы будем исходить из того, что разграничение или идентификация структурных схем предложения (или, что то же самое, типов нераспространенного предложения) должно осуществляться не на основании только различия или сходства их внешнего строения, т. е. грамматического, собственно формального качества их компонентов и отношений между ними, но обязательно на основании сопоставления всех их стационарных характеристик. Такие характеристики предложения образуют комплексы, которые и должны сопоставляться в целом для того, чтобы установить, построены ли два внешне сходных предложения по единому синтаксическому образцу или в основе их лежат разные образцы. В число стационарных характеристик предложения входят формальное устройство элементарного вида этого предложения, т. е. его структурная схема и все правила парадигматических изменений и регулярных реализаций тех предложений, которые строятся по этой схеме; семантика схемы и семантическая структура построенных по ней предложений; правила коммуникативно значимого видоизменения предложения, т. е. его актуализации; те ближайшие формально-семантические соотношения, в которые вступают эти предложения, т. е. их место в ряду грамматически различных предложений, совпадающих по составу основных семантических компонентов и несущих одну и ту же информацию [5].

Все эти языковые характеристики принадлежат предложению как его неотъемлемые свойства. В своем комплексе они образуют

---

[2] *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. М., 1938, с. 260 и след.

[3] Грамматика русского языка, т. II, ч. 1. М., 1954, с. 93.

[4] Там же, с. 405.

[5] Определение всех этих понятий, классификацию и подробное описание типов простого предложения на основе этих стационарных характеристик см. в кн.: Русская грамматика, т. II. М., Наука, 1980.

двустороннее иерархически организованное асимметрическое устройство, внешнее строение которого всегда двуступенчато (оно представлено конкретным, звучащим предложением, «данностью», и тем грамматическим видом, т. е. схемой, образцом, который от него абстрагируется), а внутреннее строение многоступенчато: оно организуется предикативностью как грамматическим значением предложения (любого, всякого); семантикой данного отвлеченного образца; семантической структурой конкретного предложения; наконец, его актуальным (коммуникативным) значением, т. е. соотношением вариантов. При этом ни одна из ступеней внешней и внутренней организации предложения не существует вне связей и отношений со всеми другими ступенями его организации.

На всех ступенях внешней и внутренней организации предложения присутствует значение слова. Это либо значение слова как единицы, входящей в грамматический класс (часть речи или лексико-грамматический разряд); либо значение формы слова — само по себе или во взаимодействии с его лексическим значением; либо значение слова как представителя лексико-семантического класса; либо, наконец, лексическое значение данного, отдельного слова. Все эти значения слова, совместно или раздельно, в разных сочетаниях, всегда участвуют в организации предложения.

Приступая к анализу, мы будем первоначально исходить из того факта, что инфинитив не только может быть сказуемым при подлежащем-имени, но и стремится занять эту позицию. В системе простого предложения обнаруживается активность инфинитива как предикативно функционирующей формы: 1) инфинитив как сказуемое входит в структурную схему Inf cop Inf (*Простить значит забыть*); 2) он развивает сказуемостные функции в таких случаях, как *Я — гулять, Мы — рыбу ловить* или *Он — хохотать*, причем последнее — не только в значении прош. вр.; сравним: *Другой бы пожалел, расспросил, а этот только ругаться и об себе думать* (Л. Толстой); *Он тебя бить, а ты стой на своем* (Лесков); 3) инфинитив замещает сказуемое — личную форму в двукомпонентных предложениях типа N — Vf при экспрессивном побуждении: *И в гневе крикнула Брингильда: «Все молчать! Чего хотите вы, болтливые созданья?»* (И. Анненский); 4) во всех однокомпонентных инфинитивных предложениях всегда присутствует позиция субъекта, и поэтому инфинитив здесь обозначает субъектный предикативный признак (*Тебе этого не понять; Мне бы повидать начальника; Всем явиться к коменданту!*); 5) при распространении инфинитив присоединяется к предложению в целом как потенциально предикативная форма (*И не жалко времени — болтать!; Около дома есть сарайчик — дрова убирать*). Поэтому нет оснований утверждать, что инфинитив по каким-то своим собственным основаниям и свойствам не может

быть сказуемым в таких случаях, как *Цель экспедиции — найти полезные ископаемые; Задача ученых — культивировать дикие растения* или *Его решение — ждать приказа.*

Обратимся к материалу. Перед нами — группа предложений, в которых позицию (синтаксическое место) подлежащего (и семантического субъекта) занимает имя в именит. падеже, а позицию сказуемого (и предикативного признака) — инфинитив, причем контекст никак не сигнализирует о том, что первый компонент (имя) является ремой, а второй (инфинитив) — темой; напротив, из контекста ясно, что перед нами — неактуализированное соположение главных членов, при котором естественно сначала вводится тема сообщения, а потом — его рема:

А Лев-старик поздненько спохватился, что Львенок пустякам учился. . . И что важнейшая наука для царей: Знать свойства своего народа И выгоды земли своей (Крылов); *Его благородие мне жалует шубу с своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться!* (Пушкин); *Его цель — сделаться героем романа* (Лермонтов); *Неужели, думал я, мое единственное назначение разрушать чужие надежды* (Лермонтов); *По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю* (Пушкин); *Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику — по возможности правду говорить* (Достоевский); *Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака* (Пушкин); [Астров] *А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека — это быть чудаком* (Чехов); *Мы с вами разыграем этот маленький фарс, цель которого вызвать его ревность* (Зощенко); *О, счастье прах и гибель прах, но мой закон — любить* (Багрицкий); *Мое мастерство — избежать мастерства* (Винокуров); *Лучшее, на что может рассчитывать каждый. . . из вас, — это быть отправленным на Дон* (Булгаков); *Он умел дружить с человеком и с его врагом. . . Его дело в жизни было — сводить, а не разводить* (Цветаева); *За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем. — Единственное средство — отказать от квартиры, — забарахтался в простынях Василиса, — это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя* (М. Булгаков); *Примета пустоты — за событиями гнаться, — примета Гончаровых — внешние события гнать* (Цветаева); *Зерно тактики — никогда не допускать, чтобы враг мог блокировать нас* (Вершигора); *Нелегок труд заводов и полей, Но есть работа много тяжелей. . . Работа эта — быть среди людей, Работа эта — жить среди напастей, Работа эта — из очередей Выуживать словечко позубастей* (Межиров); *Мне кажется, долг каждого из нас — уважать в себе человека. Эту простую истину нужно почаще повторять* (М. Громов); *Построили этот завод давно; назначение — восстанавливать рыбные запасы* (газ.).

Во всех подобных предложениях подлежащее выражено таким абстрактным существительным, которое называет явление, действие или состояние: *задача, цель, назначение, дело, обязанность, работа, способ, средство, долг, обязательство, решение, мысль, мнение, идея, жребий, судьба, забота*, а также субстантивированными формами и сочетаниями *главное, лучшее, самое главное, самое лучшее, самое верное* и под. При подлежащем всегда открыта позиция определяющего слова со значением единственности, выделения из множества или отнесения к носителю: *важнейшая (самая важная) наука, мое мастерство, мое единственное назначение, ее дело, единственный способ, лучшее средство, эта работа, долг каждого* и т. д. Сказуемое-инфинитив не имеет лексических ограничений. У таких предложений в употреблении не фиксируются формы побудительного, желательного, долженствовательного синтаксических наклонений, хотя грамматически они вполне могут быть образованы. Схема реализуется со связкой *это* и с полузнаменательными глаголами *стать*, реже *становиться, оказаться, оказываться*. В формах прош. вр., сослагательного и условного синтаксических наклонений, а также в реализациях с полузнаменательными глаголами форма глагола координируется с именем: *Первая забота была (стала, оказалась) переодеться; Главное было — избавиться от ненавистного брака; Долг каждого был уважать в себе человека;* колебания в координации отсутствуют (о таких явлениях, как *Долгом каждого было уважать, Первой заботой было переодеться* см. ниже).

Имя в именит. падеже и инфинитив в таких предложениях находятся в предикативных отношениях предметно представленного явления (включая и состояние, действие) и его признака — процесса (действия или состояния) в отвлечении от временных и модальных характеристик. Таким образом, семантика схемы — это «отношение между предметно представленным явлением (действием, состоянием) и его признаком — отвлеченно представленным действием или процессуальным состоянием». В предложении признак, обозначенный инфинитивом, лексически открывается как суть, сущность, основное содержание того, что названо в подлежащем. Семантическая структура предложения хорошо уясняется через ответ на вопрос: «в чем состоит важнейшая наука для царей, каково ее содержание, в чем ее сущность?»; «в чем состоит цель этого фарса, какова она?»; «в чем заключается мастерство, какова его сущность?»; «в чем состояла первая забота по приезде на станцию?»; «каково единственное средство, в чем оно состоит?»; «какова примета пустоты?». Иными словами, это вопрос о сущности, существе называемого, и ответом на этот вопрос служит сообщение о том, что сущность, основная черта, содержание того-то состоит в том-то (сравним: *Задача прежде всего какая? Избавиться от хищной рыбы, которая населяет*

озеро; газ.). Такие предложения естественно вступают в формально-семантические соотношения с предложениями, в которых сказуемое выражено сочетанием *состоит в том-то, заключается в том-то*: *Наша задача — учиться ~ Наша задача состоит в том, чтобы учиться; Работа эта — быть среди людей ~ Работа эта состоит, заключается в том, чтобы быть среди людей; Мое единственное назначение — разрушать чужие надежды ~ Мое единственное назначение — в разрушении чужих надежд.*

В нейтральной речи актуализация для предложений рассматриваемой структуры нехарактерна: признак как раскрытие сущности естественно следует за называнием носителя сущности, того, в чем эта сущность заключена: *Ее дело — смотреть за детьми; Задача — сохранить урожай; Его желание — разлучить нас; Главное лечение — лежать; Идея проекта — защитить людей от стихии; Мой жребий — корпеть над бумагами.* Однако в экспрессивных вариантах, обычно там, где нужно подчеркнуть признак как чему-то противопоставляемый, словопорядок меняется и сказуемое-инфинитив выносится в начало предложения: *Лежа́ть главное лечение (а не лекарства глотать); Учи́ться его дело (а не по приятелям бегать); Разлучи́ть нас его желание (а не помирить); Смотреть за детьми́ ее дело (а не с соседкой болтать).* Именно такая актуализация лежит в основе местоименно оформленного отчленения инфинитива в позицию называющей формы: *Учиться — вот его дело; Разлучить нас — таково (вот, вот таково) его желание* [6].

Теперь обратимся к предложениям, в которых позицию подлежащего (и семантического субъекта) занимает инфинитив, а позицию сказуемого (и предикативного признака) — имя в именит. падеже, причем, в полной аналогии с примерами, приведенными выше, контекст свидетельствует о том, что перед нами — неактуализированные варианты, т. е. что первым компонентом (инфинитивом) здесь вводится тема, а вторым (именем) — рема: *Ехать на этой лошади было для Ростова наслаждение* (Л. Толстой); *Окликнуть его, воротить — был бы напрасный труд* (Гончаров); *В этом городе знать три языка — ненужная роскошь* (Чехов); *Прожить по-барски — это дворянское дело, это только дворяне умеют* (Л. Толстой); *Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков* (Тургенев); *Он говори́л о лете и о том, Что быть поэтом женщине — нелепость* (Ахматова); *Быть веселой — привычное дело* (Ахматова); *Убийство зовет убийство, / но нечего утверждать, / что резаться и рубиться / — великая благодать* (Асеев); *В грозы, в бури, В житейскую стынь, При тяжелых утратах И когда тебе грустно, Казаться улыбчивым и простым — Самое высшее в мире искусство* (Есенин); *Искать друзей в будущем —*

[6] См.: *Пешковский А. М.* Указ. соч., с. 262—263.

удел одиночества (Леонов); *Погибнуть охотнику от зверя — смерть законная и даже почетная* (Тендряков).

Здесь подлежащее-инфинитив лексически свободно, а сказуемое-имя, как правило, или само имеет оценочное, качественно-характеризующее значение, или соединяется с соответствующим определителем, нередко — с ослаблением номинативного значения существительного: *Спорить — нелегкое дело, прекрасная вещь, трудная штука* и под.

Во всех неисходных формах и в реализациях с полузнаменательным глаголом именит. падеж в сказуемом с абсолютной регулярностью чередуется с творит. падежом: *Сказать «прости» чему-нибудь Душе казалося утратой* (Фет); *Быть судьей, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшей ступенью, доступной для писателя* (Пушкин); *Пудриться, по ее словам, было для нее смертью* (Тургенев); *Видно было, что выкупиться на волю было его заветной мечтой* (Гончаров); *Проводить целые часы в его обществе, быть с ним наедине, слушать его рассказы — стало для меня истинным наслаждением* (Тургенев); *Лазать на паровозы было любимейшим развлечением моего детства* (Мартынов).

Для этих предложений нормальны неэкспрессивные актуализированные варианты с выносом сказуемого в начальную позицию; это обычное явление для всякого сказуемого, выполняющего квалифицирующую и / или оценивающую функцию: *Первым делом дедушки было в тот год построить мельницу* (С. Аксаков); *Лучшее умение держать себя с теми, кто почитает себя великими мира, это — стараться не входить с ними ни в какие сношения* (Лесков); *Началась весна, мука была извозчикам нырять на колесах по ухабам грязных улиц, мука мужикам тащиться на розвальнях по базару, по мокрому навозу!* (Бунин); *Какой бы это ужас был тигру — увидеть свой след на снегу!* (М. Пришвин); *Расчудесное это занятие — снегирей ловить!* (Горький); *Большое это удовольствие — жить на земле* (Горький); *Какое прекрасное свойство — уметь отрешиться от зла, Бродить, постигая устройство Пространства, души, ремесла* (Д. Самойлов); *И что за вздор сходиться на опушке И рисковать в наш просвещенный век!* (Сельвинский).

У таких предложений в употреблении фиксируются не только формы синтаксического индикатива, сослагательного и условного наклонений, но также и формы побудительного наклонения, легко транспонирующиеся в желательность: качественный, оценочный признак нормально воспринимается как такой, который может быть желаемым или требуемым. При этом обычна актуализация сказуемого:

Пусть будет делом чести — Клянемся в этот вечер! — Идти с другими вместе Опасности навстречу! (Светлов); *О сердце, склонное к порывам, Пусть будет мужеством твоим В поступках быть красноречивым, А в обожании — немым* (Тушнова).

В неисходных формах и в реализациях с полузнаменательными глаголами (*стать, становиться, оказаться, оказываться, казаться, показаться*) при именит. падеже существительного мужск. и женск. рода форма глагола колеблется: *Тащиться на розвальнях было/была мука (/было мукой); Сломать дерево оказалось/оказалась не шалость (/оказалось не шалостью); Убеждать его казалось/казался напрасный труд (/казалось напрасным трудом).*

Для этих предложений нормальны реализации с *это, есть, являться* (последнее — с творит. падежом): идентифицирующее значение связок соответствует оценочно-квалифицирующей семантике сказуемого: *Тащиться на розвальнях — это мука; Сломать дерево — это не шалость; Найти себя есть счастье; Идти вместе с другими есть дело чести (/является делом чести).*

В предложениях описываемой структуры инфинитив и имя в именит. падеже находятся в предикативных отношениях отвлеченно представленного действия или процессуального состояния и его признака — предметно представленной характеристики. Такова семантика схемы. Семантическая структура предложения уясняется через ответ на вопрос: «каково (или что такое) было для Ростова ехать на этой лошади?»; «что такое в этом городе знать три языка?»; «что такое было для меня лазать на паровозы?». Это — вопросы о характерном признаке, о квалифицирующей оценке того действия или состояния, которое названо подлежащим-инфинитивом. Соответственно этому значению такие предложения вступают в формально-семантические соотношения с предложениями, в которых сказуемое выражено квалифицирующим, собственно признаковым словом (в тех случаях, когда язык располагает равнозначными лексемами): *Быть поэтом женщине нелепость ~ Быть поэтом женщине нелепо; Окликнуть его был бы напрасный труд ~ было бы напрасно; Погибнуть от зверя смерть почетная ~ почетно; Тащиться на розвальнях мука ~ мучительно; Уметь отрешиться от зла — прекрасное свойство ~ прекрасно.*

Как уже сказано, позиция сказуемого в таких предложениях, как правило, заполняется словами или сочетаниями с качественно-оценочным, квалифицирующим значением; однако квалифицирующий признак — ослабленно — в контексте может быть обозначен и таким абстрактным именем, которое само по себе лексически квалификации или оценки не выражает; таковы слова *задача, цель , долг, право, дело, занятие, обязанность, мечта* и под. Для таких слов не закрыта позиция квалифицирующего сказуемого при подлежащем-инфинитиве; но они здесь обычно выступают с отсылающим к чему-л. или оценивающим определителем: *Быть моряком — занятие, достойное мужчины; Находиться в движении — естественное состояние для детей; Учиться — важнейшая задача; Помочь людям — благородная цель; Работать в школе — ее мечта; Смотреть за детьми — мое дело; Радовать*

читателя «красивыми переплесками слова» не есть цель творчества (Цветаева); *Он рано понял, что петь и плясать есть тот же труд, как в колхозе, за который могут накормить и приласкать* (В. Золотухин). Естественно, что во всех таких случаях предложение сохраняет все свойства своей грамматической организации, и сказуемое может актуализироваться: *Ее мечтой было работать в школе; Моим делом стало смотреть за детьми; Важнейшей задачей будет учиться.*

Показательно, однако, при этом, что такие слова как *мнение, идея, мысль, решение*, по своей лексической семантике весьма далекие от возможности самим по себе выступать в квалифицирующей функции, в предложениях схемы Inf — N_1 без оценивающих определителей практически не отмечаются в роли сказуемого, и соответственно случаи их постановки в творит. падеже без таких определителей не фиксируются, в то время как употребление их в роли подлежащего в предложениях схемы N_1 — Inf нормально: *Нелли просилась хоть в горничные, хоть в кухарки. . . Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать* (Достоевский); *— Товарищ комдив, мое мнение — сегодня ночью пробовать прорываться, — сказал Серпилин сразу, как только вошел* (Симонов); *Решение было — ждать* (газ.); *Идея — изменить всю конструкцию* (журн.).

Сосуществование в языке таких построений, как 1) *Задача была — учиться, Его мечта была — летать, Моя цель была — уехать*, где реализуется неактуализированный вариант предложений схемы N_1 — Inf и 2) *Задачей было учиться, Его мечтой было летать, Моей целью стало уехать*, где реализуется актуализированный вариант предложений схемы Inf — N_1, ведет к своеобразному последствию: при показанном лексическом совпадении (возможном для ограниченного круга имен) актуализация в случае (2) нейтрализуется, акцент на имени исчезает (не *Задачей было учиться*, а *Задачей было — учиться*) и возникает неразличение предложений двух разных структурных схем. Предложения обоих рядов ведут себя как построения семантически и коммуникативно идентичные. Имя в позиции темы, открывающее собой предложение, по форме является сказуемым (творит. падеж), но при этом не выполняет сказуемостной функции: оно называет то, сущность, признак чего раскрывается инфинитивом. Существительное в творит. падеже и инфинитив здесь оказываются в отношениях предикативно определяемого и предикативно определяющего. Вот интересный пример такого «безразличия» к своей падежной форме имени, называющего субъект: «Как мы уже указывали во вводных замечаниях, задачей настоящей работы является определить семантические факты с двух сторон — во-первых, со стороны объективной системы самого языка, во-вторых, со стороны познающего субъекта» (Ю. С. Степанов). Это — самое начало главы, напоминающее, какова задача

(*задача — определить факты*); ни о какой актуализации (и, соответственно, о выносе в первую позицию имени, обозначающего предикативный признак) здесь не может быть речи. Имя, обозначающее носителя признака, принимает форму творит. падежа: эта падежная форма здесь синтаксически десемантизирована.

Итак, языку принадлежат два самостоятельных образца предложения: N_1 — Inf и Inf — N_1. Следовательно, например, в тексте: *Рассказывали, будто он сказал какому-то дипломату, что дело попов — молиться, но не их дело править* (Лесков) в первой части представлен неактуализированный вариант предложения схемы N_1 — Inf (при актуализации было бы: *Моліться дело попов* [а не править]), а во второй — актуализированный вариант предложения схемы Inf — N_1 (неактуализированный вариант: *Править — не их дело*).

В. Г. ВИЛЮМАН И П. А. СОБОЛЕВА

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КОНТРАСТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Предлагаемая работа относится к сравнительно молодой отрасли языкознания, а именно контрастивной (сопоставительной) лингвистике.

Хотя метод сопоставления фактов различных языков издавна применялся в практике преподавания, возникновение контрастивной лингвистики как специальной дисциплины можно датировать 1957 годом (см. Гинзбург 1977, 10), когда появилась книга Роберта Ладо (Lado 1957). В своей книге Р. Ладо исходит из предположения, что можно предсказать и описать конструкции (patterns), которые будут представлять трудности при изучении языка, и те, которые не будут представлять трудности, путем систематического сопоставления изучаемых языка и культуры с родным языком и культурой учащегося.

За последнее время возрос интерес к контрастивной лингвистике (см.: Ярцева 1960; Будагов 1963; Гак 1966; Толстой 1966; Уфимцева 1966; Fries 1971; Haugen 1975; Гак 1977, Аракин, 1978). Однако нельзя считать, что как цели, так и методика сопоставления родственных и неродственных языков к настоящему времени в достаточной степени определены (см. Гинзбург 1977). Не претендуя на достаточно полное решение этих вопросов, мы

хотим высказать некоторые соображения о возможном подходе к контрастивным исследованиям.

Очевидно, практической целью применения контрастивных методик является овладение иностранным языком, «идиоматическое» пользование им, что предполагает: а) выход за пределы «своей культуры», т. е. навязанного своим языком восприятия действительности и овладение «чужой культурой», т. е. чужим восприятием действительности; б) овладение формальными способами объективации чужого восприятия действительности.

Теоретической целью контрастивных исследований может являться проникновение в область человеческого мышления, обнаружение как универсального, так и индивидуального (language oriented), изучение того, как единый для нас мир преломляется в языковом сознании говорящих на разных языках (см. Ахманова и Гинзбург вып. 1).

Исследования в области контрастивной лингвистики подразделяются на две основные категории.

1. Общетеоретические контрастивные исследования, которые являются частью лингвистической типологии. Одной из существенных задач этой области исследования является построение универсальной модели или универсального метаязыка, с помощью которых можно было бы измерять близость и удаленность, сходства и различия тех или иных языковых явлений различных языков. Существенно при этом проводить сравнение не столько конечных продуктов порождающего процесса, т. е. поверхностных структур, сколько самих правил порождений (см. Harris, 1954, 259.—З. Харрис предлагает строить сопоставительную грамматику только на базе поверхностных структур, измеряя количество операций, переводящих определенный массив языка А непосредственно в аналогичный массив языка В).

2. Конкретные контрастивные исследования, которые являются частью прикладной лингвистики, преследуют цель обнаружения области интерференции сопоставляемых языков и предсказания иерархии трудностей, с которыми столкнутся изучающие данные языки (см. Fisiak, 1973, 8—9).

Контрастивному изучению могут быть подвергнуты все уровни языковой структуры: фонологический, грамматический, словообразовательный и лексический (Гинзбург, 1977). Существенным для каждого уровня является выделение метаязыка или эталона сопоставления.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что для первых трех уровней языковой структуры метаязыки (эталоны) сопоставления уже в достаточной степени разработаны. Так, для фонологического уровня таким эталоном может служить универсальный набор фонологических дифференциальных признаков (Jakobson, Fant, Halle 1955; Пиотровский 1960) типа вокальность/консонантность, твердость/мягкость, диффузность/ком-

пактность и др. Для грамматического (точнее синтаксического) уровня таким эталоном может служить универсальный формальный метаязык порождающей грамматики (трансформационной или аппликативной), для словообразовательного уровня — реляторный язык аппликативной порождающей грамматики (см., например: Альтман, Соболева, Шевчук 1972).

Очевидно, особенно полезным для общетеоретических контрастивных исследований является понятие глубинной структуры. Если исходить из предположения о том, что глубинная структура универсальна, в то время как поверхностные структуры индивидуальны для каждого языка, можно проводить сравнение поверхностных структур через эталон глубинной. В частности, можно сравнить количество и характер трансформационных операций, которые необходимо применить к исходной аксиоме (глубинной структуре) для того, чтобы получить поверхностные структуры различных языков. Такое исследование было проведено нами применительно к трехместным предикатам типа *X говорит правду Y*, *X получает Y от Z* для русского и английского языков.

В рамках трансформационной грамматики эталоном для контрастивных исследований в области синтаксиса и лексики может служить система глубинных семантических падежей Ч. Филмора (Fillmore 1968).

Как известно, под глубинными падежами Ч. Филмор понимает семантические роли, которые выполняют актанты в той или иной ситуации. Независимо от их поверхностного выражения, на уровне глубинных структур они универсальны: A(gentive), O(bject), I(nstrumental), D(ative), L(ocative) и некоторые другие[1]. Глубинная валентность глагола определяется так называемой падежной рамкой. Например, английский глагол open или русский *открыть* способны иметь три актанта: / — O(I) (A)/ (в скобки берется факультативный актант). На поверхностном уровне каждый актант может принимать обличье любого члена предложения, например подлежащего:

(6) I (A) opened the door with the key
(7) The door (O) was opened by the key
(8) The key (I) opened the door.

Если для английского языка все три возможности равновероятны, то для русского языка третья возможность сомнительна:

(9)? *Ключ открыл дверь*

Предикат is hot в одном из своих значений имеет падежную рамку / — L/. В английском языке при переводе на поверхностный уровень L может занимать как позицию поверхностного подлежащего, так и обстоятельства:

(1) /The room /$_L$ is hot

[1] Набор глубинных падежей продолжает совершенствоваться Ч. Филмором и его последователями.

(2) It is hot / in the room /$_L$

В русском языке возможно только второе:

(3) *В комнате жарко*

Комната жаркая кажется нам неграмматичным выражением, ср. грамматичное *Комната теплая (светлая)*.

Предикат is hot в другом значении имеет падежную рамку / — O /:

(3) The milk is hot

Здесь в поверхностной структуре как английского, так и русского языков возможна только позиция подлежащего. Ср. невозможность

(4) * It is hot in the milk

(5) * *В молоке жарко*

Последнее, однако, становится возможным с точки зрения, например, мухи, попавшей в молоко. Но тогда это уже первое значение / — L /.

Пользуясь моделью глубинных семантических падежей, Герхардт Никель сделал интересные контрастивные наблюдения над различной поверхностной реализацией единой глубинной падежной рамки для отдельных классов английских и немецких глаголов (Nickel 1971). Воспользуемся материалами Никеля, а также добавим данные из русского языка.

Сопоставительное исследование показывает, что в русском и немецком языках имеется больше ограничений, чем в английском на помещение I, L и O в начале предложения и перевода их в позицию поверхностного подлежащего. Так, например, для ряда глаголов, в падежную рамку которых входит A, I, O, D в английском языке возможна поверхностная структура, где I принимает вид подлежащего. Это глаголы earn, gain, get, save, gross, lose, make, net, obtain, realize, win. Соответствующие русские и немецкие глаголы обычно не допускают I в позиции подлежащего:

(10) This bet won me £ 100

Хотя по-русски можно (с натяжкой) сказать:

(11)? *Это пари принесло мне 100 фунтов*

и по-немецки:

(12) Diese Wette brachte mir £ 100 ein

Все же более естественными нам кажутся

(13) *Я выиграл 100 фунтов в этом пари*

(14) Mit (durch diese) dieser Wette gewann ich £ 100

Ряд деструктивных глаголов имеют те же ограничения и в русском, и немецком языках. Это глаголы типа damage, drown, fracture, injure, kill, shatter, smash, stunt и др.

В английском вполне грамматично предложение:

(15) The accident killed many people

По-русски неестественно было бы:

(16) * *Авария губила много людей*

для русского вполне грамматично:

(17) *Во время аварии погибло много людей*

то же самое для немецкого:

(18) Bei (durch den) dem Unfall wurden viele Menschen getötet.

В английском языке L часто не имеет ограничений при переводе его в позицию поверхностного подлежащего. Последнее положение легко проиллюстрировать на таких разнородных глаголах, как drown, feed, grow, hide, seat, see, show, sleep, и их аналогах в русском и немецком языках. Интересно отметить, что для некоторых из этих глаголов, в частности seat и sleep L в позиции подлежащего возможно только, если A становится дополнением, определяемым квантификатором:

(19) This aircraft seats 100 people

ср. русское:

(20) *Самолет вмещает 100 человек*

В самолете размещаются 100 человек

Однако по-немецки возможно только фронтальное положение L:

(21) In diesem Flugzeug können 100 Personen Platz finden

Английскому

(22) This tent sleeps four people

в русском и немецком соответствует только фронтальное положение L:

(23) *В палатке могут спать (помещаются) четыре человека (Палатка вмещает четыре человека* — стилистически не нейтрально).

(24) In diesem Zelt können vier Personen schlafen.

Приводимые выше примеры имели целью показать, как простейшее исчисление позиций, которые могут занимать глубинные семантические падежи при переводе их на поверхностный уровень, может служить основой для контрастивных исследований.

Интересные идеи об универсальном характере глубинной структуры, объясняющейся универсальным характером языкового базиса (universal base hypothesis — Bach 1968), и использовании ее как эталона для контрастивных исследований высказаны Т. Кржешовским (Krzeszowski 1971). Как и Герхард Никель, он использует падежную грамматику Чарльза Филмора, считая предложенное им дерево глубинной структуры наиболее адекватным. Так, для предложений, рассматриваемых Дж. Лаковом (Lakoff 1968),

(25) a. Seymour sliced the salami with a knife

b. Seymour used a knife to slice the salami

он предлагает следующие правила порождения глубинной структуры:

(26) $S \rightarrow M + P$,

где M — модальная рамка, по Филмору, а P — proposition.

(27) P → V+O+I+A.

С помощью этих же правил, по мнению автора, порождаются и польские аналоги 25 a и b:

(28) a. Seymour nie pokrajał salami nożem.

b. Seymour nie użył noża aby pokrajać salami.

Глубинная структура этих предложений для обоих языков (а также и для многих других, если принять концепцию Баха и Филмора) до заполнения ее лексемами имеет вид, как на рис. 1,

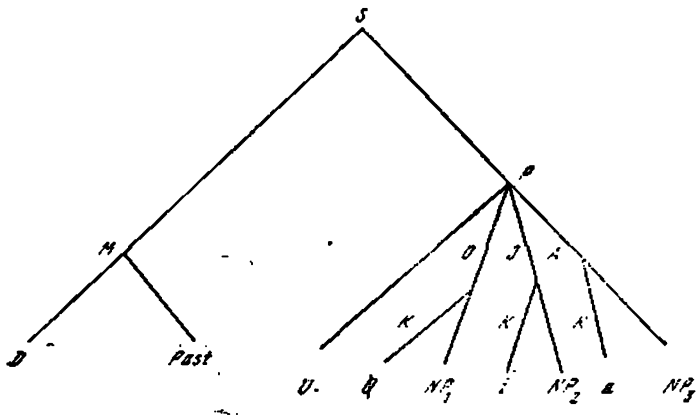


Рис. 1

где D обозначает декларативную модальность, i выразитель инструментального падежа, т. е. I на поверхностном уровне, например with или use, или флексия творительного падежа, или выражение типа «*при помощи* + родит. пад.»; *a* — предлог агентива A — by, или именительный падеж и т. д.

Как в английском, так и польском языках в позицию подлежащего на поверхностном уровне может попасть любой актант: A, I или O. Существенные трансформации в обоих языках совпадают. Различие касается в основном предлогов и флексий. Так, например, для того чтобы сделать подлежащим как O, так и I, необходима трансформация пассивизации:

(29) The salami was sliced with a knife by Seymour

(30) Salami zostało pokrajone nożem przez Seymoura

(31) The knife was used by Seymour to slice the salami

(32) Nóż zostałużyty przez Seymoura aby pokrajać salami

Если продолжить сравнение Кржешовского за счет привлечения других языков, в частности русского, то мы увидим ряд ограничений на возможности перевода глубинной структуры на поверхностный уровень:

(33) *Сеймур нарезал салями ножом* (при помощи ножа)

(34) * *Сеймур воспользовался ножом, чтобы нарезать салями*

(35)? *Салями была нарезана Сеймуром ножом*

(36) * *Нож был использован Сеймуром для того, чтобы нарезать салями* и т. д.

Деривационные ограничения, не действующие в английском и польском языках, активно действуют в данном случае в русском.

Приведенные примеры имели целью показать, что идея глубинной структуры, в особенности в филморовской интерпретации, может оказаться очень продуктивной при анализе как сходств, так и различий родственных языков.

Контрастивный анализ в синтаксисе используется и в чисто теоретических целях, в частности в целях постулирования наиболее адекватной глубинной структуры. Если для фазы A_1 языка L_1 постулируется на основании каких-то соображений глубинная структура x, а в языке L_2 переводной эквивалент A_2 обладает структурными свойствами, приписанными x, то структура становится более вероятной (Zabrocki 1973, 25).

Примером этому может служить использование Россом арабских эквивалентов английских декларативных предложений для *подтверждения гипотезы о наличии в глубинной структуре* декларативных предложений перформативной рамки. Последнее непосредственно связано с universal base hypothesis. В арабском языке слово inna, которое в других условиях используется как комплеметайзер, следующий за глаголом говорения aquulu, может появляться в начале декларативных предложений. Этот факт был использован Россом как косвенный аргумент в пользу универсальной перформативной рамки (Ross 1970).

Точно так же, когда была выдвинута гипотеза о том, что прилагательные и глаголы в английском языке возводятся к одной и той же глубинной категории и что аттрибутивные прилагательные получаются трансформационным путем от предикативных, были привлечены данные из русского языка, где общеизвестным фактом является отсутствие связки в предикативной функции (Zabrocki, 1973, 26).

Что же касается лексического (лексико-семантического) уровня, то вряд ли можно утверждать, что надежный метаязык для контрастивных исследований уже построен (Nida 1975, 207), хотя в этой области многое сделано Лабораторией машинного перевода при МГПИИЯ им. М. Тореза (Машинный перевод 1959—1974) и Ю. Д. Апресяном (Апресян 1974), а также специалистами, работающими в области порождающей семантики (Проблемы порождающей грамматики и семантики 1976, а также Соболева 1977).

В принципе, эталоном для сопоставления лексических единиц различных языков мог бы стать универсальный набор семантических дифференциальных признаков типа одушевленность/неодушевленность, абстрактность/конкретность, исчисляемость/неисчисляемость, взрослость/невзрослость и т. д. (Katz, Fodor 1963, Katz, Postal 1964). Однако полный список подобных универ-

ИРЯ
Институт русского языка им. В. В. Виноградова
www.ruslang.ru

салий еще не выявлен, хотя довольно много сделано в области компонентного анализа отдельных групп слов (Bendix 1966; Волянская 1973; Ерасова 1973).

Перспективным представляется дефиниционно-матричный метод компонентного анализа (Вилюман 1971, 1972, 1973; Путятина 1972; Питецкая 1973; Слюсарева 1974 и др.).

Одним из возможных подходов к изучению лексики контрастивными методами является сопоставление слов через значения-понятия [2] и обозначаемые ими явления или отношения объективного мира. Такое соотнесение вполне закономерно, так как объективно существующий мир един и едино человеческое мышление, тогда как языки мира многообразны: «. . .действительно постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости развития и, в частности, развития органа мышления»[3]. Последнее утверждение отнюдь не следует понимать как утверждение об идентичности отображения мира разными языками и идентичности понятий-значений, хотя определенная часть понятий-значений у людей, говорящих на разных языках и находящихся на одинаковом уровне культурного развития, должна совпадать. Положение о единстве мышления, с нашей точки зрения, следует понимать как возможность установления соответствий между понятиями-значениями различных языков. Эти соответствия достаточно сложны. В качестве примера приведем наиболее простые:

а) тождество понятий-значений, например oxygen — *кислород*, France — *Франция*, click-beetle — *жук-трескун*;

б) включение понятий-значений, например



в) пересечение понятий-значений, например, *подросток* (возраст от 12 до 14 лет) — enfant (возраст до 14 лет) и adolescent (от 14 до 22-х лет); jeune homme (от 18 лет) — *юноша* (от 16 до 22-х лет) и *молодой человек* (от 20 лет) (примеры заимствованы из книги Гак 1977).

Само собой разумеется, что специфика лексических систем различных языков создается не столько за счет различного членения мира (отношения между понятиями, выражаемыми различными языками, вполне сопоставимы, как, например, было проиллюстрировано выше). Специфика лексики создается за счет индивидуального для каждого языка распределения понятий-

---

[2] Для упрощения изложения мы здесь не проводим различия между значением и понятием, хотя этому вопросу посвящена большая литература.

[3] *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Избранные письма. М., Госполитиздат, 1948, с. 209.

значений по многозначным словам[4]. При изучении иностранных языков значения-понятия этого языка не столько должны быть заново освоены, сколько перераспределены: «Since the semologies of different languages are not isomorphous at all points, a certain amount of regrouping of conceptual elements already acquired will be necessary to fit them into semological categories of the L_2; but many of the basic semological elements (sememes in stratificational terminology) seem to be common to a large number of languages» (Snook 1971). Многозначное слово — форма объединения определенной для каждого языка группы понятий-значений. Последнее положение не нуждается в иллюстрации для преподавателей иностранных языков. Позволим себе привести лишь графическое изображение различного охвата словами русского и английского языков кусочка действительности (рис. 2).

К сожалению, однако, метаязыка для записи объема и содержания понятий пока еще не существует.

Слова, совпадающие в одних значениях-понятиях (с точностью до соответствий, установленных выше) и расходящиеся в остальных, часто называются словами-аналогами (см., например, Рецкер, 1950). Возможно и более узкое понимание термина «слово-аналог». Слова-аналоги — это однокоренные слова разных языков, возникающие либо в результате развития из одного источника, либо в результате заимствования: conductor — *кондуктор*, dramatic — *драматический* и пр. Второе понимание этого термина не только является более узким. Оно допускает отсутствие признака совпадения значений: например, actually — *актуально* (Вилюман 1963).

При изучении лексики иностранного языка наиболее трудными для освоения представляются слова иностранного языка, которые находятся в отношении частичного совпадения со словами родного языка. Большинство ошибок на неправильное словоупотребление падает на неверный выбор аналога.

Полисемия русского слова не осознается учащимися, и они произвольно ассоциируют слово с каким-либо аналогом иностранного языка (при слабой лингвистической подготовке и омонимия не осознается). Примеры ошибок на словоупотребление из-за недопонимания многозначности (и омонимии) слов родного языка.

Французский язык: Il m'a melé à lire (вместо empêcher), les sacrifices du bombardement (вместо les victimes).

Немецкий язык: Der Blumenstrauß war voll Nieren (вместо Knospen), Ich arbeite 2 Uhren (вместо Stunden), Das Kabinett ist beschäftigt (вместо besetzt).

[4] «Слова одного языка в большинстве случаев не просто соответствуют словам другого языка, а находятся в весьма сложных и многообразных отношениях» (*Щерба Л. В.* Русско-французский словарь. Предисловие. Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1939).

Английский язык: to secure the needs (вместо to satisfy), a weak teacher (вместо bad, inexperienced).

Метод сопоставления лексических единиц иностранного языка и родного через обозначаемые понятия проливает свет на логику словосочетания, зачастую отрицаемую исследователями.

Так, при интуитивном обучении языку непонятно, почему по-русски говорят *сырое мясо*, *сырой климат*, по-английски в подобных случаях — raw meat, но wet climate. Однако если разобраться в значениях русского слова *сырой* и английских слов raw и wet, то это станет ясным. Русское слово *сырой*, как указывает С. И. Ожегов (Ожегов 1953), имеет значение 'влажный, не сухой' и поэтому сочетается со словом *климат*: кроме того (о продуктах) 'не вареный, не жареный, не печеный' и поэтому свободно сочетается со словом *мясо*.

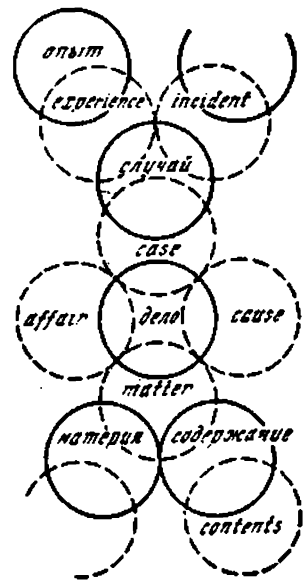


Рис. 2

Английское слово wet среди своих значений имеет такое, как 'marked by showers or by heavy rainfalls; rainy' (Funk 1928), и поэтому оно сочетается со словом climate. Однако среди его значений нет близкого к 'не вареный, не жареный, не печеный', и поэтому оно не может сочетаться со словом meat. Значение очень близкое к 'не вареный, не жареный, не печеный' встречается среди значений английского слова raw 'not changed or prepared by cooking, uncooked' (Funk 1928) и поэтому слово meat может свободно сочетаться со словом raw.

Для интуитивного восприятия кажется необоснованным, почему мы говорим по-русски *обеспечить семью*, *обеспечить боеприпасами*, *обеспечить мир*, *обеспечить победу*, а по-английски в данных случаях — to provide for the family, to provide with munitions, но to ensure peace, to ensure victory.

Однако сопоставление слов через понятия раскрывает многозначность русского слова *обеспечивать* и объясняет логику словосочетаний с ним в русском языке и с его аналогами в английском. Русское слово многозначно и поэтому, естественно, соответствует нескольким английским аналогам.

Русское слово *обеспечить* имеет значение 'предоставить достаточно материальных средств к жизни' (Ожегов, 1953) и поэтому сочетается со словом *семья* — *обеспечить семью*. В английском языке аналогичное значение содержится в слове provide

'to make, procure, furnish for future use' (Funk 1928). Отсюда сочетание — provide for a family.

Слово *обеспечить* имеет также значение 'снабдить чем-нибудь в *нужном* количестве', поэтому оно сочетается со словом *боеприпасы*. Это же значение мы находим в английском слове provide 'to furnish or to furnish with supplies or requisites' (Funk 1928); поэтому оно сочетается со словом munition — to provide with munitions.

Однако третье значение слова *обеспечить* 'сделать вполне возможным, действительным, несомненным' (*обеспечить мир во всем мире, обеспечить победу, обеспечить подъем общественного животноводства*) уже выходит за пределы английского слова provide. Близкое значение мы встречаем в слове ensure 'to make sure or secure, guarantee' (Funk 1928) и, действительно, слово ensure сочетается со словами peace, victory, increase и т. д. (Соболева 1956, 84—86; Гинзбург, Хидекель 1969).

Пары слов типа *сырой*/wet и *сырой*/raw, *обеспечить*/provide и *обеспечить*/secure; *слабый*/weak (child), *слабый*/poor (health), *слабый*/faint (voice), *слабый*/dim (light) и т. д. в американской контрастивной лингвистике иногда шутливо называются problem—pairs (Hadlish 1965). На англо-испанском материале такими «озадачивающими» парами являются, например, salir/leave и dejar/leave;

(37) I left my hat — Dejé el sombrero

(38) I left the house — Sali de case

В отличие от предлагаемой нами методики, заключающейся в раскрытии многозначности слова родного языка, значения которого распределены по-иному между значениями слов изучаемого языка, Роджер Хадлиш настаивает на преимуществах интуитивного метода обучения словам-аналогам, при котором отдельно изучаются контексты употребления слов типа salir и dejar. Чем больше сравнения с аналогами, тем более вероятна ошибка, по его мнению. Очевидно, Роджер Хадлиш прав в том, что обучение не должно начинаться с наталкивания на ошибки. Сфера применения нашей методики относится скорее к области анализа и предупреждения ошибочных словоупотреблений и борьбы с ними.

Заключительная часть настоящей статьи касается одной из возможных методик изучения слов-аналогов в узком значении этого термина, т. е. однокоренных слов типа act — *акт*, actor — *актер*, actual — *актуальный* и т. д.

Разноязычные слова одного корня могут либо быть, либо не быть семантико-функциональными аналогами в зависимости от места сравниваемых слов в лексических микросистемах двух или более языков.

Место элемента в системе определяется числом ее элементов. Так, если в одном языке имеется n слов корня M, а в другом m

слов этого же корня, причем $n \neq m$, то из этого следует, что слово ряда n является $\frac{1}{n}$ этого ряда, а слово ряда m — $\frac{1}{m}$ этого ряда, и сравнение слов m-микросистемы и n-микросистемы должно производиться с учетом того, какую семантическую и функциональную нагрузку несет каждое слово как элемент микросистемы.

Рассматривая под этим углом зрения английские и русские однокоренные слова типа actor — *актер*, actually — *актуально* и др., заметим: а) английский и русский языки имеют различное число слов корня act — *акт*, и соответствующие словообразовательные гнезда обладают разными структурами; б) что в каждом из этих двух языков указанные слова лишь частично совпадают в соотносительном распределении по частям речи: так, наряду с группировками act — *акт*, actor — *актер*, actress — *актриса*, active — *активный*, activity — *активность*, actual — *актуальный*, actually — *актуально*, actuality — *актуальность*, activise — *активизировать*, ряд русских слов (*актерство*, *актив*, *актовый*) не имеют соотносимых в отношении части речи однокоренных слов в английском языке; а английские actualize, actuate, actionable в свою очередь не имеют однокоренных морфологических аналогов в русском языке; в) что в английском и русском языках слова этого корня показывают схождения и расхождения в своих *значениях*, *дистрибуции и сочетаемости*.

Можно рекомендовать такой подход к изучению общих по корню разноязычных слов, когда эти слова сравниваются по нескольким параметрам, при этом исчисляются все принципиально возможные комбинации заданных признаков. В итоге получается возможность установить отношение принципиально допустимых комбинаций признаков к реально наблюдаемым комбинациям этих признаков и даются количественные и качественные оценки.

Можно вести сравнение однокоренных слов по четырем параметрам — семантическому, дистрибутивному, сочетаемости и, наконец, по принадлежности к определенной части речи. По каждому из этих четырех признаков сравниваемые слова могут обнаруживать либо схождения, либо расхождения.

Сравнение по семантическому параметру проводится на основе того, обладают или не обладают сравниваемые слова (судя по их толкованиям) хотя бы одним общим ЛСВ или семантическим компонентом, ср. public — *публичный*, realize — *реализовать*, nature — *натура* (см. Морозова 1977).

Поскольку то или иное значение слова проявляется в определенных условиях дистрибуции и сочетаемости, эти два признака оказываются релевантными при установлении семантических схождений и расхождений однокоренных слов, ср. public library — *публичная библиотека*, dramatic conductor — *темпераментный дирижер*, unorthodox clothes — *костюмы необычного*

покроя, где лишь в первой паре словосочетаний налицо семантическое схождение однокоренных слов public — *публичный* в тождественной формуле дистрибуции «прилагательное + существительное»; следующие два примера показывают, что при определенной сочетаемости и дистрибуции английские слова dramatic и unorthodox не переводятся на русский язык словами общего им корня, что является сигналом семантико-функциональных расхождений в парах слов dramatic — *драматический*, unorthodox — *неортодоксальный*. (Методика определения семантических признаков на основании словарных дефиниций предложена в работе: Вилюман 1971; см. также Вилюман 1967).

Разноязычные однокоренные слова могут значительно расходиться семантически и функционально, и это приводит к тому, что в разных языках они могут принадлежать к разным частям речи, так анг. really, actually — модальные слова, русск. *реально, актуально* — наречия.

Обозначим наличие каждого из выделенных четырех признаков большими буквами латинского алфавита: C — наличие у слов семантической общности, E — общей дистрибуции, F — общей сочетаемости, R — принадлежность слов к одной части речи. Соответственно малые буквы c, e, f и r будут означать отсутствие названных признаков: c — слова не обладают семантической общностью, e — различаются в дистрибуции, f — имеют различную сочетаемость, r — принадлежат к разным частям речи.

Логический алфавит дает нам 16 принципиально возможных комбинаций из 4 признаков, начиная с комбинации, включающей все четыре признака CEFR и кончая комбинацией, не содержащей ни одного из них — cefr.

Так, набору признаков CEFR отвечают слова moral — *моральный* в сочетаниях moral support — *моральная поддержка*; в паре moral drama — *нравоучительная драма* соотношение moral — *моральный* определяется комбинацией признаков CEfR, поскольку при семантической, дистрибутивной и категориальной общности эти слова расходятся в сочетаемости: сочетание слов *моральная драма* неупотребительно.

The man for all seasons — *человек на все времена*, здесь у слов season и *сезон* также налицо расхождение в сочетаемости (*человек на все сезоны* — невозможное сочетание слов): если же, в этих словах усматривать и расхождение в значениях, то этот пример отвечает набору признаков cEfR.

Сопоставляя Textes de vulgarisation scientifique — *сборник научно-популярных текстов*, приходим к выводу, что vulgarisation и *вульгаризация* расходятся по значению, дистрибуции и сочетаемости: *тексты вульгаризации научной* — дает неотмеченное сочетание слов, таким образом, здесь мы имеем дело с набором признаков cefR. В русском переводе предложения из сочинений

С. Моэма: Ashendon realized she had never opened a door for herself глагол *реализовал* звучал бы нелепо, поэтому и в отношении этого примера можно утверждать, что realize и *реализовать* расходятся по значению, дистрибуции, сочетаемости, совпадая лишь в отношении принадлежности к одной части речи — cefR.

Сравнение actually с *актуально* при переводе предложения из А. Кронина: He had actually to leave the whole technique to Stillman показывает, что эти два слова расходятся по всем четырем признакам — значению, дистрибуции, сочетаемости и принадлежат к разным частям речи — cefr.

Располагая всеми принципиально возможными комбинациями выделенных четырех признаков — *CEFR*, CEfr, CeFR, cEfR, CeFR, *cefr*, *CEfR*, CEfr, CeFR, Cefr, cEfR, cEFr, *cefR* и т. д. (из которых нами рассмотрено четыре подчеркнутых), мы получаем возможность изучить объект исследования в полном объеме и описать его в отношении того, что гипотетически возможно, и тому, что реально наблюдается в речи.

ЛИТЕРАТУРА

Альтман И. В., Соболева П. А., Шевчук В. П. Сопоставительный анализ отглагольных словообразовательных гнезд в русском и английском языках. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Самаркавд, 1972.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.

Аракин В. Д. Лексическая сочетаемость как один из компонентов словарной статьи. — В кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. М., 1977.

Ахманова О. С. и *Гинзбург Р. С.* К вопросу о диалектике языка и мышления. — В кн.: Проблемы теории познания и логики. Материалы к XIV международному философскому конгрессу, вып. 1.

Будагов Р. А. Сравнительно-семантические исследования. М., Изд-во МГУ, 1963.

Вилюман В. Г. Об употреблении слова actually в современном английском языке. — Учен. зап. Горьковского гос. пед. ин-та иностранных языков, 1963.

Вилюман В. Г. Про синонимы. — Іноземна філологія. Львів, 1967, вып. 12.

Вилюман В. Г. Семантические и функциональные связи слов и их синонимия в современном английском языке. Автореф. докт. дис. Л., 1971.

Вилюман В. Г. Существительные-синонимы в английском языке. Л., 1972.

Вилюман В. Г. О синонимии в языке и речи. — В кн.: Вопросы теории английского и русского языков. Вологда, 1973.

Волянская И. В. Лексико-семантические особенности существительных, обозначающих единицу измерения времени, в английском и русском языках. Автореф. канд. дис. М., 1973.

Гак В. Г. Опыт применения сопоставительного анализа к изучению структуры значения слова. — ВЯ, 1966, № 2.

Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. М., Международные отношения, 1977.

Гинзбург Р. С. Методы лексикологического исследования. Конспект лекций. М., 1977.

Гинзбург Р. С., Хидекель С. С. Сопоставительное изучение лексики и практика преподавания. — В кн.: Тезисы докладов лингвистической конференции. Новосибирск, 1969, вып. 3, т. 1.

Ерасова Л. Г. Глаголы физического восприятия в современном английском и французском языках (Опыт сопоставительного анализа). Воронеж, 1973.

Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 1—17. М., 1959—1974.

Морозова П. Н. Синхронно-сопоставительный анализ семантических структур глаголов мыслительно-оценочной деятельности в английском, немецком и шведском языках (на материале глаголов mean—mienan—mena; think—denken, dünken, tänka, tycka, tykas). Автореф. канд. дис. М., 1977.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1953.

Пиотровский Р. Г. Еще раз о дифференциальных признаках фонемы. — ВЯ, 1960, № 6.

Питецкая Е. Н. О сравнении двух лексических микросистем в английском и русском языках с помощью языка-посредника. — В кн.: Лексикологические основы стилистики. Л., 1973.

Проблемы порождающей грамматики и семантики. Реферативный сборник под ред. Л. С. Бархударова. М., 1976.

Путятина Е. Н. Синонимическая группа глаголов, объединенная значением «думать» в английском и русском языках. Автореф. канд. дис. Л., 1972.

Рецкер Я. И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык. — В кн.: Теория и методика учебного перевода. М., Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1950.

Слюсарева С. В. Синонимический ряд глаголов, объединенных значением «разрушать» в английском и русском языках. Автореф. канд. дис. Л., 1974.

Соболева П. А. Применение сопоставительного метода при обучении лексике иностранного языка. — Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, 1956, т. XLC, вып. 1.

Соболева П. А. Семантика в порождающей грамматике. — В кн.: Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке (проблемы деривации). Пермь, 1977.

Толстой Н. И. Из опыта типологического исследования славянского словарного состава. — ВЯ, 1966, № 6.

Уфимцева А. А. О типологическом изучении лексики. — В кн.: Структурно-типологическое описание современных германских языков. М., 1966.

Ярцева В. Н. О сопоставительном методе изучения языков. — Науч. докл. высшей школы, сер. «Филол. науки», 1960, № 1.

Bach Emmon. Nouns and noun phrases in universals. — In: Universals in linguistic theory. Ed. by Emmon Bach and Robert T. Harms et alt. N. Y., 1968.

Bendix E. N. Componential analysis of general vocabulary. Bloomington, Indiana university research center in anthropology, folklore and literature (publication 40), 1966.

Fillmore Ch. J. The case for case. — In: Universals in linguistic theory.

Fisiak Jacek. The Polish-English contrastive project. — Papers and Studies in Contrastive Linguistics, vol. I. Karpacz conference on contrastive linguistics (66—18 December, 1971), Poznań, 1973.

Fries Ch. Teaching and learning English as a foreign language. University of Michigan press, 1967.

Funk and Wagnalls practical standard dictionary. Funk and Wagnalls Company, N. Y.—L., 1928.

Hadlish Roger L. Lexical contrastive analysis. — The Modern Language Journal, v. XLIX, 1965, N 7, November.

Hangen Klaus. Reader zur kontrastiven Linguistik. — Zeitschrift für Anglistik und Amerikenistik, 1975, N 3.

Harris Zelig S. Transfer grammar. — International Journal of American linguistics, XXV, 1954, No. 4, October, p. 259.

Jakobson R., Fant C. G. M., Halle M. Preliminaries to speech analysis: the distinctive features and their correlates. — MIt. Technical report, No. 13. Acoustics laboratory, 2-nd pr. 1955.

Katz J. J., Fodor J. The Structure of a semantic theory. — Language. Baltimore, 1963, v. 39, No. 2.

Katz J. J., Postal P. M. An integrated theory of linguistic description. Cambridge (Mass.) MIt press, 1964.

Krzeszowski Tomasz P. Equivalence, congruence and deep structure. — Papers in contrastive linguistics. Ed. by Gerhard Nickel. Cambridge university press, 1971.

Lado R. Linguistics across cultures. — In: Applied linguistics for language teachers. Ann Arbor, 1957.

Lakoff George. Instrumental abverbs and the concept of deep structure. — Foundations of Language, 1968 4, I, 4—29.

Nida E. A. Componential analysis of meaning. An introduction to semantic structures. The Hague — Paris, 1975.

Nickel Gerhard. Contrastive linguistics and foreign language teaching. — Papers in contrastive linguistics, ed. by G. Nickel. Cambridge university press, 1971.

Ross J. H. On declarative sentences — In: *Jachobs R., Rosenbaum P.* eds. Readings in English transformational grammar. Walthen, Mass.: Grinn and Co, 1970.

Snook Roger L. A stratificational approach to contrastive analysis. Papers in contrastive linguistics, ed. by G. Nickel. Cambridge university press, 1971.

Zabrocki Tadeusz. Some grammatical implications of the contrastive analysis of English sentence adverbs and their equivalents in Polish. — In: Papers and studies in contrastive linguistics. V. 1 Karpacz conference on contrastive linguistics (16—18 December, 1971). Poznań, 1973, p. 25.

Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ

СЕМАНТИКА РУССКИХ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ

Цель данной работы — выявление семантики наиболее употребительных союзов современного русского языка — *и, а, но, или.* Указанные союзы используются при соединении однородных компонентов внутри как простого, так и сложного предложений.

Компоненты сложносочиненного предложения (ССП), связанные при помощи сочинительных союзов, отвечают следующим условиям.

1. При идентичности синтаксических структур они могут иметь различия в лексическом составе: а) в один элемент (А), б) в два или более элемента (Б).

2. При различии синтаксических структур во втором компоненте а) повторяется какой-либо элемент (его вариант или заместитель) первого компонента (В), б) употребляется указа-

тельное местоимение, связанное с каким-либо элементом первого компонента или со всем первым компонентом в целом (Г), в) формально нет ни одного элемента, общего с первым компонентом, но имеется элемент, находящийся в некотором семантическом отношении (синонимии, антонимии, род — вид и т. п.) с тем или иным элементом первого компонента (Д). Ср., например: (А) На столе лежит книга, *и* на полке лежит книга; (Б) На столе лежит книга, *а* на полке лежит тетрадь; (В) На столе лежит книга, *и* я собираюсь ее прочесть; (Г) На столе лежит книга, *а* я и не знал об этом; (Д) На столе лежит книга, *но* мне нужен журнал.

Наше исследование ограничивается ССП с идентичными синтаксическими структурами компонентов. Каждое ССП приводится в трех вариантах, исчерпывающих возможности сочетаемости утвердительной и отрицательной форм предложений—компонентов: 1) утвердительная — утвердительная, 2) утвердительная — отрицательная, 3) отрицательная — отрицательная. Для каждого варианта предложения устанавливается его осмысленность и определяются ее условия путем интерпретации содержания предложения.

Союз *и*: 1а) Это книга, *и* это книга, 1б) Это книга, *и* это не книга, 1в) Это не книга, *и* это не книга.

Для варианта (1а) возможны следующие интерпретации смысла.

1) При $ЭТО_1 = ЭТО_2$ имеет место тавтология: $\exists x\,(A(x) \wedge A(x))$. Предложение бессмысленно (в дальнейшем принято обозначение: $*\,(ЭТО_1 = ЭТО_2)$).

2) При $(ЭТО_1 \neq ЭТО_2)$ предложение выражает идентификацию двух предметов, приписание им одного и того же свойства, в данном случае — отнесение к одному и тому же классу: $(\exists x A\,(x)) \wedge (\exists y A\,(y))$.

Для варианта (1б) при 1) $*(ЭТО_1 \neq ЭТО_2)$ — противоречие: $\exists x\,(A(x) \wedge \bar{A}\,x))$; 2) $*(ЭТО_1 \neq ЭТО_2)$ — неуместность союза *и* при выражении противопоставления: $(\exists x A\,(x)) \wedge (\exists y \bar{A}\,(y))$.

Для варианта (1в) получаются смыслы 1) $*(ЭТО_1 = ЭТО_2)$ — тавтология; 2) $(ЭТО_1 \neq ЭТО_2)$ — утверждение об отсутствии у двух предметов указанного признака или об исключении их из данного класса при отсутствии идентификации (противоположность (1а1)).

2а) Это книга, *и* это журнал, 2б) Это книга, *и* это не журнал, 2в) Это *не* книга, и это *не* журнал.

Для варианта (2а): 1) при $*(ЭТО_1 = ЭТО_2)$ — случай, аналогичный (1б1); 2) при $(ЭТО_1 \neq ЭТО_2)$ — случай, аналогичный (1б2).

Для варианта (2б): 1) при *($ЭТО_1 = ЭТО_2$) — своеобразная тавтология: $\exists x (A(x) \wedge \bar{B}(x))$, где $A = \bar{B}$; 2) при ($ЭТО_1 \neq \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (1б2).

Для варианта (2в): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) предложение выражает отрицание у предмета двух разных свойств, в данном случае — исключение его из двух разных классов: $\exists x (\bar{A}(x) \wedge \bar{B}(x))$; 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (1б2).

3а) Это новая книга, *и* это интересная книга, 3б) Это новая книга, *и* это не интересная книга, 3в) Это не новая книга, *и* это не интересная книга.

Для варианта (3а): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) в предложении предмету приписываются два непротиворечивых свойства или он относится к двум непересекающимся классам; 2) при ($ЭТО_1 \neq \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (1б2).

Для варианта (3б): 1) при *($ЭТО_1 = ЭТО_2$) в предложении предмету приписываются два различных признака, один из которых явно положительный, а другой — явно отрицательный, что не согласуется с языковой формой выражения (союз *и* здесь неуместен); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (1б2).

Для варианта (3в): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) — случай, аналогичный (2в1); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (1б2).

Обобщая все рассмотренные случаи употребления союза *и*, можно отметить следующее.

А. Предложение не имеет смысла: 1) при полном тождестве компонентов (1а1, 1в1); 2) при различии между компонентами в два элемента, выражающем а) отнесение одного предмета к двум непересекающимся классам (2а1), б) одновременное утверждение и отрицание наличия у предмета какого-либо признака или принадлежности его к какому-либо классу (1б1); в) отнесение двух различных предметов к двум различным классам (2в2, 3в2); 3) при различии более, чем в два элемента (1б2, 2а2, 2б2, 3а2, 3б2).

Б. Предложение имеет смысл и соответствует языковым нормам при различии между компонентами в один элемент, которым может быть а) название (указание) предмета (1а2, 1в2), б) название признака или класса (2в1, 3а1, 3в1).

Таким образом, симметричное ССП с союзом *и* должно иметь минимальное различие между предложениями-компонентами — в один элемент. Такое ССП выражает идентификацию, сопоставление двух предметов по их признакам или принадлежности к классу, приписывание одному предмету двух разных (но непротиворечивых) признаков или отнесение его к двум непересекающимся классам.

Предложения, выражающие сопоставление, могут быть преобразованы в простые предложения с однородными членами (ОЧ). Ср., например: (1а2) Это книга, *и* это книга → Это *и* это —

книги; (3а1) Это новая книга, *и* это интересная книга → Это новая *и* интересная книга (данное преобразование можно рассматривать как тест на сопоставление).

Союз *а*: 4а) Это книга, *а* это книга; 4б) Это книга, *а* это не книга; 4в) Это не книга, *а* это не книга.

В отношении интерпретации смысла эти и последующие предложения не отличаются от ранее рассмотренных (1—3). Все различие заключается в соответствии этим смыслам языковой формы рассматриваемых предложений, а именно — уместности союза *а*. На это прежде всего и обращается внимание при определении правильности/неправильности анализируемых предложений.

Для варианта (4а): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) *($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$).

Для варианта (4б): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) предложение выражает приписание двум разным предметам двух различных признаков или отнесение их к двум различным классам.

Для варианта (4в): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) *($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$).

5а) Это книга, *а* это журнал, 5б) Это книга, *а* это не журнал, 5в) Это не книга, *а* это не журнал.

Для варианта (5а): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (4б2).

Для варианта (5б): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) *($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$).

Для варианта (5в): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (4б2).

6а) Это новая книга, *а* это интересная книга; 6б) Это новая книга, *а* это не интересная книга; 6в) Это не новая книга, *а* это не интересная книга.

Для варианта (6а): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (4б2).

Для варианта (6б): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (4б2).

Для варианта (6в): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (4б2).

Обобщая случаи употребления союза *а*, можно отметить следующее.

А. Предложения не имеют смысла: 1) при полной идентичности компонентов ССП (4а1, 4в1); 2) при различии между компонентами ССП в один элемент (4а2, 4в2, 5а1, 5б1, 5в1, 6а1, 6б1, 6в1); 3) при различии между компонентами ССП более, чем в два элемента (5б2).

Б. Предложения имеют смысл при различии между компонентами ССП в два элемента (4б2, 5а2, 5в2, 6а2, 6б2, 6в2).

Итак, единственный случай, когда ССП с союзом *а* осмысленно, — различие между компонентами такого ССП в два элемента. В этом случае ССП выражает противопоставление двух предметов по двум разным признакам или по их принадлежности к двум различным классам.

Подобные ССП допускают преобразование в простое предложение с ОЧ при включении в него слова «соответственно», связывающее две группы ОЧП, соединенных попарно союзом *и*. Ср., например: (5а2) Это книга, *а* это журнал → Это *и* это соответственно книга и журнал (данное преобразование можно рассматривать как тест на противопоставление).

Союз *но*: 7а) Это книга, *но* это книга; 7б) Это книга, *но* это не книга; 7в) Это не книга, *но* это не книга.

Для варианта (7а): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) предложение выражает отрицание импликации «если это — книга, то это — не книга»: $\neg$ (ЭхА (х) → ЭуА (у)). В языковой форме более точным был бы вариант: Это книга, *но* это — тоже книга.

Для варианта (7б): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) предложение выражает отрицание импликации, аналогичной (7а2): $\neg$ (ЭхА (х) → ЭуА (у)).

Для варианта (7в): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) смысл предложения подобен (7а2): $\neg$ (ЭхА (х) → ЭуА (у)). В языковой форме более точным был бы вариант: Это не книга, *но и* это тоже не книга.

8а) Это книга, *но* это журнал; 8б) Это книга, *но* это не журнал; 8в) Это не книга, *но* это не журнал.

Для варианта (8а): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (7а2).

Для варианта (8б): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) предложение выражает отрицание импликации «если это не книга, то это журнал»: $\neg$ (ЭхА (х) → В (х)); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (7б2).

Для варианта (8в): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) — случай, аналогичный (8б1); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (7б2).

9а) Это новая книга, *но* это интересная книга; 9б) Это новая книга, *но* это не интересная книга; 9в) Это не новая книга, *но* это не интересная книга.

Для варианта (9а): 1) ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) предложение выражает отрицание импликации, подобно (8б1); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, аналогичный (7а2). Варианты (9б1, 9б2, и 9в1, 9в2) дают случаи, аналогичные (9а1, 9а2).

Обобщая случаи употребления союза *но*, можно отметить следующее.

А. Предложения не имеют смысла: 1) при полной идентичности компонентов ССП (7а1, 7в1); 2) при различии между компонентами ССП в один элемент, выражающем противоречие — утверждение у предмета двух взаимоисключающих признаков или отнесение его к двум непересекающимся классам (7б1, 8а1).

Б. Предложения имеют смысл: 1) при различии между компонентами ССП в один элемент, не выражающем противоречия а) при назывании разных предметов, обладающих одним признаком или относящихся к одному классу (7а2, 7в2); б) при назывании разных признаков или классов (пересекающихся) одного предмета (8б1, 8в1, 9а1, 9б1, 9в1); 2) при различии между компонентами ССП в два элемента, один из которых представляет собой название предмета, второй — название признака или класса (7б2, 8а2, 8б2, 8в2, 9а2, 9б2, 9в2).

Условия Б1 и Б2 свидетельствуют о формальной близости ССП с союзами *и*, *а* и *но*. Различие заключается в том, что в семантике ССП с союзом *но* обязательно наличие о т р и ц а н и я, которое по существу относится ко второму члену выражаемой предложением импликации. В более явной форме это очевидно при замене импликации равносильной конъюнкцией: $A \rightarrow B = \neg (A \wedge \bar{B})$ или $\neg (A \rightarrow B) = A \wedge \bar{B}$. Второй компонент подобных ССП представляет собой отрицание некоторой пресуппозиции, вытекающей из семантики первого компонента. В этом — различие между *но* и *а*, при котором все должно быть явно выраженным. Ср., например: (8б2) Это книга, *но* это не журнал; (5б2) *Это книга, *а* это не журнал. При возможном: Это книга, *а* это не журнал, как вы утверждали.

Поскольку отрицание пресуппозиции является дополнительным смысловым компонентом, предложения с *но* выражают всегда противопоставление, которое можно определить как отрицательное противопоставление (тогда как ССП с союзом *а* выражают положительное противопоставление).

Преобразования ССП с союзом *но* в простые предложения с ОЧ, соединенные этим же союзом, возможны в следующих случаях:

а) при различии между компонентами ССП в один элемент и при сочетании утвердительной и отрицательной форм в этих компонентах: (8б1) Это книга, *но* это не журнал → Это книга, *но* не журнал; (9б1) Это новая книга, *но* это не интересная книга → Это новая, *но* не интересная книга;

б) при различии в два элемента: (7б2) Это книга, *но* это не книга → Это, *но* не это книга.

В других случаях соединение ОЧП при помощи союза *но* оказывается невозможным. Осмысленные и правильные предложения получаются лишь при замене *но* на *и*, приводящей к изменению смысла исходного предложения. Подобное преобразование допустимо в следующих случаях:

а) при различии между компонентами ССП в один элемент и утвердительной форме обеих частей ССП: (7а2) Это книга, *но* это (тоже) книга → *Это, *но* это книга → Это *и* это — книги (=Это книга, *и* это книга);

б) при различии в два элемента: (8а2) Это книга, *но* это журнал → *Это, *но* это соответственно книга *и* журнал → Это *и* это соответственно книга *и* журнал (не книга!).

Третий тип преобразования — в простое предложение с ОЧ, соединенными парными союзами *и*. . .*и*, *ни*. . .*ни*. Оно возможно при различии между компонентами ССП в один элемент и отрицательной форме в обеих частях: (7в2) Это не книга, *но* это (тоже) не книга → *Ни* это, *ни* это — *не* книга → *И* это, *и* это — книги.

Остальные случаи преобразований не допускают.

Союз *или*: 10а) Это книга, *или* это книга; 10б) Это книга, *или* это не книга; 10в) Это не книга, *или* это не книга.

Для варианта (10а): 1) при *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) предложение имеет смысл при наличии пресуппозиции о том, что по крайней мере один из двух предметов д о л ж е н б ы т ь книгой.

Для варианта (10б): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) предложение имеет смысл при наличии пресуппозиции о том, что данный предмет м о ж е т б ы т ь книгой; 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) предложение выражает следующую импликацию: «если $ЭТО_2$ — книга (а это заведомо книга), то и $ЭТО_1$ д о л ж н о б ы т ь книгой, если же $ЭТО_1$ — не книга, то и $ЭТО_2$ н е м о ж е т б ы т ь книгой»: $\Box (\exists x A(x) \rightarrow \exists y A(y)) \sim \neg \Box (A(x) \wedge \bar{A}(y))$.

Для варианта (10в): 1) *($ЭТО_1 = ЭТО_2$); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) предложение выражает отрицание варианта (10а2).

11а) Это книга *или* это журнал; 11б) Это книга *или* это не журнал; 11в) Это не книга *или* это не журнал.

Для варианта (11а): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) предложение выражает в о з м о ж н о с т ь названного предмета входить только в один из двух названных классов; 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) предложение выражает импликацию (конъюнкцию), подобную (10б2).

Для варианта (11б): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) предложение выражает импликацию: «если ЭТО — не книга, то, по крайней мере, ЭТО н е м о ж е т б ы т ь журналом»: $\exists x A(x) \rightarrow \Box \bar{B}(x)$; 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, подобный (10б2).

Для варианта (11в): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) — случай, подобный (11б1); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, подобный (10б2).

12а) Это новая книга *или* это интересная книга; 12б) Это новая книга *или* это не интересная книга; 12в) Это не новая книга *или* это не интересная книга.

Для варианта (12а): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) предложение выражает возможность для названного предмета обладать только одним из двух указанных признаков (входить в один из двух классов); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, подобный (10б2).

Для варианта (12б): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) — случай, подобный (10б1); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, подобный (10б2).

Для варианта (12в): 1) при ($ЭТО_1 = ЭТО_2$) — случай, подобный (11в1); 2) при ($ЭТО_1 \neq ЭТО_2$) — случай, подобный (11в2).

Обобщая случаи употребления союза *или*, можно отметить следующее: ССП с союзом *или* не имеет смысла только в одном случае — при полной идентичности компонентов (10а1, 10в1). Во всех остальных случаях, т. е. при любом различии компонентов, ССП имеют смысл и оказываются грамматически правильными. Различия компонентов могут касаться а) названий предметов (10а2, 10в2), б) названий признаков или классов (10б1, 11а1, 11б1, 11в1, 12а1, 12б1, 12в1), в) названий и предметов, и признаков одновременно (10б2, 11а2, 11б2, 11в2, 12а2, 12б2, 12в2).

При различии в один элемент имеет место, во-первых, либо отнесение одного из двух предметов к данному классу (приписание данного признака), либо — при отрицании — исключение одного из двух предметов из данного класса (отрицание данного признака). В обоих случаях возможно преобразование в простое предложение ОЧ, связанными парными союзами:

(10а2) Это книга *или* это книга → *Либо* это, *либо* это — книга.

(10в2) Это не книга *или* это не книга → *Либо* это, *либо* это — не книга.

Во-вторых, может иметь место либо приписание данному предмету одного из двух признаков, либо включение его в один из двух классов. При этом, исключение предмета из данного класса (отрицание данного признака) семантически эквивалентно включению его в какой-то другой класс (утверждению какого-то другого признака). Во всех этих случаях возможно преобразование, подобное предыдущему:

(11а1) Это книга *или* это журнал → Это *либо* книга, *либо* журнал.

(10б1) Это книга *или* это не книга → Это *либо* книга, *либо* не книга.

В-третьих, предположение наличия одного признака (принадлежности к одному классу) может сопровождаться отрицанием возможности наличия другого признака (принадлежности к другому классу). Преобразование ССП такого типа в простое предложение с ОЧ предполагает введение выражения *по крайней мере*:

(11б1) Это книга *или* это не журнал → Это книга *или*, по крайней мере, не журнал.

И, наконец, в-четвертых, может иметь место либо включение двух разных предметов в разные классы, либо приписание им разных признаков. При этом, утверждение/отрицание признака (принадлежности к классу) одного предмета производится через импликацию, выражающую сопоставление с предметом, признак (принадлежность к классу) которого считается заведомо определенным. Во всех этих случаях преобразование ССП в про-

стое предложение с ОЧ, соединенными союзом *или*, невозможно. Однако допустимо преобразование в предложение с ОЧ, соединенными союзом *и* (ср. операцию замены дизъюнкции и импликации эквивалентной конъюнкцией): (10б2) Это книга *или* это не книга (=если это не книга — а это на самом деле книга, — то тогда и это тоже не книга) → *Это *или* это — соответственно книга *или* не книга → Это *и* это — книги.

Анализ преобразований помогает установить особенности значения союза *или* по сравнению с *и*, *а*, *но*.

Прежде всего обращает на себя внимание уменьшение числа ограничений на правильность предложений для *или* по сравнению с остальными союзами: если для *и* и *а* по нескольку ограничений, то для *или* только одно: полная идентичность компонентов ССП.

Следующей особенностью предложений с *или* является обязательное наличие в семантике предложения модального компонента.

Указанные особенности отличают союз *или* от остальных рассмотренных сочинительных союзов. С другой стороны, преобразования показывают и тесную связь значений этих союзов: все они могут быть интерпретированы через *и*.

Эта связь уже давно отмечена в математической логике, где установлены вполне определенные соотношения между конъюнкцией, дизъюнкцией и третьей связью — импликацией, а также и способы выражения одной связи через другие.

Что касается значений рассматриваемых союзов, то можно было бы определить их следующим образом: *и* — сопоставление (идентификация), *а* — противопоставление (контраст), положительное противопоставление, *но* — отрицательное противопоставление, *или* — модальное сопоставление/противопоставление.

И. В. АЛЬТМАН

ЛОКАЛИЗАТОРЫ В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В синтаксических исследованиях последних лет пристальное внимание уделяется принципиальным вопросам членения предложения, пересмотру «синтаксических масок» для соответствующих морфологических характеристик, к разграничению семантического и позиционного критериев, необходимости расширить представление о способах выражения главных членов предложения (Грамматика-70, Шмелев, 1976, Золотова 1979 и др.).

В связи с этим признается целесообразным исходить из того, что для синтаксиса имеет решающий смысл противопоставление классов имен конкретно-предметного или отвлеченного значения, иначе — предметной и пропозитивной семантики (Арутюнова 1969); в свете этого противопоставления одноименными компонентами предложения оказываются морфологически разнородные слова. Таким образом, в исследовании структуры предложения все большую роль приобретает изучение семантики отдельных слов — их лексической семантики, морфологических характеристик, категориальных свойств, неотделимых от синтаксических связей (Шведова 1971), способности приобретать те или иные позиционно обусловленные значения и т. д. Уместно поставить вопрос не только о влиянии исходных свойств слов на синтаксические связи слов и о степени этого влияния, но и о синтаксических позициях, в которых эти свойства проявляются или даже оказываются решающими, и соответственно о позициях нейтрализации исходных свойств слова.

Заранее можно сказать, что универсального набора таких признаков, по-видимому, не существует не только для всех языков, или групп языков, но и для одного какого-то языка. Чрезвычайной редкостью, думается, следует считать почти идеальную гамму ранжированности имен по степени индивидности в испанском языке, полностью соответствующую классификации субстанций или сущностей по Аристотелю (Степанов 1979, 432).

Вот почему представляется целесообразным вести поиск в области анализа значений, характерных для групп лексики, способных замещать те или иные синтаксические позиции, начиная с вычленения именно этих позиций в предложении. Такой подход диктуется самим фактом двуплановости предложения, состоящей в единстве двух планов, в одном из которых находит отражение связь с объективным миром (лексические значения слов, морфологические и категориальные свойства, выражающие или закрепляющие эти значения), а в другом — связь с процессом мышления (т. е. понимание сообщения как приписывания некоему предмету какого-либо признака, иными словами — предикативность, находящая выражение в языковых категориях времени, модальности и лица — Золотова 1979, 17). Следовательно, изучение семантики предикатного ядра предложения было бы достаточным для описания семантики подчиненных глаголу компонентов предложения.

Обращение к семантике предикатного ядра предложения тем оправданнее, что для описания ее существует удобная модель, предлагающая набор семантико-синтаксических универсалий. Это — модель Ч. Филлмора (Fillmore 1968, 24), в том ее варианте, который был применен к конкретному описанию языковых фактов в секторе структурных методов изучения языка и лингвистической поэтики Института русского языка АН СССР.

Подчеркивая, что применяемый способ представления структуры предикатного ядра предложения соответствует целям нашего описания, уместно сослаться на опыт Н. Д. Арутюновой, которая в статье «Семантическая структура и функция субъекта» (Арутюнова 1979), давая исчерпывающий анализ семантики (и предваряющих ее интродукций) имен (в подавляющем большинстве случаев — одушевленных), выражающих субъект конкретного суждения (что не равнозначно грамматическому подлежащему), рассматривает позиции, в которых анализируемое имя почти всегда однозначно соотносится с одной из таких семантических констант — той, которую в нашей системе принято называть эффективом.

В настоящей работе мы попытаемся охарактеризовать семантические особенности лексики, способной замещать одну из констант применяемой модели, а именно — локатив, обычно определяемый как «предмет, локализованный в пространстве или во времени».

Рассматриваются случаи употребления локализатора в пространстве только в трехчленных конструкциях, когда он соотносим с сильноуправляемым членом предложения (обстоятельства, занимающие факультативные позиции, не рассматриваются), а именно — косвенным объектом. Удобным представляется и тот момент, что в трехчленных конструкциях снимается вопрос о соотнесении рассматриваемого компонента с какой-либо другой семантической константой, как например, для конструкций двучленных, где возможен объектив или инструментив. Такой подготовкой обеспечивается наименьшая спорность применяемых семантических аналогов. Еще одно преимущество здесь состоит в минимальном риске столкнуться с многозначным глаголом, а следовательно — со спорностью толкования его именной рамки.

Глагол с двойным управлением, предусматривающий в качестве одного из сильноуправляемых компонентов локатив, — почти всегда глагол движения. Хотя эта группа лексики вычленяется достаточно легко, трудность состоит в том, что эти глаголы могут быть многозначными, причем наряду с собственно пространственным они могут иметь и непространственные значения — в этих случаях, как правило, они и не имеют двойного управления, например: *пошел на улицу*, но *пошел на повышение*, *пошла на станцию*, но *пошла на пируэты*, *пошли на площадь*, но *пошли на хитрость* не говоря уже о многозначности типа *плавал на спине*, но *плавал на математике*, *вылетел из Ашхабада*, но *вылетел из института*, *ходил в сапогах*, но *ходил в отличниках*. Как показал перебор материала, в трехчленных конструкциях такая многозначность почти исключена, локатив вычленяется достаточно надежно — это касается как предметной, так и пропозитивной лексики. Но локатив в конструкциях с глаголами движения соотносится с локализатором в пространстве; локализаторы во времени в аналогичной

функции встречаются при глаголах иной семантики; выяснилось, что глаголы, при которых в качестве сильноуправляемого компонента употребляется существительное со значением точки или отрезка времени, весьма немногочисленны, не отличаются многозначностью; пожалуй, можно считать, что их список исчерпывается следующими: *успеть*, *поспеть*, *опоздать* — даже у однокоренных синонимов *подоспеть* и *припоздниться* управление будет уже иным.

Четкость семантики выделяемого компонента позволяет поставить вопрос: существует ли группа лексики, исключительно выступающей в локативных значениях и не употребляющейся ни в каких других (исключая, разумеется, метафорические употребления, например *Ч а с похож на таракана. . .*, или даже *Г о д сгорел на керосине залетевшей в лампу мошкой. Вон, зарею серо-синей Встал он сонный, встал намокший* — Пастернак). Закономерно также поставить вопрос типа «имеет ли система языка какие-либо достаточно типизированные, постоянные способы, чтобы различать те или иные категории понятий или предметов» (ср. Степанов 1979, 346) и обратиться к поискам таких признаков для имен, объединенных преимущественным правом замещать те или иные синтаксические позиции.

Основные типы значений слов, имеющих семантику локализации действия в пространстве, представляются сводимыми к нижеприведенным.

Л е к с и ч е с к и е з н а ч е н и я. Общее понятие категории: *место*, *пространство*, *направление*. Более частные понятия, относящиеся к этой категории: *территория*, *пункт*, *расстояние*. Понятия, характеризующие виды пунктов, территорий, пространства: *континент*, *материк*, *город*, *деревня*, *улица*, *дом*, *квартира*.

О значениях места, имеющих выражение в словообразовании (о словообразовательных признаках семантических подклассов имен см. Золотова 1979, 16) можно говорить применительно к образованиям на *-ня* (*читальня*, *красильня*, *парильня*) а также применительно к реликтовым случаям типа *жилище*, *игрище*, *пожарище*.

Д е й к т и ч е с к и е з н а ч е н и я. Здесь различается два случая — слова, для которых дейктическое значение является категориальным — *там*, *туда*, *здесь*, *сюда*, и слова с лексическим значением места, пространства, направления, употребленные в сочетании с указательными местоимениями: *это* (*то*, *такое*) *место*, *этот* (*тот*, *такой*) *город*. В реальном контексте возможно употребление этих слов с дейктическим значением при опущенном местоимении: *Горе началось с горы. Гора была за городом* (Цветаева); такое употребление равнозначно *Эта гора была за городом*.

К не собственно лексическим (алексическим) значениям можно отнести и значение собственных имен. Это прежде всего обшир-

ный набор топонимов, весьма разнообразных по форме — от специфических типа *Красногорск*, *Широкое* до таких, как *Минутка*, *Ерофей Павлович*, не имеющих выраженных признаков названия места, или таких, как *Холодная речка*, *Рабочий поселок*, не имеющих выраженных признаков собственных имен (кроме орфографии).

К собственным именам можно, думается, отнести и конкретные адреса — не только названия улиц, но и номера квартир; кстати, трудно установить, чем отличается, например, *квартира № 13* от топонима *проезд № 1234*.

По нашему мнению, к собственным именам в известном смысле примыкают и слова, обозначающие меры пространства, установленные теми или иными принятыми системами измерения — т. е. такие слова, значение которых связано со специально обусловленными правилами экстралингвистического порядка: *километр*, *сантиметр*, *гектар*, *локоть*, *аршин*, *миля*, *узел* и др.

Аналогичную классификацию типов значений можно провести и для слов, обозначающих понятия, связанные с локализацией действия во времени.

Лексические значения. Общее понятие категории: *время*, *срок*. Более частные понятия, относящиеся к этой категории: *эпоха*, *век*, *пора*, *год*, *сутки*, *сезон*.

Понятия, характеризующие виды отрезков времени: *весна*, *юность*, *утро*.

О словообразовательном значении времени можно говорить лишь в принципе.

Дейктические значения. Слова, для которых дейктическое значение является категориальным: *тогда*, *когда*, а также слова с лексическим значением понятий времени, употребленные с указательными местоимениями: *это* (*то*, *такое*) *время*, *это* (*то*, *такое*) *утро*; в контексте такое же значение может быть выражено и без употребления этих местоимений.

О собственных именах применительно к значению времени, думается, уместно говорить, имея в виду названия эпох типа *неолит*, *кватроченто* или конкретные даты, своеобразные «адреса во времени». Как и в случае с топонимами, здесь можно говорить о большом разнообразии в способах называния отрезков времени или периодов: это и специфические характеристики — *период первоначального накопления*, и собственно топонимы — названия мест обнаружения памятников той или иной эпохи, например *ориньяк*, или места знаменательных событий, например *Бородино*.

Выделить значение специально установленных мер времени также весьма несложно.

Уже по этому краткому перечню можно судить, что при четком различии значений времени и места в этих двух сферах может употребляться одна и та же лексика: примеры топонимов в значении пункта во времени приведены выше, но можно привести и

названия дат в значении пункта в пространстве. Это безусловно верно для собственных имен — например, названий населенных пунктов, улиц, культурно-просветительных учреждений (а по ним — остановочных пунктов транспорта) в честь знаменательных дат: *поселок «Первое мая»*, *улица 25 октября*, *улица 1905 года*, *клуб имени 40-летия Октября*; несмотря на наличие в названии идентифицирующего слова, в устной речи оно опускается столь часто, что топонимы сплошь и рядом оказываются состоящими из одного названия даты.

Однако примечательно не только взаимопроникание собственно локализационной и темпорально-локализационной лексики, но и употребление этой лексики в не-локативной позиции, и наоборот, употребление слов с иным значением — в позиции локатива.

Позиция локатива может замещаться словами с иным лексическим значением, при этом локативное значение возникает под влиянием контекста. Приведем примеры трехчленных конструкций с локативным значением — это конструкции следующих типов: *Отец отвез сына на дачу*, *Грузовик привез овощи в город*, *Студент принес книги в библиотеку*, *Автобус доставил туристов к морю*. Здесь в позиции локатива могут быть употреблены слова всех рангов: *туда*, *в тот город*, *на Оку*, *в Некрасовку* (т. е. в библиотеку имени Некрасова), *в квартиру № 5* или даже *в «Звездочку»* («Звездочка» может быть названием детского сада, поселка, библиотеки, клуба и т. д.). Но в этой позиции могут встретиться слова совсем иной семантики: *Отец отвел сына на гимнастику*, *Грузовик привез овощи на сортировку*, *Студент принес книги на выдачу*, *Автобус доставил туристов на экскурсию*. Здесь второй объект выражен словом с событийным значением и может быть истолкован как имеющий значение цели, но под влиянием семантики глагола-сказуемого это значение приближается к предметному — «место, где. . .» (проходят занятия гимнастикой, сортируются овощи, выдаются книги, проводится экскурсия). Аналогичный случай для конструкции с временным значением: *Мы поспели* (*опоздали*) *к пяти часам* (*к утру*, *к весне*, *к 12-му января*); кроме темпоральной лексики, здесь могут выступать любые слова с событийным значением: *Мы поспели* (*опоздали*) *к открытию*, *к прибытию*, *к отъезду* и др. Если же в этой позиции встречаются слова с предметным значением, что нередко в разговорной речи, то в таком употреблении они приобретают событийное значение, обозначая ситуацию: *Мы поспели к воде* (т. е. к тому времени, когда группа в бассейне приступила к занятиям в воде после разминки), *Опоздали на киножурнал* (т. е. на демонстрацию киножурнала) и даже *Поспели на Марью Петровну* (т. е. на лекцию, которую читает Марья Петровна).

Следует отметить, что слова с локализационной семантикой (собственно локализационные и темпорально-локализационные) могут встречаться в объектной функции и с иным значением, на-

пример: *В Опалихе я не виноват* (т. е. в том, что случилось в Опалихе), *За Красновидово благодари Наташу* (т. е. за то, что произошло или должно произойти в Красновидове), *Я очень надеюсь на Крым* (т. е. на лечение в Крыму), *Без Опалихи все было бы гораздо проще* (т. е. без того, что произошло в Опалихе) или *За пятницу благодари Наташу, Я очень надеюсь на сентябрь* и т. д.

И все же неверно было бы говорить о полной нейтрализации лексического значения в зависимости от синтаксической функции. В одном эта зависимость проявляется несомненно: сильноуправляемый косвенный объект при глаголах движения (в нашем случае — каузации движения) всегда означает предмет (место), а при глаголах перемещения во времени сильноуправляемый косвенный объект всегда обозначает событие (момент, начало отрезка времени).

Здесь привлекает внимание тот факт, что не все ранги слов по предложенной классификации проявляют одинаковые возможности по отношению к выражению значения, отличного от исходного. На «противоположных полюсах» оказываются две группы слов из того набора, который можно назвать, вслед за Н. Д. Арутюновой (Арутюнова 1979, 323), набором асемантических (алексических) элементов словаря — собственных имен и местоимений (т. е. слов с дейктическим значением). Выясняется, что собственные имена могут замещать любые позиции и выражать любые значения — как по своей исходной семантике, так и под влиянием контекста, а дейктические слова никогда не меняют своего значения под влиянием контекста: так, невозможно себе представить в какой-либо объектной функции (при прочих равных синтаксических условиях) *это место* вместо *это время*, *эта территория* вместо *этот срок* — даже в целях образного употребления или достижения комического эффекта.

Теперь, если вернуться к упомянутому вначале противопоставлению двух планов предложения, к одному из которых относятся лексические значения, а к другому — предикативность, то окажется, что при выборе лексики для выражения сильноуправляемых членов предложения (в данном случае — локализаторов) решающим окажется именно единство этих двух планов, заключающееся в том, каким образом в глаголе-сказуемом объединяются его лексические свойства и его синтаксические связи: именно лексическое значение и синтаксические связи глагола предопределяют значение слова, выступающего в описываемой позиции. При этом значение именного компонента зависит от свойств предиката тем в большей мере, чем ближе его собственное значение к значению имени собственного, т. е. в большей мере отражает условие, принятое специально для данного объекта, и тем в меньшей мере, чем его собственное значение ближе к дейктическому, т. е. выражает категорию обозначаемого понятия.

ЛИТЕРАТУРА

Альтман И. В. Семантические структуры трехчленных конструкций. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1976. М., Наука, 1978.

Арутюнова Н. Д. Вариация на тему предложения. — В кн.: Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., Наука, 1969.

Арутюнова Н. Д. Проблемы синтаксиса и семантики в работах Ч. Филлмора. — ВЯ, 1973, № 1.

Арутюнова Н. Д. Семантическое согласование слов и интерпретация предложения. — В кн.: Грамматическое описание славянских языков. М., Наука, 1974.

Арутюнова Н. Д. Семантическая структура и функции субъекта. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, № 4.

Грамматика современного русского литературного языка. М., Наука, 1970 (Грамматика-70).

Золотова Г. А. К вопросу об объекте синтаксических исследований. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, № 4.

Прокопович Н. Н., Дерибас Л. А., Прокопович Е. Н. Именное и глагольное управление в современном русском языке. М., Русский язык, 1975.

Степанов Ю. С. Иерархия имен и ранги субъектов. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, № 4.

Шведова Н. Ю. Категориальные свойства слова на службе его синтаксических связей. — In: Sesja naukowa międzynarodowej komisji budowy gramatycznej języków słowiańskich w Krakowie w dniach 3—5 grudnia. Polska akademia nauk — oddział w Krakowie. Prace komisji słowianoznawstwa, N 23. Wrocław.—Warszawa—Kraków—Gdańsk. 1971.

Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., Наука, 1976.

Fillmore Ch. The case for case. — In: Universals in linguistic theory. N. Y., 1968.

Fillmore Ch. Subjects, speakers and roles. — Working papers in linguistics, 4. Ohio state university, 1970.

Л. И. ВАСИЛЕВСКАЯ

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО. II

В нашей предыдущей работе [1] были рассмотрены две различные группы личных собственных имен:

1) имена лиц, чем-либо известных в обществе — выдающихся исторических деятелей, писателей, художников, литературных героев и т. п. Это имена собственные с индивидуально-событийными коннотациями;

2) личные собственные имена, не обладающие подобными коннотациями.

---

[1] См.: «Лингвистика и поэтика». М., Наука, 1979.

Было показано, что в предложении и в тексте эти две группы идентифицирующих имен функционируют различным образом. Имена собственные с индивидуально-событийными коннотациями чаще, чем имена без дополнительных коннотаций, употребляются нереферентно, т. е. отсылают не к некоторому лицу, а информируют о каких-то особенностях данного лица или событиях, с ним связанных. Такое употребление имен собственных с коннотациями возможно не только в позиции сказуемого [2], но и в других синтаксических позициях.

Настоящая работа также посвящена описанию особенностей семантики и синтаксического употребления коннотативно окрашенных личных собственных имен. В данном случае нас интересует характер сочетаемости собственного имени с определением, выраженным прилагательным [3]. Прилагательные являются семантически своеобразным классом слов: не имея своей особой предметной отнесенности, они легко приспосабливаются к существительным самой разнообразной семантики при сочетании с ними. В значении прилагательного как единицы текста всегда в той или иной степени отражено значение согласованного с ним имени существительного (Вольф 1978, с. 3—8). Представляется поэтому, что анализ сочетаний прилагательных с коннотативно окрашенными личными собственными именами поможет нам отчетливее увидеть своеобразие этого класса собственных имен.

С какими же прилагательными сочетаются личные собственные имена рассматриваемого типа?

Обратимся вначале к сочетаниям имен собственных с прилагательными, имеющими значение временно́й координации признака или свойства (совокупности признаков или свойств), индивидуализирующих лицо, названное данным именем собственным. Часто коннотативно окрашенные имена собственные встречаются с определениями, выраженными прилагательными *современный*, *сегодняшний*, *новый*, *нынешний*, *теперешний* и т. п. Такие прилагательные привносят в атрибутивную группу значение отнесенности к настоящему или будущему, к современной или грядущей эпохе свойств (положительных или отрицательных), которые были присущи тому или иному получившему известность деятелю прошлого или литературному герою из произведений, созданных в предшествующие эпохи.

Ср.: . . .мы все терпеливее ждем искусства большого, потрясающего, ждем *нового Пушкина*, *современного Руставели*, *сегодня-*

[2] Данная синтаксическая позиция, как это отмечено, в частности, Н. Д. Арутюновой, и предназначена преимущественно для раскрытия сигнификативных возможностей слова.

[3] Имена собственные, обозначая объекты строго индивидуализированные, с точки зрения парадигматических отношений в дополнительной актуализации не нуждаются. Однако в тексте, в реальном предложении такая актуализация — довольно частое явление. Анализ данной ситуации со ссылками на другие работы см.: Ермакова 1979, с. 156.

шнего Навои... (А. Дубровин); *Нынешние Раскольниковы* не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? (Ю. Трифонов); ...это мечта даже не столько о *новых Толстых, Достоевских и Франсах*, сколько о *Гомерах, Горациях* и *Овидиях*... Случай мрачный, удивительный. В меру сил нарисовал бы для меня *нового Гобсека*? Либо — *нового Плюшкина*? Показал бы — в чем заключается новизна и современность Гобсека или Манилова? (С. Залыгин).

С именами собственными лиц, получивших общественную известность, могут сочетаться и прилагательные, указывающие на тот или иной п е р и о д в д е я т е л ь н о с т и названного лица: Это был уже не тот *лицейский Пушкин*, который смотрел в рот своему старшему другу, ловя каждое его слово (Г. Волков); ...другие высоко ценят начало нового направления в живописи, ставшее уже бесспорно классическим, — французский импрессионизм *раннего Пикассо, молодого Модильяни*, — но отрицают все, что за этим следует (М. Шагинян) [4].

Прилагательные при именах собственных рассматриваемого типа могут выражать и более дифференцированные временные значения в рамках противопоставления прошлого настоящему. В этом случае признак, выраженный именем собственным, рассматривается в развитии. Особенно часто такие временные конкретизаторы в виде определений встречаются в контекстах, где речь идет о сценической интерпретации того или иного литературного образа.

Рассмотрим это на примере статьи С. Л. Апостолова «Сценический путь Н. Д. Мордвинова». Автор статьи часто обращается к определениям с временным значением, чтобы глубже показать процесс работы актера над каждой ролью, его постоянные поиски и находки, связанные с проникновением в существо литературного образа. Рассказывая о работе Театра имени Моссовета над пьесой Шекспира «Отелло», он прослеживает эволюцию постижения Мордвиновым образа главного героя трагедии. С. Л. Апостолов, в частности, отмечает: «Актер не мыслит себе повторения *прежнего Отелло*, он в надежде укрупнить образ, обогатить его. В Отелло его увлекают «пылкий ум и воображение». Размышляя о трактовке роли на новом этапе, Мордвинов неоднократно под-

[4] Значение отнесенности к некоторому периоду в жизни того или иного известного деятеля, которое проявляется у ряда прилагательных в сочетаниях с именами собственными, нужно отличать от значения — возрастная характеристика лица. Последнее в сочетании с прилагательными *молодой, юный, старый* и т. п. возможно как у коннотативно окрашенных имен собственных, так и у личных собственных имен без дополнительных коннотаций: *Юного Салтыкова* влекли произведения, богатые сатирой и юмором (Е. Покусаев); *Для молодого Гете*, как он сам признавал, было счастливым подарком судьбы знакомство с историком и философом Гердером, а затем дружба с Шиллером (Г. Волков); Около княжны суетится *старый Марк* (А. П. Чехов).

черкивает — и дневниковые записи это подтверждают, — что его главная тема — это тема долга, веры, доверия». Описывая постановку пьесы Лермонтова «Маскарад» в 1964 г., автор статьи сравнивает ее с более ранними постановками в театре и в кино. Он пишет: «От несколько оголенных романтических страстей, присущих *раннему Арбенину* (и в кино, и в театре) — гнева, пылкости, порыва до более сложных раздумий и чувствований — все это путь, когда актеру с годами стали подвластны более глубокие напластования роли — и мятежная жажда справедливости, и непреодолимая тяга к свету, и горькая ирония, и сарказм». С именем собственным *Арбенин* здесь в тексте связывается целый калейдоскоп эмоций и мыслей актера и признаков роли, которые кратко могут быть выражены двумя словосочетаниями: *ранний Арбенин — более поздний Арбенин*.

Таким образом, определения *ранний, поздний, сегодняшний, вчерашний, настоящий, прошлый, прежний, теперешний* и т. п., употребленные в единой атрибутивной группе с именем собственным, вносят значение временной координации признака или совокупности признаков, связанных с данным именем. Такие препозитивные определения временного характера — довольно обычное явление у имен собственных с дополнительными коннотациями.

Имена собственные известных исторических деятелей, писателей, художников, литературных героев могут сочетаться с прилагательными, имеющими в широком смысле значение п р о с т р а н с т в е н н о й к о о р д и н а ц и и признаков и явлений, связанных с данным именем собственным. Уже в нашей первой статье о собственном имени приводились примеры: *Галактион Табидзе — «грузинский Блок», Валерий Катулл — «латинский Пушкин»*. Здесь прилагательные *грузинский, латинский* по существу и являются своеобразными локализаторами тех индивидуально-событийных коннотаций, которые у носителей языка связаны с именами Пушкина и Блока. Автор подобного высказывания не просто приписывает некоторые признаки, индивидуализирующие одно лицо, лицу другому [5], но и ограничивает область приложимости данных признаков, введя соответствующий локализатор: Галактиона Табидзе (по мнению автора подобных строк) можно сравнить с Александром Блоком, только учитывая особенности Грузии и т. д.

Предложения, в которых при именах собственных употребляются определения пространственной координации, достаточно распространены [6]. Причем, это касается не только позиции ска-

[5] О специфике значения имени собственного в позиции сказуемого в предложениях именной модели см.: Василевская 1979, с. 142—146.

[6] В том случае, когда речь идет о сценической характеристике того или иного образа или деятельности актера, могут появляться определения *театральный, сценический, оперный, балетный* и др. рядом с именами собственными. Подобные определения также, по-видимому, целесообразно рассматривать

зуемого. Сочетания имен собственных с определениями, вносящими значение пространственной координации коннотируемого признака, возможны и в других синтаксических позициях.

Ср.: Он есть *русский Скаррон* и любил одни карикатуры (Н. М. Карамзин); У Шумского был тот плюс, что он был всегда искренен. Он мог бы поспорить с любым *французским Сганарелем*. . . Кто бы узнал знаменитого *русского Медичи* в конфузливой, робкой, высокой и худой фигуре, напоминавшей духовное лицо! (К. Станиславский). В первом предложении имя собственное с определением в позиции сказуемого, в двух других — в позиции дополнения.

Следующий класс прилагательных, с которыми достаточно часто встречаются коннотативно окрашенные личные собственные имена — это притяжательные прилагательные в сочетаниях типа: *пушкинская Татьяна*, *ибсеновская Нора*, *тургеневская Ася*, *шекспировский Петруччо*, *венециановский Захарка*, *серовский Шаляпин* и т. д. Такие определения сочетаются преимущественно с именами собственными, называющими героев произведений того или иного автора. Притяжательные прилагательные привносят в словосочетание значение субъектной координации признаков и явлений, отраженных в значении самого имени собственного. В подобных сочетаниях притяжательное прилагательное выражает чисто посессивные отношения, часто являясь обязательным компонентом словосочетания, без которого затруднено понимание всей фразы:

Каким образом вошла она в общество фигур ярких, незаурядных — Анны Аркадьевны Карениной, *ибсеновской Норы*, *тургеневской Аси*? (С. Залыгин); Терек — стремительная река. . . И все же, слушая его тревожно-усыпляющий шум, хотя и с некоторым усилием, но можно, наверно, представить охоту *толстовского Оленина*, услышать песни и ругань дяди Ерошки (В. Белов).

На основе такой посессивной модели возможно образование и более сложных значений у сочетаний притяжательных прилагательных с личными собственными именами. Это касается преимущественно тех случаев, когда в центре внимания оказывается сценическая жизнь того или иного литературного образа. При этом притяжательное прилагательное вводит не автора-создателя образа, а автора-интерпретатора, дающего новую жизнь тому или иному литературному персонажу. Например: *Мордвиновский Арбенин*

как своеобразные локализаторы коннотируемых признаков. Ср.: У вас запрыгают в глазах все виденные вами *театральные Оргоны*, *Клеандры*, *Клотильды*, *Сганарели*, которые похожи друг на друга, как капли воды. . . Если плох штамп русского богатыря в драме, то в опере он совершенно нестерпим. В частности, штамп роли *оперного Петра* — самый худший из всех богатырских штампов (К. Станиславский); И этот мастер des grands spectacles с размахом *театрального Микеланджело* брошен копаться в колесиках часового механизма (В. Мейерхольд).

не был барином, он был, скорее, аристократом духа (Ю. Завадский); *Остужевского Отелло* охлаждали прекрасные интонации, которых нельзя было не заметить, хорошо звучащий голос, на который актер просил обратить внимание, — это делало роль неизменно рассудочной и охлаждало ее (Н. Мордвинов)[7].

При именах собственных рассматриваемого типа могут употребляться также определения, обозначающие наиболее характерные признаки данного лица, широко известные, как бы его «постоянные» свойства: Прошли десятилетия с тех пор, как они жили, и все-таки он чувствовал свою кровную связь с ними, с сестрами, *с добрыми, скромными, благородными Вершининым и Тузенбахом* (В. Каверин); В отличие от заблуждающегося все еще *доверчивого Отелло*, зритель понимал, что именно чистоту любви Отелло Яго стремится растворить в яде безумия . . . В этой пьесе, названной А. В. Луначарским пьесой «свободомыслия, бунта, протеста», *неистового Ричарда* играл Мордвинов (С. Апостолов).

В качестве такого определения может быть использовано непосредственно прилагательное-эпитет автора оригинального произведения. Так, например, В. Катаев в приведенном ниже отрывке из романа «Алмазный мой венец» использует пушкинский образ («Для бедной Тани все были жребии равны»): «Напротив же, если по прямой линии пересечь Чистопрудный бульвар, где в июне густо цветущие липы разливали медовый, глубоко провинциальный аромат вечной весны, можно было попасть в тот самый Харитоньевский переулок, куда некогда из деревни привезли *бедную Таню Ларину* на московскую ярмарку невест».

---

[7] Говоря о субъектной координации значения имени собственного, мы имеем в виду только определения к именам собственным, выраженные притяжательными прилагательными. Усложнение субъектных отношений в атрибутивной группе может происходить и в ряде других случаев, например, когда определение выражено местоимением. Такие определения часто встречаются как при коннотативно окрашенных именах собственных, так и с именами собственными без дополнительных коннотаций. Ср.: *Мой Петр Семеныч* достает не особенно много, и нам нельзя позволить себе роскошь (А. П. Чехов); *Его Отелло* — чудо. Он идеален и в музыкальном, и в драматическом отношении. . . Мне предстояло через это новое препятствие подойти *к моему собственному Сотанвилю* и войти в него (К. Станиславский); Как *я* люблю *Вашу Алю*: у нее такие особенные манерочки. . . (М. Цветаева) и т. д. В зависимости от значения имени собственного подобные сочетания с местоимениями в тексте могут быть поняты тем или иным образом: или как сокращенные обозначения вместо полных с именами реляционной семантики типа *мой муж* (*сын*, *друг*, *приятель*. . .) и т. п. (таково значение у атрибутивного словосочетания в первом приведенном предложении), или как аналоги сочетаний с притяжательными прилагательными. В трех последующих отрывках сочетание имени собственного с местоимением заключает в себе отношение между литературным образом и его интерпретатором.

Приписывание коннотативно окрашенному имени собственному подобных устойчивых признаков может быть продиктовано, в частности, задачами организации высказывания. Подчеркивание таких признаков может происходить в том случае, если оно помогает полнее, глубже раскрыть существо описываемой ситуации. Так, например, И. Медведева в статье «Три драматурга», говоря о сложном переплетении комедийного и трагического начал в пьесе Грибоедова «Горе от ума» и перечисляя сами комические положения, в которые неоднократно попадает главный герой, в частности, пишет: «Чацкий неизменно попадает в смешное положение уже тем, что отвечает на нравоучительные сентенции Фамусова, а не отмалчивается. . . В комическое положение попадает *умный Чацкий* и в самой встрече с Молчалиным у входа в комнату Софии, дверь которой только что была захлопнута перед носом влюбленного Чацкого». Прилагательное *умный*, употребленное здесь в сочетании с собственным именем, позволяет контрастней представить это соединение высокого и смешного в поведении героя [8].

Коннотативно окрашенные личные собственные имена могут сочетаться с определениями, которые уточняют не значение самого имени собственного, касаются не его отличительных признаков, а как бы динамики их проявления в той или иной ситуации: «Но думается мне, что *бытовой Алпатов* будет принят не так, как Алпатов, решенный иначе, не буднично, не бытово . . . Я счастлив, что из глубоко *интимного Чайковского*, каким его видело, точнее слышало прошлое поколение, вырастает общечеловеческое, народное» (Н. Мордвинов). В обоих отрывках из «Дневников» Мордвинова речь идет о характере интерпретации некоторого образа (произведения, совокупности произведений, автора), названного данным именем собственным, с п о с о б е д е й с т в и я над ним[9].

[8] По-видимому, именно стремлением определенным образом представить семантические отношения внутри высказывания можно объяснить и многочисленные случаи употребления разнообразных по значению определений с именами собственными без дополнительных коннотаций:

Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то жениться, и *бедному Шептунову* одному приходилось дежурить (А. П. Чехов); *Эта хрупкая и на вид чрезвычайно слабая, хворая Юлия Михайловна* с тонкими ручками, пергаментно-белым лицом была, надо сказать, необыкновенно упряма (Ю. Трифонов); Видя, как маются его коллеги, *совестливый Энэн* приходил на экзамены чаще обычного (*И. Грекова*). Значение прилагательного может контрастировать со значением предикативного компонента в предложении (второй пример) или, наоборот, быть с ним семантически согласованным (последний приведенный пример). О смысловых связях определений со сказуемым см. также: Ермакова 1979, с. 156—157.

[9] Ср. со случаями, когда близкое к отмеченному значение способа (образа) действия выражается в предложении и обстоятельственным компонентом, например: Несчастливцева и Счастливцева обычно истолковывали *под углом зрения бытового театра*. Это неверно. Островский создал эти образы под влиянием классического испанского театра (В. Мейерхольд).

Значение способа действия может быть осложнено также значением полученного в ходе данного действия эффекта, р е з у л ь т а т а, т. е. прилагательное при имени собственном может заключать в себе качественную характеристику результата некоторого действия:

Смотрел я как-то не слишком удавшийся фильм «Живой труп» *с искренним, но вялым Протасовым*, с традиционными театральными, не зажигающими кровь цыганами . . . В нем было что-то сверхчеловеческое, ледяное, жестокое рядом с таким *человеческим и мягким, слабым, совестливым Федей* (В. Лакшин); Пока это не такой *смятенный и сложный Герман*, как у Осипова (Л. Корабельникова); И он обратил внимание, что в новых условиях *его беззаботный, порхающий Телятев* не вызывает восторга, а оценивается зрителем насмешливо и даже пренебрежительно (Ю. Дмитриев). Здесь определения характеризуют не особенности личности, названной именем собственным, а результат определенной работы актера по интерпретации того или иного образа.

Наконец, нужно сказать, что определения при именах собственных рассматриваемого типа могут быть выражены и о ц е н о ч н ы м и п р и л а г а т е л ь н ы м и. Такие прилагательные позволяют определенным образом квалифицировать некоторую личность, ее деятельность, ее особенности. Например: Москва была осчастливлена приездом короля трагиков — *знаменитого Томазо Сальвини*. . . Наконец, кто знает, быть может, без него и *великий Врубель* не смог бы пробиться вверх — к славе (К. Станиславский); *Мудрый Лейбниц* считал — виноваты страсти и интересы (В. Тендряков) [10].

С именами собственными рассматриваемого типа в единой атрибутивной синтагме может оказаться прилагательное, заключающее оценку не самой личности, названной именем, а результата деятельности другого лица по раскрытию, интерпретации того или иного образа. Так, например, статья И. Л. Андроникова, посвященная анализу творческого пути Н. Д. Мордвинова, называется «Лучший Арбенин». Превосходная степень прилагательного в этом названии, синтаксически связанного с именем собственным *Арбенин*, естественно содержит оценку деятельности, напряженной работы Мордвинова по воссозданию образа Арбенина в театре и в кино. Оценивается результат проделанной актером работы.

Особый характер семантики коннотативно окрашенного имени собственного, таким образом, делает возможным его сочетание в единой номинативной группе с определениями, имеющими значение временной, пространственной координации описываемого именем собственным явления, значение способа действия, некото-

[10] Ср. также примеры из Пушкина, которые приводит О. П. Ермакова (Ермакова 1979, с. 158).

рые специфические оценочные значения. Причем относительно отдельных групп определений, преимущественно таких, как пространственные, временные, субъектные, можно отметить, что значения, которые они привносят в предложение, часто являются необходимым компонентом семантики всего предложения и текста в целом. Рассмотрение сочетаний таких прилагательных с именами собственными позволяет, как представляется, уточнить правило, сформулированное О. П. Ермаковой в уже упоминавшейся работе о том, что сочетание личного собственного имени с любым прилагательным всегда представляет собой вторичную номинацию (Ермакова 1979, с. 161). Это правило действительно справедливо для большинства сочетаний прилагательных с именами собственными. Однако атрибутивные сочетания, подобные рассмотренным выше, в некоторых случаях могут использоваться в тексте как вторичные номинации, в других случаях — как первичные, на основе которых возможны другие синтаксические способы обозначения отношений пространственной и временной координации. В некоторых случаях такие атрибутивные сочетания могут быть в тексте лишь единственным обозначением данных отношений [11].

Существенно то, что употребленные в непосредственной синтаксической близости к имени собственному, в функции согласованного препозитивного определения к нему, прилагательные производят соответствующую координацию (в пространстве, во времени, по отношению к другим субъектам и т. д.) не предметов и действий, а определенных свойств, отношений и событий, т. е. характеризуют не денотативный аспект семантики имени собственного, а его сигнификативное содержание. Коннотативно значимые признаки имени собственного могут быть перенесены в другие временные и пространственные сферы, приписаны другим субъектам и т. д. В результате личное собственное имя выступает как категория слов, обладающая полной семантической структурой (термин, используемый Н. Д. Арутюновой), приспособленная к тому, чтобы называть, и к тому, чтобы обозначать. В синтаксическом употреблении у имен собственных данного типа могут появляться некоторые черты предикатных слов [12].

В заключение хочется всячески подчеркнуть ту мысль, что разностороннее исследование семантики собственного имени невозможно без пристального внимания к синтаксическим вопросам, без учета особенностей функционирования имени собственного в предложении и в тексте.

---

[11] О явлении повторной номинации в лексике и в синтаксисе см. в работах: Гак 1972; Гак 1979.

[12] О типологии идентифицирующих и предикатных слов см.: Арутюнова 1976, с. 326—356.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., Наука, 1976.

Василевская Л. И. Синтаксические возможности имени собственного. I. — Лингвистика и поэтика. М., Наука, 1979.

Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного. М., Наука, 1978.

Гак В. Г. Повторная номинация и ее стилистическое использование. — Вопросы французской филологии. М., 1972.

Гак В. Г. Повторная номинация на уровне предложения. — В кн.: Синтаксис текста. М., Наука, 1979.

Ермакова О. П. Контекстно обусловленная сочетаемость идентифицирующих существительных с прилагательными. — В кн.: Синтаксис текста. М., Наука, 1979.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЛОВА

М. Я. ГЛОВИНСКАЯ

ОБЩЕФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА
(формы прошедшего времени)

Большинство исследователей признает обобщенно-фактическое, или общефактическое, значение важным, но частным значением несовершенного вида [1].

Обычно общефактическое значение усматривается у четырех форм несовершенного вида: прошедшего времени (*Ты звонил мне вчера?*), инфинитива (*На какой остановке мне выходить?*), будущего времени (*Вы будете сдавать экзамен завтра?*) и императива (*Уходите*). Однако есть некоторые основания думать, что в этих формах представлено не совсем одно и то же видовое значение. В частности, в формах будущего времени, инфинитива и императива противопоставление актуально-длительного и общефактического несовершенного выражено значительно менее отчетливо, чем в формах прошедшего времени. Поэтому ограничимся анализом наиболее ярко выраженной формы общефактического — формы прошедшего времени.

Мы рассмотрим, во-первых, значение общефактического и, во-вторых, условия его употребления.

ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ ОБЩЕФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Анализ материала показывает, что общефактическое может иметь три разновидности: общефактическое результативное, общефактическое двунаправленное, общефактическое нерезультативное.

1. Общефактическое результативное представлено, например, в следующих фразах: *Кто не читал «Войну и мир»!*; *Зимний дворец строил Растрелли*; *Мое пальто шил знаменитый парижский портной*. Этот тип общефактического обозначает закончившееся действие, которое имело результат в прошлом, причем момент (время) существования результата

[1] Исключение представляет Дж. Форсайт (Forsyth 1970), который считает общефактическое значение «единственно существенным и единственно ингрентным значением имперфектива, из которого выводятся» все его остальные значения, в том числе продолженное и повторяющееся. Ср. возражение Ю. С. Маслова (Маслов 1975, с. 33).

является неопределенным: результат существовал в некий момент, неважно или неизвестно, какой именно. Последнее подтверждается некоторыми фактами сочетаемости. Так, обстоятельства со значением неопределенного времени ('в некий момент, неважно или неизвестно, какой именно') легко сочетаются с формами несовершенного общефактического: *Я когда-то читал «Войну и мир»*; *Вы когда-нибудь (когда-либо) опаздывали в театр?* Напротив, обстоятельства со значением точечности, т. е. обозначающие определенный момент, не сочетаются с формами общефактического. Так, фразы типа *В три часа (в тот момент, когда я вошел в комнату) он читал записку* могут быть осмыслены только в актуально-длительном, но не в общефактическом значении.

В литературе общефактическим значением несовершенного вида обычно называется именно этот первый (по нашей классификации) тип общефактического, его значение приравнивается к аористическому, которое содержит «простое указание на факт в прошлом» (Виноградов 1947, с. 563), «без обозначения связи этого факта прошлого с настоящим» (Поспелов 1948, с. 116), «безотносительно к его единичности или повторяемости, локализованности во времени или нелокализованности (этот признак оказывается несущественным или по крайней мере не подчеркивается), длительности или кратности» (Бондарко 1971, с. 84).

2. Общефактическое двунаправленное представлено, например, во фразах: *Я открывал окно; Ко мне заходил товарищ; Кто выбегал из дома?* На это значение обращал внимание еще Э. Кошмидер (Кошмидер 1934, с. 152), наиболее подробно оно описано О. П. Рассудовой (Рассудова 1948, с. 26—29) и Дж. Форсайтом (Forsyth, 1970, p. 3—6, 78—82).

Сходство второго типа с первым состоит в том, что в этом случае тоже обозначается действие, закончившееся в прошлом и имевшее результат в неопределенный момент. Однако в отличие от первого типа, в данном случае еще выражается и то, что результат этого действия был аннулирован противоположно направленным действием. *Я открывал окно* значит, что окно было открыто мной, а теперь оно закрыто.

[1] Значение двунаправленности действия описывалось и как специальное значение несовершенного вида, отдельное от обычного общефактического (Дж. Форсайт), и как непосредственно входящее в лексическое значение глагола (О. П. Рассудова). Однако выделение двунаправленного в отдельное значение, никак не связанное с общефактическим, по-видимому, не оправдано [2], так как оба эти значения имеют общую конституирующую часть: 'действие имело результат в некий неопределенный момент в прошлом' (см. также таблицу). Что касается второй точки зре-

[2] Ранее (Гловинская 1977б, с. 41—42) мы принимали эту точку зрения.

ния, то она представляется нам неправильной (подробнее об этом см. Гловинская 1977б, с. 41).

3. Общефактическое нерезультативное. Обычно в литературе описывались два первых упомянутых значения, однако нам кажется необходимым выделить еще одно значение общефактического. Речь идет о видовом значении глаголов в таких фразах, как *Вы искали коменданта?*; *Юноша много раз умолял родителей не заставлять его учиться.*

Чтобы убедиться в том, что глаголы *искать*, *умолять*, в приведенных фразах имеют особое видовое значение, мы должны показать, что это значение отличается, с одной стороны, от результативной разновидности общефактического, а с другой, — не является актуально-длительным несовершенным.

Еще в 1948 г. Ю. С. Маслов (Маслов 1948, с. 313) справедливо отмечал, что глагол *искать* ни при каких обстоятельствах не может иметь значение 'найти'. Так, *Я искал белые грибы в этом лесу* не значит, что мне удавалось их найти. В отличие от глагола *искать* глагол *ловить*, схожий с ним в других отношениях, легко выражает значение, близкое к 'поймать'. Например, *Я ловил крупных окуней на водохранилище* означает именно то, что мне удавалось их поймать. Глагол *умолять* также никогда не имеет значения 'умолить' в отличие, например, от *уговаривать* (ср. *Я умолял их не торопиться* и *Он легко уговаривал неопытных девушек наняться в экспедицию*. Таким образом, в рассматриваемых фразах глаголы *искать* и *умолять* не выражают значения достигнутого результата.

Но отличаются ли эти примеры от обычных случаев актуально-длительного прошедшего? На наш взгляд, отличаются. Чтобы показать, что выделенная нами разновидность общефактического противопоставлена по смыслу и актуально-длительному, рассмотрим фразу *Я увидел ущелье, где геологи искали алмазы.* Эта фраза омонимична: в одном из ее возможных осмыслений глагольная форма имеет актуально-длительное значение (искали в тот момент, когда я увидел ущелье), в другом — общефактическое (я увидел ущелье, в котором геологи когда-то искали алмазы). В первом случае имеется в виду ситуация, когда в момент наблюдения геологи ищут алмазы, а во втором случае — ситуация, когда в момент наблюдения геологи уже не ищут алмазы. Аналогичный пример с глаголом *жить* 1 рассматривается ниже.

Прежде чем сформулировать содержание общефактического нерезультативного, рассмотрим еще один тип примеров. Расширим приведенную выше фразу следующим образом: *Я увидел ущелье, в котором геологи с сентября по ноябрь искали алмазы.* Для этой фразы совершенно исключено первое — актуально-длительное осмысление: геологии искали алмазы не в момент наблюдения, а в другой точно указанный период времени, закончившийся до момента наблюдения. Вместе с тем, если сравнивать

Таблица

Дифференциальное толкование форм прошедшего времени

Грамматические формы	Смысловые признаки				
	I	II	III	IV	
	С каким моментом в прошлом — определенным или неопределенным — соотносится действие, процесс, состояние	Длилось ли действие, процесс, состояние в определенный — неопределенный момент в прошлом	Имело ли действие, процесс, состояние результат в определенный — неопределенный момент в прошлом	Сохранился ли результат до момента наблюдения или момента речи	Пример
Совершенное прошедшее	С определенным моментом в прошлом	Действие закончилось в определенный момент	Действие имело результат	Результат сохранился	*Я написал статью*
Актуально-длительное прошедшее	С определенным моментом в прошлом	Действие длилось в определенный момент, совпадающий с моментом наблюдения или речи	Действие не имело результата	Признак нерелевантен, так как результата не было	*Когда они вошли в комнату, я писал статью*
Общефактическое результативное	С неопределенным моментом в прошлом	Действие закончилось в неопределенный момент	Действие имело результат	Неизвестно, сохранился ли результат	*Кто писал статью о пшенице?*
Общефактическое двунаправленное	С неопределенным моментом в прошлом	Действие закончилось в неопределенный момент	Действие имело результат	Результат не сохранился, так как был аннулирован противоположно направленным действием	*Ко мне приходил товарищ*
Общефактическое нерезультативное	С неопределенным моментом в прошлом	Действие закончилось в неопределенный момент, до момента наблюдения или речи	Действие не имело результата	Признак нерелевантен, так как результата не было	*На стене висела картина*

значение этой фразы со вторым — общефактическим нерезультативным значением, то можно заметить, что в отличие от последнего действие здесь представлено не просто как факт в прошлом, а как длившийся во времени процесс. Должны ли мы считать, что это — еще одно, особое значение глагола? Обычно такое значение не отделяется от актуально-длительного и рассматривается вместе с ним в рамках так называемого процессного, или длительного, значения.

Однако различие между собственно процессным и актуально-длительным значением нам представляется гораздо более важным, чем различие между процессным и общефактическим нерезультативным. Оба последних значения включают указание на начало и прекращение действия (чего нет в актуально-длительном!). Кроме того, фраза *Я увидел ущелье, в котором геологи с сентября по ноябрь искали алмазы* воспринимается как расширение первой фразы именно в ее общефактическом, а не актуально-длительном значении. Таким образом, можно считать, что актуально-длительное и процессное значения противопоставлены друг другу. Поэтому кажется более естественным объединять процессное значение (если, конечно, оно не выделяется в особое значение глагольной формы) не с актуально-длительным, а с общефактическим нерезультативным. При этом контекст может подчеркивать либо общефактический, либо процессный компонент этого единого значения.

В свете сказанного общефактическое нерезультативное значение может быть сформулировано дизъюнктивно: это — действие, процесс или состояние, закончившиеся в неопределенный момент в прошлом и не приведшие к достижению результата, или то же самое действие (процесс, состояние), протекавшее в течение какого-то времени.

Очевидно, что указание на процессность следовало бы включить в название этого значения (например, назвать его процессно-фактическим). Однако поскольку в данной работе нас интересует преимущественно его общефактическая ипостась, в дальнейшем мы будем именовать его, по аналогии с другими общефактическими, общефактическим нерезультативным.

Противопоставление общефактического нерезультативного и актуально-длительного возможно не для каждого глагола. В частности, его не имеют моторно-некратные глаголы, которые подробнее обсуждаются ниже, например глагол *идти*. Хотя фраза *Я увидел шоссе, по которому он шел в магазин* тоже может быть отнесена к двум разным моментам в прошлом (он шел в тот момент, когда я смотрел на шоссе и он шел раньше, до этого момента), но и во втором случае действие представляется как протекающее в определенный, хотя и не названный момент времени в прошлом, и, следовательно, описывается не факт в прошлом, а разворачивающийся во времени процесс.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Сопоставляя общефактическое с другими формами прошедшего времени, мы видим, что общефактическое результативное близко по значению к совершенному виду, а общефактическое нерезультативное — к актуально-длительному. Чтобы различить все эти формы, необходимо яснее представить себе каждую из них. Лучшим способом описания было бы, конечно, полное толкование значения каждой формы, однако это потребовало бы большого исследования, невозможного в рамках настоящей работы. Поэтому мы *ограничимся дифференциальным толкованием пяти форм* прошедшего времени: трех рассмотренных выше форм общефактического и двух ближайших к ним других форм прошедшего времени — формы совершенного вида и актуально-длительного значения несовершенного вида. Как показал предшествующий анализ, для установления существенных сходств и различий между перечисленными выше пятью формами, важны следующие четыре смысловые признака: 1) с каким моментом в прошлом (определенным или неопределенным) соотносится действие; 2) длилось ли действие в выделенный момент в прошлом; 3) имело ли действие результат в выделенный момент в прошлом; 4) сохранился ли результат до момента речи.

Дифференциальные толкования интересующих нас пяти форм, построенные на основе названных смыслов, могут быть представлены в виде таблицы (стр. 111).

Как видно из этой таблицы, общефактическое нерезультативное в большей степени сходно с другими типами общефактического (два общих признака — первый и второй), чем с актуально-длительным прошедшим (только один общий признак — третий).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЩЕФАКТИЧЕСКОГО ПО СЕМАНТИЧЕСКИМ КЛАССАМ ГЛАГОЛОВ

Пожалуй, не существует таких глаголов, которые могли бы одновременно иметь все три значения общефактического. Можно отметить, что не существует также глаголов, имеющих одновременно двунаправленное и нерезультативное значения общефактического. Одни классы глаголов имеют результативное и двунаправленное значения, другие — результативное и нерезультативное, третьи — одно из этих трех значений.

1. Глаголы, имеющие результативное и двунаправленное значения одновременно — это глаголы, обозначающие изменение состояния, свойства, положения в пространстве. Отсутствие общефактического нерезультативного у них не случайно. Дело в том, что их несовершенный вид толкуется как 'начинать быть каким-то, где-то' и т. д., а совершенный — как 'начать быть каким-то,

где-то' и т. д. (Гловинская 1977а, с. 18—19). Совершенный вид этих глаголов обозначает начало некоего состояния (местонахождения и пр.) как результат процесса, а несовершенный вид обозначает процесс накопления этого результата, т. е. такое действие, в каждое мгновенье которого имеется промежуточный результат. Поэтому представить данное действие как нерезультативное невозможно. Например: 1) *Выстиранное белье сегодня уже высыхало* (двунаправленное общефактическое); *У тебя в кухне белье когда-нибудь высыхало?* (результативное); 2) *Сегодня ночью в бочке замерзала вода* (двунаправленное); *У вас в холодильнике вода когда-нибудь замерзала?* (результативное).

2. Глаголы, имеющие результативное и нерезультативное общефактическое значение одновременно, — это глаголы, несовершенный вид которых имеет значение 'действовать с целью добиться чего-л. или получить что-л.', а совершенный — 'добиться чего-л., получить что-л., в результате соответствующего действия', такие, как *вникать, втолковывать, добиваться, доказывать, ловить, объяснять, решать, убеждать, уговаривать, успокаивать, усыплять, утешать* и т. д. Например: *Он много раз доказывал свою правоту* (результативное); *Ты куда-нибудь обращался, кому-нибудь доказывал свою правоту?* (нерезультативное); *Я решал и не такие задачи* (результативное); *Каким способом ты решал задачу?* (результативное и нерезультативное).

3. Глаголы, имеющие только одно из значений общефактического, только результативное, — это группы таких глаголов, которые, пользуясь характеристикой Ю. С. Маслова, можно назвать «глаголами непосредственного, непрерывного эффекта», т. е. обозначающих такие действия, которые, даже будучи взяты в сколь угодно краткий момент своего протекания, не могут мыслиться как оставшиеся «неэффективными», безуспешными (Маслов 1948, с. 314). Это 1) глаголы восприятия: *мерещиться, ощущать, слышать, смотреть (что-то), чувствовать 2, чудиться* и т. п., например: *Я смотрел этот фильм; Я не слышал ни звука;* 2) контактно-двигательные глаголы: *гладить, касаться, трогать, щупать*, например: *Касалась ли когда-нибудь елка потолка в этом месте?, Я гладил бешеную собаку;* 3) многочисленные глаголы передачи информации: *благодарить, виниться, возвещать, возражать, воспевать, вопрошать, восславлять, врать, говорить* и т. п., например: *Зачем ты врал матери?; Я говорил ему о лекции;* 4) глаголы четвертой группы указывают на каузацию некоего состояния , существующего в тех же временных пределах, что и порождающий его фактор, например, *вдохновлять, веселить, влиять, внушать, возбуждать, восхищать, забавлять, заставлять, казаться, льстить, обусловливать* и т. п. Мы имеем в виду только то значение глаголов, которое реализуется во фразах, где в роли субъекта выступает неодушевленное существительное — название фактора или заменяющее его местоимение, ср.: *Красота жен-*

щин вдохновляла многих поэтов на создание замечательных произведений; Неужели тебя забавляла когда-нибудь глупость собеседника? и т. п.

Только двунаправленное общефактическое имеют моторно-кратные глаголы, притом лишь в одном своем значении, а именно, в значении перемещения, имеющего конечную точку или цель, и только в том случае, когда соответствующая валентность реализована, например, *Я ходил сегодня в магазин (купаться); Он плавал на Кубу.*

Те же глаголы в другом своем значении, а именно, в значении перемещения в разных направлениях, а также глаголы, обладающие только этим значением (*блуждать, бродить, кататься*), не могут иметь двунаправленного общефактического [3].

Только нерезультативное общефактическое имеют многие статальные глаголы, в частности: 1) глаголы со значением 'иметь свойство': *возвышаться, выделяться, выступать, доходить, заваливать, загромождать, закрывать, заполнять, заслонять, загораживать, застилать, покрывать* и т. п., ср. *Раньше крышка плотно закрывала банку; Еще недавно дом заслонял вид из окна;* 2) глаголы, обозначающие эмоциональные состояния (в том числе чувство, отношение, проявление чувства или отношения): *беспокоиться, возмущаться, волноваться, обижаться, любить, ненавидеть, жалеть, заботиться, наслаждаться, ссориться, чувствовать* и т. п., ср. *Беспокоился ли ты хоть раз в жизни о ком-нибудь?*; 3) глаголы, обозначающие физическое состояние: *бодрствовать, болеть, бредить, спать* и т. п., ср. *Я никогда не спал на сене*; 4) глаголы, обозначающие положение в пространстве: *висеть, лежать, сидеть* и т. п. Кроме того, следует указать 5) моторно-кратные глаголы, если при них не указана (в частности, не может быть указана) конечная точка или цель движения, а лишь обозначено пространство, в пределах которого совершается действие: *кататься, плавать, блуждать, бродить* и т. п., ср. *Ты когда-нибудь плавал на лодке?*; 6) наконец, можно назвать отдельные глаголы, не образующие особых семантических классов: *искать, подстрекать, пробовать, пытаться, уверять, умолять* и т. п.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБЩЕФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Существуют семантические ограничения, препятствующие возникновению у глагола общефактического значения. Не имеют общефактического значения моторно-некратные глаголы (*идти, плыть, ехать* и т. д.) и некоторое число статальных глаголов, а именно, глаголы, которые В. В. Виноградов

[3] О двух различных подзначениях моторно-кратных глаголов см. Апресян 1967, с. 170—171; Апресян 1980, с. 33—35.

называет мутативными (*мокнуть*, *сохнуть*, *зябнуть* и т. п.), и глаголы со значением 'быть воспринимаемым в определенном аспекте' (*виднеться*, *зеленеть*, *краснеть*).

Присмотримся внимательнее к тем глаголам, которые не могут иметь общефактического значения. В первую очередь, это бесприставочные моторно-некратные глаголы. В типичном для общефактического контексте моторно-некратные глаголы выглядят неестественно: ?*А он когда-нибудь вообще шел по этому шоссе?* (нормально было бы спросить: *А он когда-нибудь вообще ходил по этому шоссе?*).

Объясняется это тем, что бесприставочные моторно-некратные глаголы обозначают недискретное, непрерывное перемещение в пространстве, не ограниченное само по себе ни начальной, ни конечной точкой и поэтому немыслимое как отдельный факт в прошлом. Известно, что приставочные глаголы направленного перемещения, не отличающиеся от рассмотренной группы глаголов ничем, кроме содержащегося непосредственно в их значении явного указания на начальную или конечную точку движения, легко выражают общефактическое значение, ср.: *Он к вам подходил?*; *Я никуда не отходил.*

Что касается статальных глаголов, то те из них, которые обозначают состояние, имеющее естественную или установленную границу, т. е. выражающие в какой-то форме идею дискретности (начала, конца, фазы), легко приобретают общефактическое значение. Таковы, например, глаголы *болеть* (болезнь имеет начало и конец), *дежурить* (от такого-то до такого-то времени), ср.: *Я болел скарлатиной; В этом месяце я уже дежурил.* Интересно сравнить с этой точки зрения *жить 1* ('проживать') и *жить 2* ('существовать'). *Жить 1* имеет и актуально-длительное, и нерезультативное общефактическое значение, которые четко противопоставлены в неоднозначной фразе *Он миновал дом, но потом вдруг остановился: ведь в этом доме жил Танеев* ('жил в тот момент когда он остановился' — "жил когда-то до этого момента'). Для *жить 2* такое смысловое противопоставление актуально-длительного и общефактического нерезультативного невозможно: все фразы с *жить 2* в интересующем нас смысле однозначны и понимаются скорее всего в процессно-фактическом (нерезультативном) значении. Ср.: *В это время жил Моцарт* и *Моцарт жил в XVIII веке.*

Это различие между *жить 1* и *жить 2* должно вызываться соответствующим различием в их значениях. *Жить 1* мыслится как пребывание в определенном месте, обычно с какого-то момента по какой-то (ср. его ближайший синоним *проживать*, выражающий эту идею более отчетливо). *Жить 2* не включает в свое толкование ни указания на начало состояния, ни указания на конец его (хотя реально жизнь всякого существа, разумеется, ограничена какими-то пределами). В этом отношении между *жить 2* и таким глаголом, как, например, *идти*, можно усмотреть полную

аналогию: в толковании *идти* никогда не включается указание на начало и конец действия, хотя фактически любая ходьба в какой-то момент начинается и в какой-то — кончается.

Анализ этих и рассмотренных выше примеров показывает, таким образом, что семантической основой общефактического значения является идея дискретности действия (т. е. действия с указанным началом или концом) либо, в частном случае, кратности действия (так как кратным может быть только дискретное действие).

Очевидно, что эти идеи могут быть выражены, во-первых, в значении самого глагола, далее, в его актантах, обстоятельствах и вообще в контексте, и, наконец, в самой ситуации. Реализация любой из этих трех возможностей является благоприятным фактором для выражения общефактического значения.

Наоборот, идеи длительности, непрерывности, некратности, определенности действия, выраженные либо в значении самого глагола, либо в значении его актантов, обстоятельств, в более широком контексте, и, наконец, в самой ситуации, препятствуют тому, чтобы глагол мог приобрести общефактическое значение.

Условия, как благоприятствующие, так и препятствующие реализации общефактического значения, могут быть двух типов: языковые и неязыковые. Из-за недостатка места мы остановимся и в том, и в другом случае только на первых.

УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

I. Выражение дискретности, кратности в значении самого глагола. В русском языке имеются группы глаголов, основа которых выражает идею дискретности или, в частном случае, кратности. Начнем с тех глаголов, которые имеют более частное значение кратности. Назовем три основные группы глаголов, включающих этот смысл.

1. Многократные глаголы *говаривать*, *сиживать*, *хаживать*, и т. д. Показательно, что эти глаголы не имеют ни актуально-длительного значения, ни формы настоящего времени[4]. В. В. Виноградов, вслед за грамматистами прошлого, считает форму прошедшего времени многократных глаголов «давнопрошедшим временем» (Виноградов 1947, с. 545—549). Однако, по нашему мнению, те немногие многократные глаголы, которые сохранились в современном языке, выражают не давнопрошедшее время, а общефактическое значение: *говаривать* — результативное, *хаживать* — двунаправленное, *сиживать* — нерезультативное и т. д. Например,

[4] Правда, Н. С. Авилова в своей книге приводит случаи употребления многократных глаголов не только в прошедшем времени. За исключением одного примера, они все относятся к глаголу *бывать*, который представляет собой особый случай (Авилова 1976, с. 294).

Сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал, — сказал Кот. (М. Булгаков). Здесь *сиживал* значит лишь 'много раз сидел в прошлом', но не 'сидел до того, как произошло какое-то другое действие в прошлом'. Это же подтверждается возможной синонимичностью многократного и простого глаголов: *Меда у него столько, сколько вы не видывали (не видели) за всю свою жизнь* [5].

2. Моторно-кратные глаголы. Как упоминалось выше, общефактическое значение имеют те моторно-кратные глаголы, значение которых включает указание на конечную точку или цель перемещения (*бегать, летать, плавать, ходить* и т. д.). Например: *Я ходила в магазин и ездила на рынок.* Когда достигнута конечная точка или цель движения, действие воспринимается как законченное и тем самым дискретное.

3. Группа глаголов, обозначающих «цепь отдельных актов» действия (В. В. Виноградов): *вилять, дрожать, колебаться, махать, плевать, прыгать, трястись, целовать(ся)* и др. Эти глаголы бывают двух типов.

Одни из них могут представлять действие и как цепь отдельных актов, и как единичный акт, например, *прыгать, плавать, целовать(ся)*. Фраза *Он целовал ее* может быть понята в обоих этих смыслах. Такие глаголы имеют результативное общефактическое значение. Например, *Ты целовал ее?* Другие глаголы представляют действие только в форме последовательности отдельных актов и не могут обозначать единичного акта: таковы, например, *вилять, дрожать, колебаться*. Такие глаголы не имеют результативного общефактического значения. Совершенно очевидно, что глаголы первого типа представляют действие как более расчлененное, дискретное, чем глаголы второго типа, благодаря чему и имеют результативное значение. Глаголы же второго типа обозначают просто некий тип движения (различного типа колебания), в чем можно усмотреть аналогию с *идти, шагать, бежать* и пр., вообще не имеющими общефактического значения.

Значение дискретности, более общее, чем значение кратности, выражают глаголы следующих групп:

4. Глаголы со значением начинательности и финитности: *начинать(ся), появляться, прекращать(ся), прерывать(ся), переставать, приостанавливать(ся)* и др. Эти глаголы легко приобретают результативное общефактическое значение. Например, *Он переставал курить, а потом опять начинал.*

5. Глаголы вторичной имперфективации: *выплевывать, затушевывать, окольцовывать, отшвартовывать, перечитывать, проглатывать, разгримировывать, связывать, соскребывать* и пр. Значение дискретности (т. е. начала или конца действия) у этих

[5] Значение многократности, по нашему мнению, не противоречит общефактическому значению: многократный глагол обозначает действие как много отдельных фактов в прошлом.

глаголов создается приставкой; они также легко выражают результативное общефактическое значение.

6. Глаголы со значением перемещения или изменения, допускающие представление о противоположно направленном действии или процессе, с чем и связана идея дискретности. Для таких глаголов характерно двунаправленное значение общефактического, ср. *открывать*, *останавливаться* (в гостинице), *приходить* и т. д.[6]

II. Выражение значения дискретности, кратности, неопределенности актантами глагола. Исходя из изложенного выше представления о семантической основе общефактического, можно ожидать, что реализации глагола в общефактическом значении будет способствовать присутствие слов со значением кратности в актантных группах. Некоторые факты, относящиеся к группе имени в функции прямого дополнения, подтверждают это. Так, присутствие в объектной группе слов типа *весь*, *все*, *всякий* (в значении 'любой'), *любой*, *каждый*, *никакой*, *ни один*, *многие*, *некоторые*, а также числительных и родительного падежа в контексте отрицания, действительно, способствуют осмыслению глагола в общефактическом значении.

Ср., например, фразы *Он читал Шекспира* и *Он читал всего Шекспира*[7]. Первая фраза может быть осмыслена и в актуально-длительном значении (в тот, данный момент он читал Шекспира), и в общефактическом (он вообще, в принципе читал Шекспира). Вторая фраза осмысляется только в общефактическом значении. Таково же соотношение между фразами *Он слушал Баха* и *Он слушал все пьесы Баха; Он сажал деревья в саду* и *Он сажал многие (некоторые) деревья в саду; Суд разбирал жалобу* и *Суд разбирал каждую жалобу; Он смотрел фильм* и *Он не смотрел ни одного фильма*.

Присутствие подобных слов в группе имени способствует осмыслению глагола в общефактическом значении, так как, с одной стороны, такие слова семантически хорошо согласуются с этим значением, выражая идею кратности, расчлененности, а с другой стороны, препятствуют осмыслению глагола в актуально-длительном значении, вступая с ним в семантическое противоречие. Последнее обстоятельство связано с тем, что глагол несовершенного вида в актуально-длительном значении не допускает при себе объекта, специфицированного «посредством измерения, пересчета, расчленения». На этот факт впервые обратила внимание А. Вежбицка (Wierzbicka 1967, p. 2241—2242). Она приводит различные примеры, подтверждающие это: невозможность фраз типа **В этот момент он ел немного каши; *Он ел тогда миску*

[6] Большой список глаголов, обозначающих двунаправленное действие, содержится в книге Форсайта (J. Forsyth 1970). См. также указание на группы глаголов, имеющих это значение, в Рассудова 1968, с. 27—28.

[7] При анализе этих и следующих фраз мы полностью отвлекаемся от того обстоятельства, что некоторые из них могут иметь узуальное значение.

*кашу; *Он пил в этот момент стакан воды*, а также несочетаемость genetivus partitivus с глаголами несовершенного вида в актуально-длительном значении, ср. **Я покупал хлеба.*

III. Выражение значения дискретности, кратности, неопределенности сирконстантами глагола. Некоторые группы обстоятельств, согласуясь с теми или иными компонентами значения общефактического, тем самым разрешают омонимию общефактического и актуально-длительного в пользу первого. Приведем в качестве примера обстоятельства меры и степени.

Обстоятельства меры и степени типа *(не)полностью, (не)целиком, по пояс, по щиколотку, с версту, с половину* и т. д., обозначая степень охвата объекта или субъекта действием, согласуются со следующим компонентом общефактического значения: 'в неопределенный момент в прошлом действие закончилось' (см. таблицу). Фразы с этими обстоятельствами означают, что действие закончилось тогда, когда объект или субъект был охвачен действием в объеме, указанном обстоятельством. Например, *Я не полностью читал «Войну и мир»; Охотник по пояс проваливался в воду, но упрямо шел вперед.* В этих фразах глагол имеет общефактическое значение.

Хорошо согласуясь с общефактическим значением глагола, подобные обстоятельства одновременно вступают в семантическое противоречие с актуально-длительным значением глагола из-за содержащегося в нем компонента 'действие длилось в определенный момент в прошлом'. Поэтому невозможны фразы типа **Я сидел за столом и полностью читал «Войну и мир»; *В этот момент охотник проваливался в воду по пояс.*

Таким образом, присутствие обстоятельств меры и степени в предложении разрешает видовую омонимию глагола в пользу общефактического значения.

IV. Типы предложений. Можно назвать два типа, которые способствуют осмыслению глагола в общефактическом значении.

1. *Вопросительные предложения.* В предложениях со значением вопроса глагол осмысляется в первую очередь в общефактическом значении при условии, что в предложении не содержится специальных актуализаторов действия. Это относится к предложениям и с общим, и со специальным вопросом [8]. Особенно показательными примерами служат такие предложения, в утвердительной форме которых глагол осмысляется в первую очередь в актуально-длительном, а в вопросительной — в общефактиче-

[8] Еще А. Мазон обращал внимание на роль общефактического несовершенного (le preterit imperfectif) в вопросе-ответе. Он считает, что предложения с этой формой обозначают общий вопрос, в отличие от предложений с прошедшим совершенным, обозначающим только узко частный вопрос (Mazon 1914, p. 220—221).

ском значении. Ср. *Дождь прекращался* и *Дождь прекращался?; Врач принимал больных,* и *Врач принимал больных?* и т. д.

То же самое наблюдается в предложениях со специальным вопросом: *До какого уровня повышалась температура воздуха?; Когда врач принимал больных?* и т. д. Однако это утверждение относится не ко всем глаголам, в частности, оно неверно для многих глаголов из числа тех, несовершенный вид которых имеет значение 'действовать с целью добиться чего-либо или получить что-либо', а совершенный — 'добиться чего-либо, получить что-либо в результате соответствующего действия' (см. примеры таких глаголов на стр. 114). В вопросительных предложениях *Митя решал задачу?; Он ловил уклейку?* глагол с равным успехом осмысляется и в актуально-длительном значении, и в нерезультативном общефактическом.

2. *Отрицательные предложения.* В контексте отрицательных предложений разные глаголы осмысляются по-разному. Для большинства глаголов в отрицательных предложениях характерно осмысление их в первую очередь в общефактическом значении. Например: *Я не обедал; Митя не решал задачи; Я не просил ее приходить.* Тем не менее, для некоторых глаголов ситуация скорее обратная — в отрицательных предложениях они понимаются предпочтительнее в актуально-длительном, а не общефактическом значении. Например: *Ливень не переставал; Буран не кончался; Драка не прекращалась; Работа не прерывалась.*

Дело в том, что все эти глаголы имеют значение 'кончать действие (совсем или на время)', а соответствующий глагол с отрицанием значит 'не кончать действие', т. е. 'продолжать его', и тем самым легко осмысляется именно в актуально-длительном значении.

Фазовые глаголы со значением начала действия в отрицательных конструкциях легко осмысляются в обоих видовых значениях. Например: *Дождь не начинался; Потребность в чтении у этого ребенка не возникала; Солнце не появлялось.*

Эти глаголы выражают оба значения: легко представить себе, что какое-то действие вообще не начиналось (общефактическое значение) или все еще не начиналось (актуально-длительное значение).

V. Фактор актуального членения. Иногда омонимия общефактического и актуально-длительного значения разрешается средствами коммуникативной организации предложения. Роль этого фактора в общем виде проявляется в том, что один и тот же глагол в позициях темы и ремы чаще всего осмысляется по-разному. Если глагол находится в теме, то он скорее осмысляется в актуально-длительном значении, а если в реме — то в общефактическом. Это прослеживается не для всех глаголов и не для любых средств, сигнализирующих актуальное членение фразы. Рассмотрим один, наиболее бесспорный случай. Как из-

вестно, рема во фразе может выделяться фразовым ударением. Если фразовое ударение (обычное логическое, не эмфатическое) падает на глагол, и тем самым глагол оказывается в рематической позиции, то он осмысляется, как правило, в общефактическом значении. Например: *Он говорил о вас с профессором; Вы мне писали, не отпирайтесь* (А. С. Пушкин). Если же фразовое ударение падает не на глагол и если тем самым глагол оказывается в теме, то омонимия глагола не снимается, и он может быть осмыслен и в актуально-длительном, и в общефактическом значениях[9].

УСЛОВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

I. Выражение длительности, недискретности, некратности действия в значении самого глагола.

1. Выше уже назывался один класс глаголов, никогда не имеющих общефактического значения. Это — бесприставочные моторно-некратные глаголы, обозначающие недискретное, непрерывное перемещение в пространстве, не ограниченное само по себе ни начальной, ни конечной точкой и поэтому немыслимое как отдельный факт в прошлом: *ехать, идти, катиться, ползти* и т. д. (с. 115).

2. Глаголы со значением длительности не могут иметь общефактического результативного значения, например, *держаться (о запахе), длиться, продолжаться, сохранять (запах), сохраняться (запах)* и т. д.

3. Статальные глаголы, значение которых не указывает на то, что данное состояние ограничено какими-то временными или иными рамками, не могут иметь общефактического результативного значения, например, *весить, дождить, жить 2, ждать, зависеть, стоить* и т. д. Так, в следующих примерах глаголы имеют только длительное значение: *Огурец весил 200 граммов; Килограмм моркови стоил на рынке 80 копеек: Слегка морозило.* Все перечисленные глаголы обозначают состояние, которое мыслится как равномерное, не цикличное, не имеющее специфического начала, продолжения и конца, хотя, разумеется, в действительности все эти состояния имеют и начало, и конец.

В то же время такие статальные глаголы, как *болеть, отдыхать, пугаться, спать, цвести* легко выражают общефактическое резуль-

[9] Сказанное верно только для нейтрального контекста: т. е. для утвердительных предложений с обычной интонацией, вне сочинительных и противительных конструкций. Для предложений с противительным или другим подобным контекстом сказанное совершенно теряет силу. Например, во фразе *Учитель проверял тетради, а не просто перелистывал их*, глагол имеет и актуально-длительное значение, хотя ударение (выделительное) падает именно на него.

тативное значение. Так, во фразах *Я болел скарлатиной; Этой весной сирень цвела рано; Ребенок после обеда не спал* глаголы имеют длительное и общефактическое значение. Это связано с тем, что эти глаголы обозначают такое состояние, которое является либо каким-то природным, повторяющимся циклом (*спать, отдыхать, цвести*) либо обладает специфически выраженным началом и концом (*болеть чем-либо*), либо мыслимо как квант (*пугаться*), т. е., иными словами, эти глаголы выражают идею дискретности.

4. Глаголы, обозначающие постепенный переход в какое-либо состояние, также не все неспособны к выражению общефактического результативного значения. Не могут иметь его бесприставочные глаголы, обозначающие постепенное накопление какого-то признака (при условии, что в предложении дополнительными средствами не выражена идея кратности). Эти глаголы имеют значение 'начинать быть более каким-то . . .', т. е. не содержат указания на конечную границу в изменении состояния: *дряхлеть* 'становиться более дряхлым', *расти, слабеть, сохнуть, стареть* 'становиться более старым', *шириться* и т. д. Ср., например: *Белье сохло на солнце; Он рос в деревне; Он слабел от болезни; Ряды спортсменов ширились.*

Приставочные же глаголы со сходной семантикой легко выражают общефактическое значение, поскольку приставка привносит в их значение указание на предел в изменении состояния. Ср. образования от тех же корней: *вырастать, высыхать, одряхлевать, ослабевать, расширяться, устаревать* и т. д.

Некоторые замечания о затрудненном выражении общефактического значения у ряда глаголов содержатся в Рассудова 1968, с. 26.

II. Выражение некратности, определенности в актантах глагола. Некоторые глаголы, будучи отнесены к единичному или определенному субъекту, обозначают действие или состояние, которое не может повторяться: *задыхаться, тонуть, умирать.* В этом случае они не могут выражать общефактического значения. Например: *Корабль тонул из-за пожара в машинном отделении; Отряд задыхался в дыму; Больной умирал.*

Если же эти глаголы относятся к кратному либо неопределенному субъекту, они могут выражать общефактическое значение. Например: *Все, кто умирал на войне, проклинали ее; Водолазы могли разыскать любой корабль, который тонул у этих берегов* (и длительное, и общефактическое значение).

III. Выражение длительности, некратности в сирконстантах глагола. При наличии во фразе обстоятельств длительности *долго, недолго, длительно, продолжительно, всегда, всю жизнь (весь урок* и т. д.), *целый день* и т. д. глагол не может выражать общефактического результатив-

ного значения: *Я целый день читал вашу статью; Всю жизнь Галя помогала другим людям.*

Обстоятельства одновременности также всегда решают видовую омонимию в пользу актуально-длительного (т. е. действия, которое происходит одновременно с другим) либо узуального. Это обстоятельства типа *в этот момент, в пять часов, в то время как, тут как-то* и т. д. Например: *В этот момент я писал письмо и не заметил, кто вошел.*

Обстоятельства неожиданности типа *сразу, внезапно, неожиданно* и т. д. мешают выражению общефактического, так как характеризуют протекание действия. Обычно во фразах с этими обстоятельствами глагол имеет узуальное значение: *Он внезапно бросался на пол и истошно кричал; Мальчишки неожиданно перескакивали через забор и трясли яблони.*

То же самое можно сказать об обстоятельствах образа действия: *плохо, хорошо* и т. д. Поскольку они характеризуют то, как протекает действие или обозначают свойство, умение, они мешают выражению общефактического значения: *Мальчик писал старательно и аккуратно; Его жена хорошо шила вечерние платья.* Глагол в этих фразах имеет либо длительное, либо потенциальное значение.

Все названные факторы, за исключением самого значения глагола, в известной мере условны: либо глагол имеет общефактическое значение, и тогда оно может быть реализовано при отсутствии препятствующих условий (или при наличии способствующих), либо его нет вовсе, и тогда оно не может быть реализовано даже при наличии благоприятствующего контекста.

Тем не менее, рассмотрение условий реализации общефактического важно, так как раскрывает существенные семантические и грамматические аспекты самого общефактического значения.

ЛИТЕРАТУРА

Авилова Н. С. Вид глагола и лексическая семантика глагольного слова. М., Наука, 1976.

Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., Наука, 1967.

Апресян Ю. Д. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл⇔Текст». Wiener Slawistischer Almanach, 1980.

Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. М., Наука, 1971.

Виноградов В. В. Русский язык. М., Учпедгиз, 1947.

Гловинская М. Я. К вопросу о значении видового противопоставления в русском языке. — В кн.: Лингвометодические вопросы преподавания русского языка на подготовительном факультете. М., Изд-во УДН им. Лумумбы, 1977.

Гловинская М. Я. О некоторых трудностях в изучении семантики видов. — Болгарская русистика, 1977, № 3.

Кошмидер Э. Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза. — В кн.: Вопросы глагольного вида. М., ИЛ, 1962.

Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в русском языке. Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. VII, вып. 4. М., 1948.
Маслов Ю. С. Русский глагольный вид в зарубежном языкознании последних лет. — В кн.: Вопросы русской аспектологии. Изв. Воронежского пединститута, 1975, т. 146.
Поспелов Н. С. О значении форм прошедшего времени на *-л* в современном русском литературном языке. — Учен. зап. МГУ. Труды кафедры русского языка, вып. 128, кн. 1. М., 1948.
Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., Изд-во МГУ, 1968.
Forsyth J. A Grammar of aspect. Cambridge, 1970.
Mazon A. Emplois des aspects du verbe russe. Paris, 1914.
Wierzbicka A. On the semantics of the verbal aspect in Polish. — In: To honor Roman Jacobson. Mouton. The Hague—Paris, 1967.

Г. А. СМИРНОВА

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ НЕОДУШЕВЛЕННЫХ НЕСКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Данная работа является частью исследования, посвященного определению морфологического статуса несклоняемых существительных в грамматической системе современного русского литературного языка через описание несклоняемых существительных относительно грамматических категорий рода, числа, падежа в их соотношении и взаимодействии.

Несклоняемые существительные — это в основном заимствования из различных языков, составляющие относительно небольшую часть многочисленных заимствованных существительных, поэтому описание места заимствованных несклоняемых существительных в морфологической системе русского языка принимает вид соотносительного описания склоняемых и несклоняемых заимствованных слов относительно категорий рода, числа и падежа.

Материал исследования — несклоняемые неодушевленные существительные, выбранные из пятнадцати словарей и словарей-справочников современного русского литературного языка. Выводы о распределении признака рода у несклоняемых существительных делаются на основании соотносительного анализа помет рода в различных словарях в сопоставлении с признаком рода несклоняемого слова, употребляемого в текстах из различных литературных источников (литературные примеры, взятые из словарей, даются со ссылкой на словари), используются также авторские примеры из словарей, отражающие языковую интуицию

составителей словарей. Выводы о распределении признака числа сделаны в основном на основании литературных текстов с учетом редких помет числа, даваемых словарями.

В настоящей работе рассматриваются только заимствованные несклоняемые существительные. В число существительных включаются слова, выступающие в позиции существительного. Эта позиция для многих несклоняемых слов единственная, напр., для слов *метро*, *радио*, *торнадо*, *чачахбили*. Для целого ряда несклоняемых слов — одна из возможных синтаксических позиций, так, напр., слова *соло*, *факсимиле* могут выступать в позиции существительного (*соло для скрипки*, *факсимиле подписи*) и в позиции наречия (*петь соло*, *рукопись издана факсимиле*). Вопросы грамматической полисемии-омонимии, первичности-вторичности, равноправности синтаксических позиций несклоняемых слов остаются за пределами настоящей работы.

СЛОВАРИ И СЛОВАРИ-СПРАВОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ БЫЛА СДЕЛАНА ВЫБОРКА НЕОДУШЕВЛЕННЫХ НЕСКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

БАС — Словарь современного русского литературного языка, т. I—XVII. М—Л., Изд-во АН СССР, 1948—1964.
МАС — Словарь русского языка, т. I—IV. М., ГИС, 1957—1961.
СУ — Толковый словарь русского языка, т. I—IV, под ред. Д. Н. Ушакова. М., ГИС, 1935—1940.
СО — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 9-е изд. М., СЭ, 1972.
ОС—1 — Орфографический словарь русского языка. 1-е изд. М., ГИС, 1956.
ОС—5 — Орфографический словарь русского языка. 5-е изд. М., ГИС, 1963.
ОС—13 — Орфографический словарь русского языка. 13-е изд. М., Русский язык, 1974.
СЗ — *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. М., Русский язык, 1977.
СТ — *Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.* Словарь трудностей русского языка. М., Русский язык, 1976.
СВН — Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник. Л., Наука, 1973 (сокр. Словарь вариантов норм русск. лит. яз. — СВН).
СПУ — Русское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник. М., ГИС, 1956.
ССВ — *Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П.* Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., Наука, 1976 (сокр. Словарь стилистических вариантов — ССВ).
НСЗ — Новые слова и значения. Словарь-справочник. М., СЭ, 1973.
СУРТ — Словарь ударений для работников радио и телевидения. М., СЭ, 1967.
СИ — Словарь иностранных слов. М., СЭ, 1964.

Для справок этимологического характера использовался Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (М., Прогресс, 1964—1973).

КАТЕГОРИЯ РОДА НЕОДУШЕВЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

В русском языке любое существительное характеризуется отнесенностью к одному из трех родов: мужскому, женскому и среднему. Формально признак рода существительного может быть выражен: 1) системой флексий самого существительного в единственном числе, 2) формами сочетающихся с существительным прилагательного и глагола. Ни у кого не возникает сомнений в существовании у несклоняемых существительных способа выражения рода формами сочетающихся с ним прилагательного и глагола, напр.: *новое пальто, горячий кофе, вкусная салями, открыто первоклассное ателье, дул знойный памперо*. Вопрос о существовании внутрисловного способа выражения признака рода применительно к несклоняемым существительным является вопросом о грамматической значимости финалей несклоняемых существительных относительно признака рода, в связи с чем используется понятие грамматической корреляции признака рода с конечным звуком словоформы. Грамматические корреляции конечного звука несклоняемых существительных с признаком рода неоднородны: среди них есть корреляции, характерные только для несклоняемых существительных, и корреляции, общие с корреляциями склоняемых слов, поэтому описанию корреляций несклоняемых существительных предпослана краткая характеристика корреляций конечного звука с признаком рода исходной (словарной) формы склоняемых существительных.

Автором статьи собрана картотека на употребление несклоняемых существительных в текстах различных функциональных стилей современного русского литературного языка. Поскольку среди несклоняемых существительных, зафиксированных словарями, много слов специальной и малоупотребительной лексики, не для каждого слова удалось найти текстовой пример с указанием на признак рода, в таком случае основным источником информации о роде несклоняемого слова являлся сопоставительный анализ помет в различных словарях и авторские примеры составителей словарей.

Составители словарей при любом несклоняемом слове дают помету рода. К сожалению, помета рода не всегда подкрепляется в словарной статье текстами из литературных источников. Например, в МАС зафиксировано около 140 сущ. с финалью *-о*, при всех есть помета рода, но примеры из литературы находим лишь в 39 словарных статьях. Даже при наличии текста, исходя из него, не всегда возможно судить о роде несклоняемого существительного. Приведем несколько примеров из МАС. *Домино*: В пестроте, в многолюдстве собранья, . . Злою скукой томимый давно, У колон встретил я домино [Полонский. Маска]; *зеро*: Я всех виртуозов самолично слышал, — продолжал г. Ратч . ., — и все они перед

покойным Фильдом — тьфу! Нуль! Зеро!! [Тургенев. Несчастная]; *фиаско*: Я отправился в деревню хозяйничать, но потерпел фиаско [Гарин-Михайловский. Несколько лет в деревне]. Значимость различительного контекста особенно велика для специальных, малоупотребительных слов, составляющих значительную часть несклоняемых существительных. Наибольшее число текстов из литературных источников есть в БАС, но и в этом словаре у большинства зафиксированных словарем несклоняемых слов пометы рода не подтверждены литературными примерами.

Распределение признака рода исследовалось для всех несклоняемых неодушевленных существительных без учета функциональной и стилистической дифференциации этих слов. Среди несклоняемых слов есть общелитературные слова типа *метро*, *радио*, *кино*, *ателье*, *пальто*, *рагу*, слова специальные типы *альбедо*, *кюри*, *спиккато*, *мальсекко*, слова употребительные и малоупотребительные, часть несклоняемых слов принадлежит устаревшей лексике. Устаревших несклоняемых существительных, по данным толковых словарей (БАС, МАС, СУ, СО), более шестидесяти: *алкали*, *антука*, *баккара* (карточная игра), *бонмо*, *кали*, *канапе* и т. п. Такая же стилистическая и функциональная дифференциация характерна и для склоняемых существительных и не является отграничительным фактором несклоняемых слов от склоняемых, так как признак рода присущ любому несклоняемому и склоняемому существительному, независимо от его употребительности и неупотребительности, принадлежности к общелитературной, специальной или устаревшей лексике.

Корреляции конечного гласного склоняемых существительных с признаком рода

На месте конечного гласного исходной формы существительных под ударением произносятся звуки [а], [о], [э] (орф. *а*, *я*, *о*, *ё*, *е*). Заимствованным неодушевленным существительным с ударной флексией [а] (орф. *а*, *я*) свойственна одна корреляция конечного [а] с признаком женского рода (*арба*, *бастарма*, *реведа*, *сабза*, *паранджа* и т. п.). У заимствованных неодушевленных существительных с ударной флексией [о] (орф. *о*, *ё*) — корреляция ударного [о] с признаком среднего рода. Но если корреляция ударного [а] с признаком рода представлена во множестве заимствованных существительных с ударным конечным [а], заимствованные склоняемые слова с конечным ударным [о] единичны: *кайло*, *клеймо*, *тавро*. Корреляция ударной флексии [э] с признаком среднего рода представлена у существительных с основой на [j]: *бытие*, *житие*, *питие*, которые вряд ли можно рассматривать как заимствования.

На месте конечных гласных букв *а*, *я*, *о* в заударной позиции произносится редуцированный нелабиализованный гласный [ъ] среднего подъема, среднего или средне-заднего ряда. О качестве

гласного звука на месте буквы *е* в заударной позиции не существует единого мнения. В данной работе принимается точка зрения М. В. Панова, считающего, что в формах им. и вин. пад. слов среднего рода произносится [ъ] [Панов 1967, 317]. Морфонологически различаются [$ъ_1$] — член словоизменительной парадигмы существительных II склонения, [$ъ_2$] — член словоизменительной парадигмы существительных средней разновидности I склонения. Заимствованные неодушевленные существительные с безударной флексией [$ъ_1$] (орф. *а*, *я*) характеризуются корреляцией конечного [$ъ_1$] с признаком женского рода: *арфа*, *басма*, *кантата*, *виза*, *саржа*, *этика* и т. п. Заимствованные существительные с конечным [$ъ_1$] исчисляются тысячами, в этом легко убедиться, раскрыв словарь иностранных слов. Заимствованные неодушевленные существительные с безударной флексией [$ъ_2$] (орф. *о*) имеют корреляцию конечного [$ъ_2$] с признаком среднего рода. В отличие от склоняемых существительных с безударной флексией [$ъ_1$] (орф. *а*, *я*), заимствованные склоняемые существительные с безударной флексией [$ъ_2$] (орф. *о*) единичны: *повидло* [польск. powidła], *миро* [греч. μυρον], *эхо* [греч. Echō].

Неодушевленные существительные с безударной флексией *-е*, как и неодушевленные существительные с безударной флексией *-о*, имеют корреляцию конечного [$ъ_2$] с признаком среднего рода. Эта корреляция есть только у славянизмов: *возмездие*, *орудие*, *оружие*, *препятствие* и т. п. У неславянских заимствований эта корреляция отсутствует.

Корреляция признака рода с конечным согласным у склоняемых заимствованных неодушевленных существительных

Для склоняемых существительных на согласный значимость имеют корреляции не между определенным конечным звуком и признаком рода, а корреляции конститутивных признаков твердости—мягкости (Т и Т') с признаком рода. Большинство существительных с твердым и мягким конечным согласным изменяется по мужской разновидности I склонения (конститутивные признаки $Т_1$ и $Т'_1$), часть существительных изменяется по III склонению (конститутивные признаки $Т_2$ и $Т'_2$). Склоняемые заимствованные существительные характеризуются четырьмя корреляциями конститутивного признака твердости—мягкости с признаком рода: 1) $Т_1$ — признак мужского рода (*галоп*, *штаб*, *кварц*, *стаж*), 2) $Т'_1$ — признак мужского рода (*карагач*, *чекмень*, *хоккей*), 3) $Т_2$ — признак женского рода (*гуашь*, *тушь*, *рожь*), 4) $Т'_2$ — признак женского рода (*верфь*, *гавань*, *нефть*). Наибольшей продуктивностью обладают первые две корреляции, они реализуются в тысячах заимствованных существительных,

Признак рода у несклоняемых неодушевленных существительных

Несклоняемые неодушевленные существительные могут иметь один из трех признаков рода — средний, мужской или женский — как единственный или быть одновременно двух или даже трех родов. Распределение признаков рода описывается сначала у существительных с ударным конечным гласным, затем у существительных с безударным конечным гласным и, наконец, у существительных на согласный. При описании категории рода несклоняемых существительных используется понятие корреляции. За корреляцию признается то соотношение конечного звука с признаком рода, которое как единственное встречается у ряда несклоняемых существительных. Сопутствующий признак рода не образует корреляции с финалью. Напр., у существительных с ударной финалью [а] *альпака*, *антука*, *па-де-труа* — два признака рода, средний и мужской, но корреляция у них одна: [а] ударный — признак среднего рода, поскольку среди существительных с конечным ударным [а] нет ни одного существительного, у которого был бы только признак мужского рода без сопровождения признака среднего рода, и есть целый ряд существительных: *амплуа*, *антраша*, *баккара*, *па* и др., имеющих признак среднего рода как единственный.

Корреляции конечного ударного гласного несклоняемых существительных с признаком рода

На месте конечного гласного несклоняемых существительных (орф. *а*, *я*, *о*, *ё*, *е*, *и*, *у*, *ю*) под ударением произносятся звуки [а], [о], [э], [и], [у]. Заимствованные неодушевленные существительные с конечным ударным [а] имеют одну корреляцию [а] ударного с признаком рода: [а] ударный — признак среднего рода. Корреляция [а] ударный — признак среднего рода как единственная есть у слов *амплуа*, *антраша*, *баккара*, *бра*, *па*, *патуа*, *трема*, *ча-ча-ча*. Приведем несколько примеров на употребление перечисленных слов в среднем роде. *Амплуа*: Однако больше влекла певицу концертная эстрада, окончательному решению перейти на это амплуа способствовал конкурс эстрады [Муз. жизнь, 9, 1978, с. 7]; *антраша*: Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод и упала со стола щетка [Гоголь. Мертвые души, т. I, гл. 8] (БАС); *бра*: Над ней в изголовье я привинтил к стене матовое бра [В. Тендряков. Затмение. — Дружба народов, 1977, № 5]; *па*: Каждое новое па веселило его как мальчишку [Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке] (МАС); *ча-ча-ча*: Духовой оркестр играл веселое и разухабистое ча-ча-ча [Комс. [illegible]] (НСЗ). Корреляция [а] ударный — признак [illegible] *па-де-труа*, имеющих

в русском языке и признак мужского рода, мужской род — сохраненный признак рода языка-источника: нем. Alpaka, m, фр. en-tout-cas, фр. pas-de-trois, m. *Альпака:* м. (БАС), с. (СУ, ССВ), *антука:* м. (СПУ, ОС—5), м. и с. (СУ, СЗ), *па-де-труа:* м. (БАС), м. и с. (СЗ, ОС—5, СТ, ССВ), с. (ОС—13, ОС—1). Как на устаревающий указывают на м. р. у сущ. *боа* в знач. 'шарф' БАС и СУ, примеры из СУ: Меховое боа, Боа пушистый [Пушкин]. Признак женского рода у существительных на ударный [а] есть у слова *лафа* (ОС—13, ОС—5, ОС—1, СТ): Эка ему лафа привалила [Михельсон, Ходячие и меткие слова]. БАС относит. сущ. *лафа* к склоняемым: *лафа, -ы.*

У неодушевленных существительных с ударной финалью [о] — одна корреляция конечного [о] с признаком рода: [о] ударный — признак среднего рода. Корреляция [о] ударного с признаком среднего рода есть у всех существительных с ударной финалью [о], для большинства из них — она единственная: *бистро, бонмо, бордеро, гало, дзюдо* и т. п. Существительных с ударной финалью [о] свыше 80. Приведем ряд примеров на употребление этих слов в текстах. *Бистро*: Они зашли в маленькое *бистро* с красной вывеской. [Огонек, 1966, № 46] (НСЗ); *гало*: Верхние слои атмосферы были затянуты паутиной перистых облаков, сквозь которые светило солнце, а вокруг было большое гало [Арсеньев. Восхождение на Авачин. вулкан] (БАС); *домино*: И взглядом масок рой окинув, Уже вдали узнал одно С зеленой веткой домино [А. Григорьев. Встреча]; *зеро*: Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро [В. Катаев. Алмазный мой венец. — Новый мир, 1978, № 6, с. 48]; *казино*: Казино гудело ульем [Вокруг света, 2, 1975]; *ландо*: Поблескивая медленными спицами, ландо Катилось мягко [Блок. О смерти]; *стило*: Так вот вам, товарищи, мое стило, и можете писать сами [В. Маяковский. Разговор с фининспектором о поэзии]; *электротабло*: «Не курить, застегнуть ремни», — загорелось электротабло [Труд, 1967, 15 июля] (НСЗ).

У сущ. *авто, болеро, жабо, рококо, статус-кво* корреляция [о] ударный — признак среднего рода сопровождается признаком мужского рода. Признак мужского рода сущ. *авто* возник под влиянием широко распространенного лексического синонима — слова *автомобиль*, мужской род сущ. *статус-кво* поддерживается первой частью слова, идентифицируемой с существительным мужского рода *статус*, мужской род сущ. *болеро, жабо* — сохраненный род этих слов в языке-источнике: ит. bolero, m., фр. jabot, m. В словарных статьях сущ. *авто, болеро* помета мужского рода подтверждена примерами из литературы. *Авто*: Ярко-желтый авто разбит [Лунберг. Записки писателя] (СВН) [1]; *бо-*

[1] Колебания в роде у сущ. *авто* неоднократно встречаются в литературе. Приведем пример на колебания рода у этого слова, встретившееся в поэтической речи одного и того же автора: *Свой авто* затормозите поскорее, Ка-

леро: Там только [в Севилье] с полной непринужденностью, во всем великолепии исполняется настоящий, типический болеро [Григорович. Корабль «Ретвизан»] (БАС).

Несмотря на наличие помет рода при слове *рококо* (средний и мужской) сказать что-нибудь определенное о роде этого слова довольно сложно, поскольку это слово встречается в очень ограниченных контекстах, в основном в сочетании со словом *стиль* — *стиль рококо*, напр.: Весь стиль рококо . . . имел черты какой-то мелочности, бонбоньерочности, искусственности, фривольности, легкомыслия [Луначарский. История западноевропейской литературы] (МАС). Признак мужского рода приписывает сущ. *арго* СТ, не подтверждая, однако, употребление этого слова в мужском роде примером: *арго*, с. и (реже) м., Воровское арго. Десять словарей, где, помимо СТ, зафиксировано слово *арго*, указывают при этом слове только помету среднего рода: *арго*, с. (БАС, МАС, СУ, СО, СПУ, СЗ, ОС—13, ОС—5, ОС—1, ССВ). У сущ. *бибабо* (вариант написания *би-ба-бо*), помимо признака среднего рода, словари отмечают признак мужского или женского рода: с. и м. (ССВ), м. и (реже) с. (СТ), м. (СЗ, ОС—1, ОС—5), ж. (ОС—13). К сожалению, ни одна из помет рода не подтверждена примерами: Мари все ждала, что би-ба-бо-мартышка повернет к ней голову и пожалеет: Бедная Мари [Федин. Города и годы] (БАС); Я дарю вам стихи, веселые как би-ба-бо, Острые и нужные, как зубочистки [Маяковский. Кофта фата] (БАС).

Неодушевленных существительных с ударной финалью [э] около 110, они в основном непроизводны, разнообразны по своим конечным сочетаниям и семантике. Как и существительным с ударной финалью [о], неодушевленным существительным с конечным ударным [э] свойственна одна корреляция конечного [э] с признаком рода: [э] ударный — признак среднего рода [2]. Для большинства существительных с ударной финалью [э] эта корреляция единственная: *абреже*, *ателье*, *аутодафе*, *бильбоке*, *буриме*, *букле*, *бурре*, *варьете*, *верже* и т. д. Приведем несколько примеров на употребление этих существительных в различных текстах. *Бильбоке*: Мишенька ездил верхом, играл в «английский мяч», французское бильбоке и серсо [А. Кривицкий. Тень друга. Знамя, 1978, № 5]; *галифе*: На нем были суконное галифе, длиннополая рубашка [Бабаевский. Свет над землей] (СВН); *дезабилье*: И вот зала, и в ней Венерино дезабилье [Маяковский. Венера Милосская и Вячеслав Полонский]; *канотье*: Культяпкой обрубленной руки . . . он

менный пешком пройдите мост [С. Кирсанов. Очередь], . . .*шло авто*. И в авто я втоптан меж двух дам цвета беж [С. Кирсанов. Дорога по радуге].

[2] Сущ. *чайхане* и *пе*, имеющие признак женского рода, не могут изменить общей картины, поскольку эти существительные принадлежат устаревшей лексике: *чайхане* — устаревший несклоняемый вариант сущ. *чайхана*, *пе* — вышедший из употребления термин карточной игры.

[колченогий] прижимал к груди свое канотье [В. Катаев. Алмазный мой венец]; *матине*: В зале показалась сама Софья Сергеевна, одетая в какое-то ослепительно-белое матине [Мамин-Сибиряк. Именинник] (БАС); *реноме*: Несмотря на незавидное реноме, Келли держал корабль в образцовом порядке [Лавренев. Стратегическая ошибка] (МАС); *шоссе*: Как в будущее путь, летит твое шоссе [С. Кирсанов. По шоссе].]

Сущ. *каберне, муаре, наргиле, па-де-де*, наряду с корреляцией [э] — признак среднего рода, имеют признак мужского или женского рода: Сходный (сходное) с кальяном наргиле (СТ); Блестяще исполненный (исполненное) па-де-де (СТ); Старая (старое) медресе (СТ).

Существительные с финалями *-и, -у* занимают особое место среди несклоняемых существительных. В словоизменительной системе современного русского языка отсутствуют исходные словоформы им. п. ед. ч. с конечными *-и, -у*. Корреляции конечных *-и, -у* с признаком рода свойственны только несклоняемым существительным, их нет у склоняемых существительных. Существительные с ударной финалью *-и* имеют две корреляции ударного [и] с признаком рода: 1) [и] ударный — признак среднего рода, 2) [и] ударный — признак мужского рода. Корреляция [и] ударный — признак среднего рода продуктивна, она есть у большинства существительных с ударной финалью [и], корреляция [и] ударный — признак мужского рода реализуется в минимальном количестве слов: *бри* (сорт сыра), *эспри* (украшение в виде пера или пучка перьев). Существительные с корреляцией [и] — признак среднего рода, как и существительные с финалями [о], [э], делятся на две неравные группы. К первой группе принадлежат существительные, имеющие только эту корреляцию, ко второй — существительные, у которых, помимо этой корреляции, есть еще признак мужского или женского рода. Как единственная корреляция [и] ударный — признак среднего рода есть, например, у сущ. *ассорти, жюри, конфетти, кроки, попурри, такси, тильбюри, шабли*. *Ассорти*: Но если в окошечках получается фруктовое ассорти . . ., надо лезть в карман за новой монеткой [В. Песков, Б. Стрельников. По дорогам Америки. — Вокруг света, 1975, № 2]; *жюри*: Это определит компетентное жюри, в составе которого известные композиторы, поэты, дирижеры, ведущие исполнители, певцы [Сов. культура, 1977, 11 окт.]; *тильбюри*: под окном у него остановилось щегольское тильбюри [Лесков. Соборяне, I, 8] (БАС); *шабли*: Затем официанты начали . . . наливать в фужеры золотистое шабли [Пименов. Начало конца, 7] (БАС).

Признак мужского рода есть у сущ. *аи*: м. и с. (БАС, СТ), с. (СУ, СЗ), *кюри*: м. и с. (СЗ), с. (БАС, ОС—13, ССВ), *пароли*: м. (СУ), с. (ОС—13, ОС—5, ОС—1, ССВ), *пехлеви*: м. (ОС—13), м. и с. (СТ), с. (СЗ, ОС—5, ОС—1), признак женского рода — у сущ. *афгани*: ж. (ОС—13), ж. и с. (СЗ), с. (ОС—5), *виши*: ж. (ОС—1), ж. и с. (ОС—5, СТ), с. (СУ, ОС—13, СЗ).

Как и у существительных с ударной финалью [и], у существительных с конечным ударным [у] — две корреляции конечного [у] с признаком рода: 1) [у] ударный — признак среднего рода, 2) [у] ударный — признак мужского рода. Как единственная корреляция [у] ударный — признак среднего рода представлена у существительных *азу*, *акажу*, *бильеду*, *интервью*, *меню* и нек. других. *Интервью*: Но не успели . . . представители Аэрофлота дать первое интервью, как на Мадрид упал дождь [Правда, 1976, 13 авг.]; *меню*: Вот типичное меню на уик-энд для семьи, где трое детей [Вечерняя Москва, 1975, 12 авг.]; *рандеву*: Около трехсот миль остается до Гамильтона, маленького корейского острова с удобным портом, где назначено рандеву шхуне [Гончаров. Фрегат «Паллада»] (МАС); *табу*: Это — неписанный закон, своего рода историческое рыбачье табу [Куприн. Листригоны, 3] (БАС). В сочетании с признаком мужского рода корреляция [у] ударный — признак среднего рода есть у сущ. *жю*, в сочетании с признаком женского рода у сущ. *авеню*: Центр искусства американских индейцев на 3-й авеню оказался закрытым — если не навсегда, то надолго [Г. Резниченко. Мой родной дом — не мой. — Вокруг света, 1978, № 2]; В раструб трубы мембране говорящей сорок секунд бубнил министр. Сотое авеню. Отец семейства. [В. Маяковский. Пролетарий, в зародыше задуши войну!]. Корреляцию [у] ударный — признак мужского рода имеют сущ. *кикапу* (танец) [ОС—1, ОС—5], *пушту* [СЗ, СТ], *урду* [БАС, МАС, СЗ, ОС—13, ОС—5, ОС—1, СТ, ССВ], названия языков.

Корреляции конечного безударного гласного с признаком рода у неодушевленных несклоняемых существительных

Произношение финали *-а* в безударном слоге не отличается от произношения безударной флексии *-а*, орфоэпических помет о качестве звука на месте безударной финали *-а* (орф. *а*, *я*) в словарях нет. На месте безударной финали *-а* произносится редуцированный [ъ]. У существительных с безударной финалью *-а* одна корреляция безударного [ъ] с признаком рода: [ъ] безударный — признак мужского рода. Корреляцию [ъ] безударный — признак мужского рода находим у существительных, обозначающих названия языков: *амхара* (ОС—13), *иоруба* (СЗ), *хауса* (СЗ, ОС—13), у сущ. *мокка* (БАС, СУ, ССВ): Читать последний номер газеты и отпивать глотками душистый мокка — ничего лучшего Виктор Николаевич никогда не желал [Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы] (БАС) и *туранга* (вид тополя) (БАС). У сущ. *кечуа*, помимо корреляции [ъ] — признак мужского рода, есть еще признак среднего рода: м. (ОС—13), с. (СЗ, ОС—5), у сущ. *фейхоа* — признак женского рода (БАС, СЗ, ОС—13).

В заударной позиции произношение финали *-о* отличается от произношения флексии *-о*. Произношение безударной флексии *-о* подчиняется общим орфоэпическим нормам произношения гласных в безударных слогах: на месте безударной флексии *-о* произносится редуцированный [ъ]. На месте безударной финали *-о* произносятся два звука: редуцированный [ъ] и звук [о] без редукции. Наличие/отсутствие редукции у звука на месте буквы *о* в безударном слоге М. В. Панов связывает с употребительностью заимствованного слова. В общеупотребительных словах иноязычного происхождения на месте буквы *о* в заударной позиции предпочтительнее произношение редуцированного [ъ], безударное [о] воспринимается как нарочитая манерность в произношении [Панов 1967, с. 323]. Но среди существительных с безударной финалью *-о* немало слов специальной лексики, не обладающей широкой употребительностью. В этих словах на месте финали *-о* произносится [о] без редукции, что нашло отражение в словарях современного русского литературного языка. Например, согласно СПУ, с [о] без редукции произносятся сущ.: *авизо*[зо], *ватерполо*[ло], *вето*[то], *жиро*[ро], *инкассо*[ссо], *интермеццо*[ццо], *кредо*[до], *манго*[го], *сальдо*[до], *сомбреро*[ро]. В СУРТ произносительные пометы имеют слова: *авизо*[зо], *ариозо*[зо], *ватерполо*[ло], *вето*[то], *манго*[го]. Всего в словарях современного русского литературного языка около 300 неодушевленных существительных с финалью *-о*, произносительные пометы, к сожалению, имеет минимальное число слов. Без специального исследования невозможно установить произношение финали в каждом отдельном случае. В работе принимаются оба варианта произношения финали *-о*, с редукцией и без редукции, в соответствии с чем корреляции безударной финали с признаком рода записываются: [ъ/о] — признак рода.

Неодушевленные заимствованные существительные с безударной финалью *-о* имеют две корреляции финали с признаком рода: [ъ/о] — признак среднего рода, [ъ/о] — признак мужского рода. Корреляция [ъ/о] — признак среднего рода свойственна большинству неодушевленных существительных. К ним, например, относятся сущ.: *аллегро*, *барокко*, *вето*, *инкогнито*, *кредо*, *крещендо/крешендо*, *мотто*, *нейтрино*, *радио*, *ризотто*, *сальто*, *стаккато*, *фиаско*, *трио*. *Аллегро*: В финале (как и в Первом концерте, это «огненное аллегро» — Allegro con fuoco) господствует русская танцевальная стихия [Муз. жизнь, 1978, № 9]; *барокко*: Я вспомнил великолепный зеленый зал — позднее барокко — с медальонами на пасторальные темы, с подоконниками, покрытыми малахитом, с венецианскими окнами. . . [В. Каверин. В старом доме. — Собр. соч., т. 2, 1977, с. 477]; *вето*: О хищные вещи века! На душу наложено вето [А. Вознесенский. Монолог битника]; *инкогнито*: Свое инкогнито я соблюдал неуклонно [А. Крон. Бессонница. — Новый мир, 1977, № 5]; *кредо*: Каково же политическое кредо ...

дера западного абстракционизма и сюрреализма? [Правда, 1974, 9 мая]; *крещендо*: . . . постепенно нарастающее крещендо. ., неожиданно сменяющееся таинственным шопотом солистки [Муз. жизнь, 1978, № 9, с. 22]; *нейтрино*: Нейтрино давно известно физикам [Знание—сила, 1966, № 10] (НСЗ); *ризотто*: Он сердился [на жену] только тогда, когда к столу подавалось неудавшееся ризотто [Каверин. Несколько дней] (БАС); *сальто*: Но говорят, что не скрути Ким так высоко и отважно двойное сальто. . . не было бы десяти баллов и, значит, золотой медали тоже [Комс. правда, 1976, 10 авг.]; *соло*: Вслед за ним [маршем] — фортепьянное соло, где обостряется экспрессивность романсной мелодии [Муз. жизнь, 1978, 4, с. 15]; *стаккато*: . . .отрывистое стаккато в «Тюильри» ассоциируется с характерными особенностями духовых [Муз. жизнь, 1978, 4, с. 6]; *фиаско*: И для практических выводов каждый раз требовалось очередное фиаско команды [Футбол. Хоккей. Воскресное приложение к газете Сов. спорт, 1976, 20 июня] и т. п.

Фактически одной корреляцией финали с признаком среднего рода обладают в современном русском литературном языке сущ. *контральто*, *сопрано*, *фортепьяно*, *какао*. Признак мужского рода квалифицируется словарями как устаревший или устаревающий.

У пятнадцати существительных, помимо корреляции [ъ/о] — признак среднего рода, есть еще и признак мужского рода. Это названия денежных единиц (*крузейро/крусейро*, *песо/пезо*, *скудо*, *сольдо*, *эскудо*), форматов изданий (*ин-кварто*, *ин-октаво*, *ин-фолио*), названия шрифтов (*цицеро*), языков (*идо*, *эсперанто*), судна (*авизо*), строительного камня (*габбро*), растений (*манго*), сорта кофе (*мокко*). Названиям денежных единиц признак мужского рода приписывается в основном СЗ, тем самым сохраняется у этих слов род языка-источника. Сущ. *эсперанто* признак мужского рода приписан только в СТ, позиция СТ отличается от позиции других словарей более настойчивым стремлением связать признак рода с лексическим значением слова: *эсперанто*, с. (БАС, МАС, СУ, СО, СПУ, СЗ, ОС—13, ОС—5, ОС—1, ССВ), с. и м. (СТ).

Корреляция [ъ/о] — признак мужского рода присуща лексической группе существительных со значением 'сильный ветер, ураган': *памперо*, *сирокко*, *солано*, *торнадо* и сущ. *солидаго* (назв. цветка).

По сравнению со всеми другими безударными финалями, финаль *-е* отличает наибольшая сложность произношения. В безударном слоге позиционно различается произношение финали *-е*: а) после твердых согласных и гласных, б) после мягких согласных. На месте безударной финали *-е* после твердых согласных и после гласных произносится звук [э] без редукции. На произношение [э] без редукции в словарях современного русского языка указывают пометы типа [tэ], где t — любой твердый согласный, и написание буквы *э* вместо *е* в конце слова. Орфоэпические пометы есть почти

у всех слов с финалью *-е* в позиции после твердых согласных и гласных: *анданте*[тэ], *альдине*[нэ], *арпеджионе*[нэ], *бирбине*[нэ], *граве*[вэ], *каратэ*, *кураре*[рэ], *мачете*[тэ], *мизерере*[рэ], *момме*[мэ], *морзе*[зэ], *нотабене* [нэ], *сайнете* [тэ], *скенэ*, *сукре* [рэ], *форте* [тэ], *шютте* [тэ], *эре* [рэ], *алоэ*, *апноэ*, *какаэ*. Нет произносительных помет у слов *бере*, *делькредере*, *сутартине*, что стоит, скорее, рассматривать как недосмотр словарей, а не как указание на произношение на конце этих слов редуцированного [ъ]. После мягких согласных на месте финали *-е* в заударной позиции произносятся два звука: гласный [э] без редукции и редуцированный звук типа [ъ] или [ə]. Указание на произношение [э] без редукции после мягких согласных есть в СПУ: *дуче*[че], *кантеле*[ле], *факсимиле*[ле]. Какой редуцированный звук, [ъ] или [ə], произносится на месте безударной финали *-е*, сказать трудно. В заударном слоге в грамматических окончаниях существительных на месте буквы *е* после мягких согласных обычно произносится [ъ]. В данной работе принимается, что на месте финали *-е* после мягких согласных также произносится редуцированный [ъ]. Таким образом, на конце несклоняемых слов на месте безударной финали *-е* после гласных и твердых согласных произносится [э] без редукции, после мягких — [э] без редукции и редуцированный [ъ], записывается [ъ/э], в связи с чем различаются корреляции финали с признаком рода для позиции финали после твердых согласных [тэ] и гласных [vэ] и позиции финали после мягких согласных [t'ъ/э].

Неодушевленные существительные с конечными сочетаниями [тэ] и [vэ] имеют продуктивную корреляцию [э] безударного с признаком среднего рода. Как единственная она выступает, например, у сущ. *алоэ*, *аквафорте*, *анданте*, *делькредере*, *каноэ*, *каратэ*, *мизерере*, *эре*. Например: *анданте*: Страницы прекрасной музыки содержит поэтическое Andante non troppo [Муз. жизнь, 1978, 9, с. 16]; Тоскливый скрипач смычком обрабатывает на плачущей скрипке глухое анданте [С. Кирсанов. Черноморская кофейня]; *каноэ*: Место рождения каноэ с балансиром — Индонезия. [Н. Непомнящий. За тысячелетия до Синдбада. — Вокруг света, 1978, 2]; *форте*: Вещи были очень сложные. Сперва казалось, что исключительно сильное форте слишком трудно для оркестра [Первенцев. В Исландии] (БАС). Непродуктивные корреляции [э] — признак мужского рода и [э] — признак женского рода представлены каждая у одного сущ. *альдине*, м. (БАС), *бере*, ж. (СТ).

У неодушевленных существительных с конечными сочетаниями [t'ъ/э] корреляция [ъ/э] — признак среднего рода есть у сущ. *виваче* (СЗ), *кантабиле*, *сальто-мортале*, *факсимиле*, *экстемпорале*. Сущ. *перпетуум-мобиле*, зафиксированное словарями как существительное среднего рода (БАС, МАС, СПУ, СЗ, СТ, ССВ), в текстах иногда встречается как существительное мужского рода: Нет, каждому хочется не одного осчастливить, а хоть какой-нибудь перпетуум-мобиле подарить людям [В. Тендряков. Затме-

ние. — Дружба народов, 1977, 5]. Вероятно, признак мужского рода у этого слова связан с его первой частью *«перпетуум»* на согласный. У сущ. *кантеле*, наряду с признаком среднего рода, словари отмечают и признак женского рода: с. (МАС, СПУ, СЗ, ОС—1, ОС—5, ОС—13, СТ), с. и ж. (ССВ), ж. (БАС).

Корреляция [ъ/э] — признак мужского рода есть у сущ. *биеннале/бьеннале* в знач. 'фестиваль' (ОС—13) и у сущ. *кофе* (БАС, МАС, СУ, СО, СПУ, ОС—13, ОС—5, ОС—1, СТ, СВН, ССВ). *Кофе*: Ныне на всякий случай, чтобы вполне и во всем отвечать за себя, он пил только бразильский кофе [Герман. Операция «С Новым годом»] (СВН); Так вот и буду в Летнем саду пить мой утренний кофе [Маяковский. Человек]. Довольно часто сущ. *кофе* употребляется и в среднем роде, что зафиксировано БАС, СУ, СТ, СВН, ССВ, правда, с ограничительной пометой «разг.»; СЗ допускает у слова *кофе* в литературном языке мужской и средний род как два равноправных варианта: Необыкновенно вкусным кажется *кофе*, поданное в крошечной чашечке [Соколов-Микитов. Голубые дни] (БАС), Я обменял на это кофе коробку табака [Паустовский. Повесть о жизни] (СВН); — А кофе, действительно, колдовское, — поспешил сказать Артем Игнатьевич [Ратнер. Степь широкая] (СВН); Не мерещатся мне улыбки Кармен и гостиничное кофе [С. Кирсанов. Желание].

Корреляция [ъ/э] — признак женского рода у сущ. *биеннале/бьеннале* в знач. 'выставка' и сущ. *промилле*, последнее, согласно СЗ, имеет и признак среднего рода.

Несклоняемые существительные с безударными финалями *-и*, *-у* противостоят несклоняемым существительным с иными конечными безударными гласными по отсутствию качественной редукции у звуков [и], [у], произносимых на месте букв *и*, *у* в безударной позиции. Неодушевленным существительным с безударной финалью *-и* свойственны три корреляции конечного [и] с признаком рода. Корреляция [и] — признак среднего рода есть у большинства неодушевленных существительных с финалью *-и*: *алиби*, *аллегри*, *бикини*, *гоми*, *гумми*, *гурджаани*, *деванагари*, *кали*, *кьянти*, *мукузани*, *паблисити*, *пенни*, *рами*, *саперави*, *шаривари*, *тутти* и т. п. *Кепи*: Жданов боком, козырьком к виску, напяливал на голову серое кепи [Бахметьев. Преступление Мартына] (БАС); *паблисити*: Скандальное упоминание их [клиентов] имени влечет за собой компроментацию, нежелательное «паблисити» [Лит. газета, 1967, 38] (НСЗ); *седи*: Сто песет будет составлять одно седи [За рубежом, 1965, 30]; *тутти*: . . .постепенно нарастающее крещендо и мощное финальное тутти, неожиданно сменяющееся таинственным шопотом солистки [Муз. жизнь, 1978, 9]. Не зафиксированное словарями сущ. *кипиани* (вино), встретившееся в тексте, подобно зафиксированным в словарях существительным, названиям вин: *гурджаани*, *мукузани*, *саперави*, *цинандали*, имеет признак среднего рода: Подавалось ни с чем не

сравнимое кипиани в толстых бутылках с краснозолотыми этикетками [В. Катаев. Алмазный мой венец]. У сущ. *бренди, генри, казус-белли, липси, пенальти, ралли*, кроме признака среднего рода, словари отмечают признак мужского рода. Признак женского рода, наряду с признаком среднего рода, есть у сущ. *бери-бери, мацони, ткемали, цунами*. У сущ. *виски* словари отмечают все три признака рода: По сравнению с хрусталем ирландское виски перенесло колониальное правление англичан с куда меньшими потерями [Ю. Устименко. Изумрудный остров. — Вокруг света, 1975, 4]; После выступления мы садились с нею за свободный столик, выпивали виски, ее виски был для нее бесплатным [Л. Васильева. Альбион и тайна времени. — Новый мир, 1978, 3]; Боцман хотел было спуститься в кубрик, чтобы приодеться на берег, где рассчитывал основательно попробовать виски, о которой рассказывали шлюпочные [Станюкович. Собака, V] (БАС).

Корреляция [и] безударный — признак мужского рода есть у существительных *бенгали, кавасаки, кашмири, кросс-коунтри, пандури, хинди, хиндустани, шимми*. *Кавасаки*: Кавасаки уже вернулся на базу, сдал улов всех судов, загрузился снова сетями и ушел в море [Лидин. Великий или Тихий] (БАС); *хиндустани*: Разговорный хиндустани в настоящее время почти в одинаковой форме употребляется по всей северной Индии [Баранников. Хиндустани. Предисловие] (БАС) и т. п. Без подкрепления примерами ССВ у сущ. *крамбамбули*, ОС—5 у сущ. *пали*, относимых всеми словарями к мужскому роду, указывают признак среднего рода.

Приведем еще несколько примеров на употребление существительных с безударной финалью *-и* в мужском роде, встреченные в литературе, но не зафиксированные словарями. *Дивали*: Дивали: — праздник огня — отмечается в Индии ежегодно в конце октября или в начале ноября. «Огненный дивали» приносит массу хлопот пожарным [Моск. комсомолец, 1977, 15 ноября]; *сулугуни*: Сулугуни очень хорош: упругий, слоистый. Очень вкусен с самодельным легким вином из «изабеллы», горкой мамалыги и миской мацони [В. Шестаков. Ашьхацан. — Вокруг света, 1978, 2]; *унаби*: В туркменских тропиках зацвел унаби [Известия, 1977, 28 мая].

Корреляция [и] безударный — признак женского рода есть у сущ. *аммо, брокколи, гоби, кольраби, салями, тари*.

Неодушевленных существительных с безударной финалью *-у* значительно меньше, чем существительных с финалью *-и*, но и у них также три корреляции конечного безударного гласного с признаком рода. Корреляция [у] безударный — признак среднего рода у сущ. *джайлау/джейлау* (БАС, МАС, СЗ), *джиу-джитсу* (БАС, МАС, СУ, СО, СПУ, СЗ, ОС-13, ОС-5, ОС-1, СТ, ССВ), *иглу* (МАС, СЗ), *катеху* (ОС-13, ОС-5, ОС-1, СЗ), *кипу* (ОС-13, ОС-5, ОС-1, СЗ), *шоу* (СТ, НСЗ): Шоу разворачивалось вовсю [Коротич. Кубатура

яйца. — Знамя, 1977, 11, с. 179], . .дежурный в гостинице «Хаятт», расположенной напротив Диснейленда, раздавал желающим приглашения на вечернее шоу в баре [Там же, с. 195].

Корреляцию [у] безударный — признак мужского рода имеют существительные *кикуйю* (язык) [ОС-5, ОС-1], *нейблау* (краситель) [СЗ, ОС-5, ОС-1], *метиленблау* (краситель) [СЗ].

Корреляция [у] безударный — признак женского рода у сущ. *индау* (растение) [ОС-5], *милдью* (болезнь виноградной лозы) [ОС-13, ОС-5, ОС-1, СЗ].

Корреляции признака рода с конститутивным признаком твердости—мягкости у несклоняемых существительных

Несклоняемые неодушевленные заимствованные существительные на согласный характеризуются тремя корреляциями конститутивного признака твердости—мягкости с признаком рода.

1. Корреляция Т — признак мужского рода есть у сущ. *капут* (БАС, СУ, СО, ОС-1, СТ): Доктор . . . объявил ему через полтора суток непременный капут [Гоголь, СУ]; *каюк* (БАС, СУ, СПУ, СО, СЗ, ОС-13, ОС-5, ОС-1, СТ): Тут ему и каюк пришел (СУ, СО); *карт-бланш* (БАС), *мов* (БАС), *пандан* (МАС, СУ), *стих* (БАС, СУ): . .когда на Валентину находил лирический стих, он [Андрей] охлаждал ее добродушными насмешками [Николаева. Жатва, III, 4] (БАС) и др.

2. Корреляция Т — признак женского рода есть у сущ. *альма-матер* (СЗ, ОС-13, СТ), *идефикс* (ССВ), *минискерт* (НСЗ) [3].

3. Корреляция Т — признак среднего рода у сущ. *фоб* (БАС), *солис* (ССВ); у сущ. *цирлих-манирлих* 'жеманство, манерность' помимо признака среднего рода, словари отмечают признак мужского рода (БАС, МАС).

* * *

Признак рода у неодушевленных несклоняемых существительных с различными финалями распределен достаточно четко. Существительные с ударными финалями [а], [о], [э] имеют по одной корреляции ударного гласного с признаком среднего рода. Для большинства неодушевленных существительных эта корреляция единственная, но есть ряд слов, у которых она сопровождается сопутствующим признаком мужского или женского рода, отражающим род языка-источника или отнесенность слова к определенной лексической группе. У существительных с ударными финалями [и], [у] по две корреляции конечного гласного с призна-

[3] Корреляция Т — признак женского рода представлена также у одушевленных существительных, названий лиц женского пола: *мадам, маман, мисс, миссис, мистрис, фрейлен, фрекен, ханум.*

ком рода (средний или мужской род), и для этих существительных корреляция конечного гласного с признаком среднего рода остается основной, продуктивной корреляцией.

Корреляции конечного гласного с признаком рода у неодушевленных существительных с безударными финалями более разнообразны, но и у них распределение признака рода представлено с достаточной четкостью. У существительных с конечным [ъ] (орф. *а*) одна корреляция безударного [ъ] с признаком мужского рода. Неодушевленных существительных с безударной финалью *-о* около 300. Основная продуктивная корреляция у этих существительных [ъ/о] — признак среднего рода, 15 существительных имеют сопутствующий признак мужского рода. Непродуктивная корреляция [ъ/о] — признак мужского рода у существительных, названий сильных ветров и ураганов (*памперо*, *сирокко*, *солано*, *торнадо*) и сущ. *солидаго* (назв. цветка). Существительных с безударной финалью *-е* немного, около 40, их основная корреляция конечных безударных [э], [ъ/э] с признаком среднего рода. Непродуктивные корреляции [ъ/э] с признаком мужского или женского рода реализованы у единичных существительных (*кофе*, *биеннале*, *промилле*). У существительных с конечными безударными [и], [у] по три корреляции безударных гласных соответственно с признаками среднего, мужского и женского рода, основной корреляцией и у этих несклоняемых существительных остается корреляция конечного гласного с признаком среднего рода, но в отличие от неодушевленных существительных с финалями *-о*, *-е* корреляции конечных [и], [у] с мужским или женским родом представлены у достаточно большого количества несклоняемых существительных. Например, корреляция [и] безударный — признак мужского рода есть у сущ. *бенгали*, *кавасаки*, *кашмири*, *кросс-коунтри*, *пандури*, *хинди* и др. Корреляция [и] безударный — признак женского рода у сущ. *амми*, *брокколи*, *гоби*, *салями*, *тари*. Существительные на согласный имеют три корреляции конститутивного признака твердости—мягкости с признаком рода: Т — признак мужского рода, Т — признак женского рода, Т — признак среднего рода, реализованные каждая в незначительном количестве слов.

У склоняемых существительных существует строгая зависимость между признаком рода существительного и его способностью изменяться по определенному типу склонения. Признак мужского рода существительных с конечным твердым или мягким согласным влечет за собой изменение существительного по мужской разновидности I склонения, признак женского рода существительных с конечным *-а* — изменение по II субстантивному склонению, признак среднего рода существительных с конечным *-о* или *-е* — изменение по средней разновидности I склонения. Не менее строгая закономерность существует между признаком рода несклоняемых существительных и их неизменяемостью. Корреляции не-

одушевленных существительных [а] ударный — признак среднего рода, [э] ударный — признак среднего рода [4], корреляции ударных [и], [у] с признаком рода — это корреляции только несклоняемых существительных. Корреляции неодушевленных существительных: [ъ] — признак мужского рода [5], [ъ/о] — признак мужского рода, [ъ/э] — признак мужского или женского рода, [о] безударный — признак среднего рода, корреляции безударных [и], [у] с признаком рода являются также морфологической характеристикой несклоняемых существительных. Только несклоняемым словам присущи корреляции: Т — признак женского рода, Т — признак среднего рода у существительных на согласный.

Есть у несклоняемых существительных корреляции, общие с корреляциями склоняемых, тем не менее существительные с такими корреляциями остаются неизменяемыми. Это заимствованные существительные с конечными [о] ударным (орф. *о*, *ё*) и [ъ] безударным (орф. *о*, *е*). Фактор иноязычности препятствует изменению существительных с конечными [о], [ъ] (орф. *о*, *ё*, *е*). В просторечии некоторые из заимствованных слов, достаточно употребительных, у которых фактор иноязычности не осознается говорящими, склоняются. Склоняются, например, в просторечии сущ. *кино*, *пальто*, *ситро*, что зафиксировано и словарями, в частности СВН. Следует отметить, что фактор иноязычности, препятствующий изменению существительных с конечными [о], [ъ] (орф. *о*, *ё*, *е*) по средней разновидности I склонения, не действует относительно существительных с конечными [а], [ъ] (орф. *а*, *я*) и на согласный. Все эти существительные, имеющие корреляции склоняемых слов, изменяются соответственно по I и II склонению, поэтому разгадку воздействия семантического фактора иноязычности следует все-таки искать в морфологии, в сопоставительном анализе склоняемых существительных на [о], [ъ] (орф. *о*, *ё*, *е*), с одной стороны, и склоняемых существительных на [а], [ъ] (орф. *а*, *я*) и согласный, с другой.

Среди несклоняемых существительных, имеющих корреляции, общие со склоняемыми, есть небольшое количество слов, несклоняемость которых является функциональной, обусловленной синтаксическими ограничениями. К ним относятся, например, сущ. женского рода *лафа*, сущ. мужского рода *капут*, *каюк* и нек. другие, употребляющиеся в основном в позиции сказуемого.

---

[4] Корреляция [э] — признак среднего рода есть у единичных склоняемых сущ. *бытие*, *житие*, *питие*, поэтому ее следует считать корреляцией именно несклоняемых существительных, число которых около 200.

[5] Корреляция [ъ] — признак мужского рода есть у одушевленных склоняемых существительных, у неодушевленных существительных — это корреляция несклоняемых слов.

КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА НЕСКЛОНЯЕМЫХ НЕОДУШЕВЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Категория числа несклоняемых существительных по сравнению с категорией рода в работах русистов, касавшихся в своих исследованиях в той или иной мере несклоняемых слов, фактически не описана. В Грамматике современного русского литературного языка отмечается, что несклоняемые существительные представляют особую группу слов по выраженности—невыраженности числового противопоставления и что значение числа у несклоняемых существительных последовательно выражено синтаксически (Гр. 1970, 325). В Грамматике русского языка есть существенное добавление: синтаксическое множественное число имеют считаемые существительные (АГ 1952—1954, 113). И. П. Мучник в своей монографии, где значительное место отведено исследованию несклоняемых существительных, относительно категории числа ограничивается таким высказыванием: «Значение числа получает выражение у неизменяемых существительных только в атрибутивных и предикативных словосочетаниях с помощью аффиксов поясняющих слов: *серое — серые такси остановилось, остановились*. Таким образом, неизменяемость существительного приводит к сокращению удельного веса категории числа, так как последняя уже не является неотъемлемым элементом морфологической структуры слова» (Мучник, 1971, 283).

Материалы словарей о числе несклоняемых существительных дают информацию значительно меньшую, чем о роде. Примеры иллюстрируют словарную помету рода и, следовательно, только ед. число. Примеры на употребление несклоняемых слов во мн. числе немногочисленны и носят в основном случайный характер. Пометы «мн.» или «чаще мн.» касаются минимального числа слов типа *галифе, сабо, жалюзи*. Если при описании категории рода можно было опереться на данные словарей (пометы, тексты), дополняя их примерами собранной картотеки, то при описании распределения признака числа у несклоняемых существительных основным источником служит картотека.

В отличие от склоняемых существительных, имеющих внутрисловное выражение признака числа, признак числа несклоняемого слова устанавливается по позиции в сочетании слов или в предложении, хотя некоторая зависимость между конечным звуком несклоняемого слова и предпочтительным выбором признака числа и существует.

В статье описываются три основные позиции выраженности признака числа несклоняемых неодушевленных существительных и распределение на основе этих позиций неодушевленных существительных с финалью *-е* относительно признака числа.

Позиции выраженности признака числа несклоняемых неодушевленных существительных

I. Позиция подлежащего в двусоставном предложении при сказуемом, выраженном
1. спрягаемой формой глагола
ед. ч.: В какой-то миг *рандеву принимает* действительно сложный оборот [Панков. Современник на рандеву];
мн. ч.: И как червонные семерки, *палаццо* в факелах *горят* [Вознесенский. Флорентийские факелы];
2. кратким прилагательным или причастием
ед. ч.: *Фиаско* блока СЕНТО, как и тремя годами ранее азиатского СЕАТО, *показательно* [Веч. Москва, 23 марта 1979];
мн. ч.: К приказу *были приложены кроки* местности с обозначением главных деревень по пути [Вересаев. На японской земле].

II. Позиция определяемого члена
1. Позиция определяемого члена в именном сочетании с препозитивным склоняемым определяющим
а) прилагательным (сюда же относятся порядковые числительные и местоименные прилагательные)
ед. ч.: Новая программа *передвижного шапито* несомненно удалась [Моск. правда, 15 авг. 1979], *Свое инкогнито* я соблюдал неуклонно [Крон. Бессонница];
мн. ч.: Корпоративные галстуки выполняют в Британии ту же роль, какую в Японии издавна играют родовые эмблемы на *черных парадных кимоно* [Овчинников. Корни дуба];
б) причастием
ед. ч.: Это сеанс *так называемого лазер-шоу* [Сов. культура, 27 сент. 1977];
мн. ч.: Шли одномоторные пикировщики Ю-87. Они имели *неубирающиеся шасси* [Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке].
2. Позиция определяемого члена в именном сочетании с постпозитивным склоняемым определяющим
а) прилагательным
ед. ч.: «А *кофе*, действительно, *колдовское*», — поспешил сказать Артем Игнатьевич [Ратнер. Степь широкая];
мн. ч.: . . .и рыбий малюсенький правнук рывками *тире телеграфных* о счастье ловца сообщает [Кирсанов. Морская песня];
б) причастием
ед. ч.: Митя, закусив губу, крутит палкой над головой, прицеливаясь в *трюмо, украшенное* перламутровыми цветами [Каверин. Откр. книга];

мн. ч.: В наше время он [вопрос о читателе] возникает в *интервью, даваемых* виднейшими прозаиками и поэтами (Лит. учеба, 3, 1979).

III. Заместительная позиция несклоняемого слова, которую занимают:

1. относительное местоимение придаточного предложения, одновременно выполняющее и определительную функцию
   ед. ч.: Из храма Хосенди Кавадзи отправился в *каго, которое* несли четверо рослых молодцов [Задорнов. Хэда];
   мн. ч.: Бухгалтер вел *ресконтро* по векселям, акцептам и ценным бумагам, *в которых* записывались поступления и выдача векселей, акцептов и акций [Вишневский. Война, I, 1];
2. местоимение 3-го лица
   ед. ч.: Хотя цветы *унаби* невзрачные, соперников в медосборе на юге Туркмении *он* не знает: до того неповторим *его* аромат [Известия, 28 мая 1977];
   мн. ч.: Экран тем самым как бы обнажает *амплуа*, выявляет *их* [Сов. экран, 14, 1979];
3. синонимичное склоняемое существительное
   ед. ч.: Нет в Испании провинции, где бы ни танцевали *фанданго*. Но всего больше в ходу *этот танец* в Ла Манче, в Андалузии [Водовозова. Жизнь европейских народов];
   мн. ч.: Примеров в картотеке нет.

При замещении несклоняемого слова личным местоимением или синонимичным неодушевленным существительным число несклоняемого слова определяется числом личного местоимения или синонимичного склоняемого существительного.

Следует отметить, что в текстовом употреблении несклоняемых слов нередко для одного и того же нескл. существительного имеет место совмещение двух или даже трех позиций выраженности признака числа. Например, у сущ. *сомбреро* две позиции выраженности признака числа (I. 2 и II.1.б) в предложении *Особенно хороши (и дороги) негнущиеся сомбреро с двумя продольными складками на тулье* [Вокруг света, 8, 1971].

Выделение позиций выраженности признака числа у несклоняемых существительных диктуется морфологической системой русского языка, в которой именам присущи категории числа и рода. Позиции выраженности признака числа несклоняемых существительных позволяют классифицировать их относительно признака числа, разделив на четыре группы. В первую группу вошли существительные с оппозицией единичности—множественности или с вариантными формами единственного—множественного числа, во вторую — существительные с признаком единственного числа, в третью — существительные с признаком мно-

жественного числа, в четвертую — существительные, встретившиеся в текстах относительно признака числа только в позиции невыраженности.

Существительные с оппозицией единичности—множественности наиболее сложное явление среди несклоняемых слов, поскольку члены оппозиции: словоформа с признаком единичности — словоформа с признаком множественности, не идентичны по своей функциональной нагруженности. Критерий функциональной нагрузки членов оппозиции понадобилось ввести из-за разной употребительности слов, могущих иметь признак ед. и мн. числа. Одни из этих слов в равной степени встретились в текстах и с признаком ед. числа и с признаком мн. числа, другие слова преимущественно употребляются в ед. числе, признак мн. числа у них в единичных контекстах, третьи предпочитают употребляться во мн. числе, с признаком ед. числа выступая чрезвычайно редко. Поскольку большинство несклоняемых слов не отличается широкой употребительностью, порог функциональной нагруженности члена оппозиции нельзя делать высоким. Функционально нагруженным считается тот член оппозиции, который встретился в двух различных текстах разных авторов. Если член оппозиции встретился более двух раз в одном и том же тексте, он все равно считается функционально ненагруженным. Пополнение картотеки, возможно, изменит порог функциональной нагруженности членов оппозиции в сторону его повышения, вызовет переход ряда существительных, зафиксированных с признаком ед. числа, в группу слов с оппозицией единичности—множественности, но общей картины функционирования нескл. существительных, их распределения относительно признака числа дальнейшее пополнение картотеки изменить не сможет (в настоящее время картотека нескл. существительных насчитывает свыше 6000 текстовых единиц).

Распределение признака числа у неодушевленных существительных с финалью -е

Картотекой отмечены следующие существительные с оппозицией единичности—множественности: *ателье*, *буриме*, *варьете*, *дефиле*, *досье*, *кабаре*, *канотье*, *кафе*, *кашне*, *клише*, *колье*, *купе*, *матине*, *мачете*, *медресе*, *панье*, *пресс-папье*, *псише*, *резюме*, *реле*, *сальто-мортале*, *тире*, *турне*, *факсимиле*, *филе* (мясо, рыба), *фойе*, *фрикасе*, *шале*, *шоссе*, *эре*, *эссе* и др. Приведем несколько примеров: Узкая и длинная дорога, значительно испортившаяся вследствие продолжительных дождей, представляла как бы *дефиле*, *через которое* неприятелю и нам надлежало следовать [Давыдов. Дневник партизанских действий]; Наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника на лесных дорогах и *межозерных дефиле*, продолжали вести наступательные бои [Совинформбюро, 12 июня 1944]; На первом полу-

станке поезд остановился, и в наше *купе* вошел жандарм в галунах [А. Н. Толстой. Лихорадка]; Если четыре англичанина входят в пустой вагон, они инстинктивно рассядутся по *разным купе* [Овчинников. Корни дуба]; В Багдаде я учился в *большом медресе* у знаменитейших ученых [Ян. Чингиз-хан]; Поставленное на выставке здание воспроизводило главным образом *одно из лучших самаркандских медресе* [Стасов. Худож. заметки о политехн. выставке]; В трио. . . задумчивый элегический зачин перерастает в бодро-воинственный напев в маршевом ритме, внезапно переходящий в бойкий перепляс и завершающийся *энергичным кратким резюме* [Муз. жизнь, 10, 1979]; Что касается любви, ее познанных и непознанных коллизий, ее счастливых и несчастных исходов, то я, читатель, предпочту обойтись без *окончательных резюме* [Панков. Современник на рандеву]; «Никаких «предлагается» мне писать нельзя», — бормотал товарищ Полыхаев, вынув из кармана резиновую печатку со *своим факсимиле* и в волнении оттиснув подпись вверх ногами [Ильф и Петров. Золотой теленок]; [Стихи] были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от *тех факсимиле, которые* мы привыкли видеть под его портретом на его посмертных книгах (Катаев. Алмазный мой венец] и т. п.

Функционально нагружены члены оппозиции единичность—множественность у сущ. *ателье, дефиле, кабаре, купе, пресс-папье, реле, тире, турне, шоссе, эссе.* Не нагружен член оппозиции с признаком мн. числа у сущ. *канотье, колье, медресе, резюме, факсимиле, фойе*; с признаком ед. числа у сущ. *клише, эре.* У сущ. *пале, пэцкэ, панье, сомье, фрикасе* ненагружены оба члена оппозиции. Рассматриваемые существительные с оппозицией единичности—множественности принадлежат к исчисляемой лексике, обозначают в большинстве конкретные предметы, но могут называть и отвлеченные понятия: *резюме, досье.*

Употребление сущ. *галифе* в ед. и мн. числе не свидетельствует о наличии у данного существительного противопоставленности единичность—множественность, а является показателем грамматического варьирования этого слова. Своей финалью [э] это слово тяготеет к ед. числу: *Заплатанное галифе* тесно *охватывало* толстые ноги Пузыревского [Вс. Иванов. Гибель Железной]; На нем *было суконное галифе*, длиннополая рубашка [Бабаевский. Свет над землей], — а семантическим признаком парности к Pl. tantum. Как показывают текстовые примеры, сущ. *галифе* чаще употребляется как Pl. tantum: Высокий мужчина в *клетчатых галифе. . .* сидит рядом с Бородулиным [Каверин. Откр. книга]; Молодой командир в *галифе, подшитых* кожей, в щегольских сапогах нарисовал на доске подобие бочки на четырех тумбах [Диковский. Патриоты]; Штабной офицерик в *широких*, как крылья летучей мыши, *галифе* диктовал что-то хорошенькой блондинке [А. Н. Толстой. Хмурое утро]; Впереди шел Подтелков, бо-

сой, в *широких галифе* черного сукна [Шолохов. Тихий Дон]; Кто спорит — *бриджи*, *галифе* или *брюки* по своему *удобны* [Вокруг света, 1, 1979].

Сущ. *пенсне* обычно употребляется как существительное ед. числа, вероятно, семантический признак парности, присутствующий в лексическом значении этого слова, не очень важен для носителей языка, акцентирование этого признака вызвало употребление сущ. пенсне как Pl. tantum: Дедушкино лицо осветилось белым пламенем, а *пенсне превратились в два слепящих пятна* [А. Лисняк. Детское время, — Лит. учеба, 2, 1979] [6].

Большинство существительных с финалью *-е* употребляется с признаком ед.числа. Одни из них входят в категорию Sg. tantum. Это вещественные существительные, напр.: *драже*, *каберне*, *монпасье*, *сакэ*, *кофе*; отвлеченные существительные: *верже*, *моралите*, *пике* (авиа), *реноме*, *туше*, *фуэте*, *форте*, *перпетуум-мобиле*. Другие — обозначающие конкретные предметы и явления, могли бы употребляться и во мн. числе, но их употребление во мн. числе не зафиксировано в настоящее время картотекой. К таким существительным относятся, например, слова *канапе*, *пате*, *портмоне*, *шевроле*, *кантеле*.

Приведем примеры на употребление существительных с признаками ед. числа: На кондитерском комбинате «Рот фронт» недавно смонтирована новая линия по производству *драже* «Грильяж в шоколаде», *которое* пользуется большой популярностью у покупателей [Моск. правда, 27 мая 1979]; Его [Хосе] *ките было* верхом совершенства, с мулетой он работал безукоризненно [Нагибин. Один на один]; Тоскливый скрипач смычком обрабатывает на плачущей скрипке *глухое анданте* [Кирсанов. Черноморская кофейня]; Здесь [древние напевы и руны] рождались и переходили от отца к сыну, и незамутненным стройным напевом звучало *озерное кантеле*, ясными бликами светилось око земли [Север, 6, 1979]; «Возможно, что это и не *кураре*, — сказал он. — Но на всякий случай нужно убрать *его* подальше» [Каверин, Откр. книга]; Фактурой выражаются качества и свойства всех предметов, и ею же создается *так называемое живописное туше, аналогичное музыкальному туше* при хорошей игре на музыкальном инструменте [Юон. О живописи].

Среди существительных с финалью *-е* нет ни одного, которое употреблялось бы только с признаком мн. числа. В позиции невыраженности признака числа встретились слова *аплике*, *дамасэ*, *джерсе*, *каламбре*.

---

[6] Следует отметить, что без акцентирования признака парности сущ. *пенсне* тем же автором в том же самом тексте употреблено с признаком ед. числа: Дедушка еще спал. Рядом с его кроватью на стуле стоял будильник и *лежало пенсне* [Там же, с. 55].

ЛИТЕРАТУРА

Аванесов 1972 — *Р. И. Аванесов.* Русское литературное произношение. М., Просвещение, 1972.
Аванесов, Сидоров 1945 — *Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров.* Очерк грамматики русского литературного языка. М., 1945.
АГ 1952—1954 — Грамматика русского языка, т. I, изд. АН СССР. М., 1952—1954.
Виноградов 1972 — *В. В. Виноградов.* Грамматическое учение о слове. М., Высшая школа, 1972.
Горбачевич 1978—*К. С. Горбачевич.* Нормы совр. русск. литерат. языка. М., Просвещение, 1978.
Гр. — 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., Наука, 1970.
Крысин 1968—*Л. П. Крысин.* Иноязычные слова в современном русском языке. М., Наука, 1968.
Морфология и синтаксис 1968—Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., Наука, 1968.
Мучник 1971—*И. П. Мучник.* Грамматические категории глагола и имени в совр. русск. литерат. языке. М., Наука, 1971.
Панов 1967—*М. В. Панов.* Русская фонетика. М., Просвещение, 1967.
Реформатский 1960 *А. А. Реформатский.* Число и грамматика. — Вопросы грамматики. М.—Л., 1960.
Смирнова 1978—*Г. А. Смирнова.* К типологии несклоняемых существительных. — Проблемы структурной лингвистики 1976. М., Наука, 1978.
Смирнова 1979 — *Г. А. Смирнова.* Категория рода несклоняемых существительных. — Лингвистика и поэтика. М., Наука, 1979.

Е. В. КРАСИЛЬНИКОВА

О ФОРМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СЛОВА [1]

Слово, не будучи элементарной единицей, может быть подвергнуто многоуровневому анализу. В этом смысле оно имеет несколько формальных структур в соответствии с количеством ярусов и уровней, вводимых в описание.

К дискуссионным вопросам теории языкознания принадлежит вопрос о возможности замкнуть анализ в рамках одного уровня или обязательном выходе в другой, о последовательности, одно- или неоднонаправленности его (о возможности повторного обращения к другому уровню в процессе анализа). Мы будем исходить из решения проблем стратификации языка, предложенного московской фонологической школой [2], в частности из выработанного

[1] Статья написана на основе доклада, прочитанного в Институте русского языка АН СССР на заседании, посвященном памяти В. Н. Сидорова 12 апреля 1977 г.

[2] См.: Кузнецов 1958 и статьи, опубликованные в: Реформатский 1970. Общая картина современных поисков в этой области дана в работах [illegible] 1967, гл. II; Общее языкознание 1972 [illegible]
Блас 1980

в ней подхода к проблеме взаимодействия уровней, «взаимодействия грамматики и фонетики».

[1] Предметом обсуждения в этой статье будет структура производного слова и специально роль линейных преобразований на стыке основы и аффикса типа наращения, усечения, наложения, статус элементов, называемых интерфиксами.

Как показала дискуссия, возникшая вокруг этих проблем, решение их уходит за рамки локального подхода и упирается в общие вопросы уровневого представления языка, в частности, в проблему представления такой микросистемы, как слово.

Существует аксиома о гомогенности членения текста на элементы, которым приписаны уровнеобразующие свойства. Текст должен члениться без остатка на фонемы, морфемы, слова и предложения. Иными словами, всякий вычленяемый элемент должен быть возведен к единице того уровня, на котором производилось членение. Было указано (см. Лопатин 1977, Оливериус 1976 и др.), что этой аксиоме противоречит определение интерфиксов как элементов, которые занимают положение внутри слова, но сами морфемами не являются, так как не имеют означаемого (ср.: Русский язык и советское общество 1962, Земская 1964, 1973, 1975 и др.). Предложенные затем альтернативные решения имели целью обойти это противоречие. Интерфиксы либо поднимаются до ранга морфем (ср. консонантизирующие суффиксы: Шанский 1968), либо включаются в состав соседних морфем или некоторых их морфов. В первом случае, однако, колеблется определение морфемы, во втором — игнорируется морфонологическая отдельность интерфикса, чрезмерно увеличивается число синонимичных морфем или набор морфов одной морфемы. В. В. Лопатин предложил интерпретацию, с общеязыковой точки зрения более последовательную. Интерфиксы подводятся под понятие субморфа и вычленяются внутри морфов, так что морфы одной морфемы могут отличаться не только чередующимися элементами, но и сегментным удлинением (или укорочением). Вопросы, которые не сняты этим решением, касаются правил выбора разных видов морфов, а также оснований предпочтительного присоединения интерфикса к правому или левому морфу (даже если допускается двойственность членения). В сущности и эти вопросы, и самая альтернатива: рассматривать интерфиксы как самостоятельные элементы или как включенные в морф — связаны с пониманием роли этих элементов, с проблемой — относить ли их к структуре морфа или к организации целого слова или его структурных частей.

Понятие субморфа, как известно, теоретически отразило несовпадение смыслового и формального членения слова. Конкретные исследования подтвердили, что организация формального плана обнаруживает свои внутренние закономерности, которые могут быть описаны в некоторой степени отвлечения от семантического плана (ср. например, принцип морфонологического описа-

ния, реализованный в работах: Поливанова 1974, 1976; ставя в центр случай координации в плане выражения и содержания, исследователь далее уходит в план выражения по линии омонимии). Иерархии единиц плана выражения и плана содержания, отражающие уровни интеграции в языке, имеют независимые строения (см.: Общее языкознание 1972). С асимметрией в плане означаемого и означающего связаны и возможные асимметрии различных формальных структур слова (заметим, что обнаружение асимметрии служит объективации их существования). Так как в процессе синтеза производного слова формируются все его структуры, для прояснения поставленных вопросов нам кажется необходимым обратиться к проблеме соотношения различных формальных структур производного слова.

Слово строится из морфем, но соединение их не имеет чисто аддитивного характера. Установлены асимметричные отношения между морфемной и словообразовательной структурой, которые можно определить как несоответствие количества деривационных шагов и количества морфем (см.: Соболева 1972). Организация слова бинарна: основа — формант. По отношению к морфемам основа представляет собой суперсегментное единство внутри слова. Синтагматические связи производящей основы и форманта, морфонологические явления стыка в принципе выводятся не из синтагматических и морфонологических свойств конечных морфемы/морфа основы и морфемы/морфа аффикса. Присутствие в конце основы тех или иных морфем/морфов, влияющих на ее сочетаемость и морфонологическое поведение, можно относить, как это и сделано в ряде работ, именно к характеристике основы. И синтагматика, и морфонология предопределяются многими характеристиками основы как целого.

Основы обладают грамматической характеристикой, деление основ на два класса, глагольные и именные, в морфонологическом плане находит отражение в противопоставлении закрытых основ основам, варьирующим исход. К чему относится чередование: к морфеме или основе? Насколько можно судить по существующим описаниям русского словообразования, чередования конечных согласных основы предопределяются типом форманта и при одинаковых окончаниях основы имеют одинаковый характер в основах разной степени производности и членимости (ср. *муха—мушка, толстуха—толстушка*) и в основах, усеченных не на морфемном шве. Морфонологические преобразования могут захватывать цепочку морфов, т. е. пронизывать основу. В словах *отомкнуть—отмычка* связаны огласовки корня и префикса (ср. Лопатин, 1977, 224). Выбор морфемы форманта может предопределяться акцентной и слоговой структурой основы (см. Чурганова 1973, 158 об условиях выбора аффиксов *-Øк, -ик, -чик*).

Все выше сказанное заставляет думать, что и линейные преобразования на стыке основы и аффикса не есть процесс взаимо-

приспособления морфов, что они касаются отношений основы и форманта. Это подтверждает и самый регулярный случай интерфиксации — закрытие именных основ. Он и интерпретируется чаще всего как процесс оформления основы, т. е. снятие несоответствия структуры корневой морфемы или цепочки морфем структуре базовой основы. Этот пример отвечает и другой интерпретации. При синтезе слова обнаруживается несоответствие той структуры, которая возникает из сцепления морфов производящей основы и форманта правильной морфонологической структуре производной основы, правильной морфонологической структуре производного слова данного словообразовательного типа. Оно снимается надставкой. Противоречие разрешено. В ином случае следствием несоответствия может быть запрет на образование слова. Заимствуем один выразительный пример, касающийся такого суперсегментного признака, как ударение, из работы Н. А. Еськовой (1964). Морфонологическая модель образований с безударным суф. *-ость* требует ударности основы. Поэтому может быть образовано, например, *лукавость* от *лукавый*, но нет образований на *-ость* от прилагательных *огневóй*, *рядовóй*, *сквознóй*, *озорнóй*. В этих производящих прилагательных существует морфонологический запрет на перенос ударения на основу. Нет производного на *-ость* и от прилагательного *боевóй*, но семантически к нему подстраивается слово *боевúтость*, где суф. *-ит-* несет на себе основное ударение.

В некоторых случаях, как это уже отмечалось, может происходить возвращение к этапу выбора морфемы форманта. Если это возможно, избирается другая морфема с нужными морфонологическими свойствами. Наконец, акцентные трудности могут сниматься наращением или усечением (а также наложением) в основе.

Итак: «Содержание морфонологии состоит как из сегментных явлений (фонемы в составе морфем, их сочетания внутри морфем и на стыке морфем), так и суперсегментных явлений (ударение, фонологическая гармония слова или его морфонологической части и других «накладок» на готовый уже набор фонем в морфемах)» (Реформатский 1975, см. также 1974). Изучение наращений и усечений показывает, кроме того, что суперсегментные накладки могут иногда трансформировать «готовый набор фонем», удлиняя или укорачивая его.

Причины появления интерфиксов и других линейных преобразований могут быть найдены и в том, что при словопроизводстве обнаруживается несоответствие структуры, получающейся в результате действия правил словообразования, правильной фонетической структуре русского слова. Линейные преобразования могут служить как устранению неприемлемых сочетаний фонем, возникающих внутри слова, так и корректированию его слогового состава.

Фонетическая структура слова также регулируется сегментными и суперсегментными правилами. Поэтому линии взаимодействия словообразования и фонетики сложны и многообразны. В лингвистической литературе последних десятилетий выдвинуты задачи исследования диэремных явлений на границе морфем (Панов 1961), возможных отношений суперсегментных фонетических характеристик слова к его словообразовательной структуре (Топоров 1965), взаимодействия основных функций ударения в производном слове: морфонологической (ударение в морфеме, в основе, в словообразовательном типе) и фонологической (ударение как средство, создающее единство слогового контура и фонемного состава слова) [3].

Итак, цепочка фонем, возникающая из соединения морфов, должна содержать допустимые в русском языке сочетания гласных и согласных в положениях по отношению к началу, середине, концу слова, по отношению к ударению. Слово должно иметь ударение, занимающее определенное место в цепи слогов (максимум безударных слогов не может превышать 6, 7-й слог должен быть ударным). Регламентировано число слогов (максимум, названный в литературе — 13 слогов, но практически слова длиной более восьми слогов редки, оптимальная структура 1—4 слога). В общем случае и структура русских морфем и модели русского словообразования обеспечивают согласованность формы производного слова с требованиями всех уровней. По данным П. А. Соболевой (Соболева 1972), максимальное количество словообразовательных тактов 5—9, но основная масса слов порождена на 1—4-м тактах (ср. Манучарян 1972). Этот факт значим для слоговой структуры, так как есть определенная корреляция между составом морфем и числом слогов в слове, их приблизительное количественное соответствие или, иными словами, некоторое соответствие глубины и длины слова. Регулированию слоговой структуры служит также асимметрия количества тактов и количества материально выраженных морфем. Она возникает из-за нулевых морфов, заместительной аффиксации, усечения морфем (морфов), все эти явления препятствуют разрастанию слова в длину.

Роль фактора, ограничивающего количество слогов в слове, прослеживается при анализе словопроизводственных возможностей многосложных слов и составных наименований. (Ср. еще Ройзензон, Могилевский 1969). Название испанского города *Кастелламаре-дель-гольдо* уже само исчерпало лимит слогов, могу-

[3] Мы хотели бы обратить внимание на то, как описывается ударение в отдельных словообразовательных типах. Например, место ударения в прилагательных с суф. *-ов-* определяется схемой ударения производящего существительного и односложностью/неодносложностью базового компонента (Устинова 1974). Если первое правило имеет чисто морфонологический характер, то второе может быть связано с взаимодействием суперсегментной морфонологии и фонологии.

щих быть безударными, поэтому присоединение к этой основе ударного суффикса (например, *-чанин*) невозможно, но и в соединении с безударным аффиксом получается длинное труднопроизносимое слово. Реальное образование со значением 'житель' создано от укороченной основы: *кастелламарцы*. (Здесь и далее использован Словарь названий жителей СССР 1975). Подобные сокращения морфемного состава происходят и в русских образованиях от сложных наименований. Ср.: *переяславцы — Переяславль Залесский*; *устюжане — Великий Устюг*; *устьпристанцы — Усть-Чарымская пристань*; *противолодочный — от подводная лодка* (или *подлодка*) и т. п.

Наращение, усечение, наложение — это способы повлиять на слоговую структуру слова сверх тех возможностей, которые даны словообразовательной моделью.

Многочисленные наблюдения о том, что интерфикс часто присоединяется к односложной основе (ср.: *соседка*, но *плутовка*, *орешник*, но *гербовник* (Лопатин 1977), *поповский*, *бесовский*, *воровской* (Земская 1964), что усекаются части многосложной основы (ср. *консерваторец — -ij-* усечено, но *студиец -ij-* сохранено) согласуются с тенденцией к созданию оптимальных ударнослоговых структур.

Высказывалось мнение, что нельзя указать каких-либо правил, ограничивающих длину слова (в слогах, морфемах, фонемах). Действительно, второстепенные ослабленные ударения позволяют удлинять слово. «Образование слов неограниченной длины может быть регулярным способом выражения определенного значения (ср. *трехсотчетырехграммовый*, *пятьсотдевяностосемикилометровый* и т. д.). Множество таких слов равномощно, конечно, натуральному ряду» (Арапов 1974). Однако нечитаемые слова, слова с побочным ударением — принадлежность книжной письменной речи. Есть языковая сфера, в которой подобные ограничения несомненно существуют. Это сфера устной разговорной речи. Предельный состав слова здесь в большой степени обусловливается объемом оперативной памяти: 7 ± 2 символов сообщения. По данным В. А. Никонова (1978), в разговорной речи (для подсчетов использовались диалоги в художественной литературе) длина слова в среднем 4,5 звука, т. е. наименьшая сравнительно с другими функциональными разновидностями языка.

Свойством разговорной речи можно назвать стремление к оптимальной фонетической форме. Более того, можно сказать, что в разговорной речи фонетическая форма имеет самодовлеющее значение, фонетическая форма влияет даже на самый выбор значимых единиц [4].

---

[4] На уровне высказывания организующую роль имеет интонационный контур; для того чтобы «опустить» интонацию в конце фразы, нередко вставляются слова-пустышки (Русская разговорная речь 1973, 215). Вывод

Большая регулярность образований в разговорной речи обусловливается в значительной мере и большей свободой линейных деформаций. Например, в книжной речи слово *конференция* не дает производного со значением лица, но в разговоре было легко образовано от него *конференщик*. Ср. также усечения в основах: *сверчок — сверчата*, «*Флоричике*» (название детской киностудии в Молдавии) — *флоричата*; в устной речи лингвистов: *одноокончательные* слова (слова с одним и тем же окончанием), *актуальночленный* уровень (уровень актуального членения). Напомним здесь и замечание А. А. Реформатского: «Надо думать, что слова, чаще употребляющиеся, особенно в устной речи, скорее подвергаются гаплологии, чем редкие исключительно книжные. . .» (Реформатский 1967).

Изучая разговорное словообразование, нельзя не обратить внимание на рифмование, ритмические уподобления при словопроизводстве. Фонетические сближения такого рода не ограничиваются игровыми и экспрессивными образованиями. В диалектном языке они наблюдаются и в словоизменении (ср., например, уподобления в фонемном составе форм причастий, входящих в тесные лексические группы: *взят — брат, дат*; *даден — браден, взяден*; *ушотши — уехатши* — Немченко 1980).

Если в голове говорящего может возникнуть стереотип, относящийся к облику целого слова, то скорее всего он будет связан со словами одного словообразовательного ряда. Ср.: *музейный, ничейный, ружейный, семейный, купейный, укавейный*[5]; *стартовик, черновик, средневик* (бегун на средние дистанции), *телевик* (телеобъектив); *таксомоторный* (с иным ударением *трансформаторный*), *санаторный, лабораторный, рефлекторный, галлюцинаторный*. Именно внутри ряда, включающего разные типы основ, происходят формальные уподобления, это поле действия аналогии. Но аналогия действует в согласии с фонологией и морфонологией. Кажется важным изучить, как процесс синтеза детерминируется, направляется необходимостью получить определенный целостный результат. По нашему мнению, полезным было бы такое понятие морфонологической модели, которое бы обобщало структуру готовых слов определенного словообразовательного ряда. По-видимому, оно должно включать и характеристику акцентно-слоговых структур. (Заметим, что область релевантности, сфера

о высокой ритмической организованности разговорной речи, т. е. обнаруживающейся в ней тенденции к повторению определенных закономерных чередований ударных и безударных слогов (Иванова, 1971; Розанова, 1978), можно переформулировать, сказав о присутствии в разговорной речи ритмической формы. Для ее реализации говорящий вставляет частицы и местоимения, вводит опустошенные или семантически избыточные (например, при повторе) лексемы, деформирует произношение слов.

[5] Ср.: «. . . испытания ультракоротковолновой, или «укавейной», как мы говорили, радиостанции . . .» (*Береговой Г.* Угол атаки. М., 1971).

действия такого признака, как слоговая структура остается наиболее неясной [6]. Однако и в целом вопрос об уровневой отнесенности различных формальных характеристик и операций требует дальнейшей разработки. Из работ, посвященных уровневому расслоению одноименных явлений, укажем здесь еще: Улуханов 1975, где рассматриваются разные виды усечений.

Итак, можно сказать, что язык ищет способы скоординировать требования, предъявляемые к формальной структуре слова на разных уровнях. В ходе синтеза проверяется соответствие результатов синтеза на одном уровне допустимым структурам, складывающимся на другом уровне. Линейные преобразования служат одним из средств снятия противоречий.

Чтобы иллюстрировать некоторые положения статьи, разберем морфонологическую модель образований на *-к-а*, построенных по типу включения.

Универбаты на *-ка* [7] можно расклассифицировать по следующим формальным типам.

1. Основа производящего прилагательного выступает в производном в полном виде: *миллиметровка*, *бытовка*, *перцовка*, *открытка*, *летучка*, *висячка* (кукла в автомобиле), *фальшивка*, *хлопчатка*.

2. В производной основе аффикс производящего прилагательного усечен целиком: *-н- безопаска* (бритва), *внештатка* (зарплата), *двухэтажка* (дом), *запаска* (запасное колесо), *канатка* (канатная дорога), *кругосветка*, *повторка* (кинотеатр повторного фильма), *пятисотваттка* (лампа), *щитовидка*; *-ов- касторка*, *неонка* (лампа); *-ск- гражданка*, *казанка*, *методичка*; *-j- верблюжка* (одеяло), *лягушачка* (лягушачья бухта); *-ущ- нержавейка*.

3. В основе усечена часть аффикса: *прогрессивка*, *газировка*, *централка* (центральная клетка на манеже цирка), *читалка*, *дождевалка* (последние 3 примера, возможно, относятся к п. 5); *сезонка*, *бетонка*, *комиссионка* (эта группа помещена здесь условно, так как сочетание *-йк-* фонетически дает *-нк-*, т. е. в ней можно видеть и неусеченный суффикс).

4. В основе усечена часть основы нестандартным образом: *гречка* (гречневая крупа), *загранка* (заграничная поездка), *сорокопятка* (сорокапятимиллиметровая пушка).

5. Усечение суффикса или его части замещается наращением: *-тельн-/-л- предварилка*, *исправилка*, *зажигалка*; *-ационн-/-ш*

[6] В ряде работ слоговая структура производящей основы введена в понятие морфонологической позиции (см., например: Чурганова, 1973, Поливанова 1976, Лопатин 1977). В. В. Лопатин приписывает признак однослоговость/неоднослоговость морфам и связывает с ним даже выбор морфемы форманта (Лопатин 1977, 277, 279). В приводимых примерах, однако, эта связь не кажется убедительной.

[7] Кроме наших материалов далее учтен материал из работ: Янко-Триницкая 1964, Грамматика-1970, Полякова 1972; Виноградова 1972; Русская разговорная речь 1973, раздел «Номинация» Л. А. Капанадзе.

информашка, реанимашка; -анн-/-ш деревяшка, стекляшка; -н-/-аш медяшка.

6. Основа дополняется наращением: *стенновка* (стенная газета) (Янко-Триницкая 1964); *черняшка* (черный хлеб).

7. К основе присоединяется экспрессивно-оценочный суффикс: *копчушка, меховушка, губнушка* (губная помада — отмечено в Саратове И. П. Глотовой), *ночнушка* (ночная рубашка для ребенка).

Наиболее типичный морфонологический облик универбатов на *-к-а tatát -ка*. Суф. *-к-а* предшествует закрытая основа, оканчивающаяся на твердый согласный (кроме заднеязычных и *ц*), шипящий или *j*. Наиболее частотная ритмическая модель — трехсложная с ударением на слоге, предшествующем суффиксу.

Двухсложные образования более редки (ср.: *чешки, манка, гречка, пшенка, финка, донка, тулка, химка, вечка, хлорка*). Отступления в положении ударения связаны с акцентными характеристиками производящих основ [8].

Все перечисленные выше операции приводят к одному морфонологическому результату, разными путями создается одна и та же морфонологическая структура. Ср. ряд: *стометровка, грунтовка, курсовка, трехходовка*, (шахматная задача); *нулевка* (камера низких температур), *марганцовка; командировка* (командировочное удостоверение), *газировка; стенновка; саратовка* (гармонь). Рифмованное уподобление можно видеть в семантически соотносительных словах *малышовка — старшовка* (малышовая группа — старшая группа в детском саду). Заметим, что универбальные стяжения могут возникать не только на базе адъективных сочетаний. Ср.: *солодовка* (дом купца Солодовникова в Москве); *мерзлотка* (Институт мерзлотоведения в Якутске). Но они также укладываются в основные структурные модели.

В производном слове может сохраняться морфонологическая форма основы прилагательного с присущими ей следами чередования (*публичка, техничка, краткосрочка, литейка*), но то же завершение может быть получено чередованием в уже усеченной основе (ср. разговорное *Малашка* от *Малахов Курган*). Твердое *л* может быть вставочным, но и в конце основы мягкие сонорные *л* и *р* чередуются с твердыми (специально об этом см. Реформатский 1975, 119—124): *двустволка, первоначалка* (школа первоначального обучения летчиков), *зеркалка, коммуналка, минералка: октябрка* (услышано от жительницы Одессы), *бескозырка*.

В том случае, если морфонологическая модель допускает несколько решений, могут возникать вариативные образования: *лаки-*

[8] Подробное морфонологическое описание этого словообразовательного типа см. в работах: Янко-Триницкая 1964, Грамматика-1970, 82—84, Поливанова 1974. Последняя работа представляет интересный опыт сведения к единой морфонологической модели с вариациями совокупности словообразовательных типов и рядов членимых и слабо членимых слов на *-к-а*.

ровки — лакирки (частотнее первое слово, но ср. *копирка*), *теоретичка* (в речи спортсменов) — *тёрка* (в речи летчиков).

В литературе справедливо отмечались некоторые регулярные преобразования, предопределяемые конечным морфом производящей основы (суф. *-ск-* усекается, об *-н-* см. замечание выше; *-тельн-*, *-альн-* замещаются *-л-*). Однако и здесь проявляется принцип «прокрустова ложа», происходит линейное преобразование конца производящей основы в производном, дающее требуемый морфонологический результат. Нет оснований считать *-л-* алломорфом *-тельн-* или *-альн* (ср. *промокательная бумага — промокашка*). Еще более очевидна связь усечений (после ударного слога) и наращений, принимающих на себя предаффиксальное ударение, с акцентуационной, а также слоговой структурой основы в данной морфонологической модели.

Эта иллюстрация имела прежде всего цель показать, что линейные преобразования на стыке основы и форманта бывают непредставимы в виде воздействия одного морфа (последующего) на другой морф (предшествующий). Областью действия является основа, которая должна приобрести определенный вид: определенное фонемное окончание, определенную акцентную и слоговую структуру. Более того, возможно следует говорить о морфонологических характеристиках целого производного слова.

Понимание того, что линейные деформации цепи морфов в слове обусловлены не только сегментными, но и суперсегментными условиями, создающими единство и целостность производного слова, должно изменить угол зрения на элементы, называемые интерфиксами, и другие линейные преобразования в цепи морфов. Усечения, наложения, наращения служат не только (может быть, даже не столько) для взаимоприспособления двух соседних морфов, но для создания гармонии целого, для создания правильных (или оптимальных) фонетических и морфонологических структур и взаимосогласования их в слове.

Таким образом, линейные изменения в цепи морфов могут быть объяснены сложным взаимодействием разных причин. Они обусловлены и фонетически, и морфонологически; сегментными и суперсегментными правилами. Пока рассматривается зависимость линейных преобразований только от синтагматики морфов, закономерность их оказывается невыявленной, в область аналогических переносов попадает слишком широкий круг фактов, само действие аналогии также представляется случайным, границы, условия ее неопределенными. При обращении к суперсегментной стороне открываются дополнительные условия, обусловливающие линейные изменения.

Сложность интерпретации интерфиксов связана с их множественной обусловленностью. Кажется важным освободиться в лингвистическом описании от приравнивания их по свойствам к морфам, помня об их синкретической природе.

1. Одна и та же (в некотором определенном смысле) оптимальная фонетическая и морфонологическая структура может быть получена разными средствами. Следовательно, усечение, наложение, наращение можно не приписывать морфонологической модели. Важно дать такое ее описание, которое обусловливало бы необходимость линейных изменений в каждом конкретном случае.

2. Требования фонетики и морфонологии имеют обобщенный характер. Часто их можно определять лишь как необходимость консонантизации или вокализации, слогового сокращения или расширения основы. Выбор фонемы или сочетания фонем, которые эту роль выполнят, для морфонологии и фонетики, если не безразличен, то ограничен некоторым набором возможностей. Однозначный выбор не задан. Следовательно, инвентарь интерфиксов, как и отсекаемых финалей, не задан в языке.

Об этом говорят, как нам кажется, материалы ответов на Вопросник по словообразованию 1967. Кроме статистически преобладающего производного *волабичонок* от *волаби* встретились такие образования для названия детенышей этого животного, как *волабиленок*, *волабиренок*, *волабивонок*, *волабитенок*, *волабишонок*, *волабиенок*, *волабожонок*, *волабиржонок*, *волабирчонок*, *волабийчонок*, *волабин(ъ)чонок*, *волабайчонок* соответственно от *кабарга* — кроме *кабаржонок*, *кабарганенок*, *кабаргазенок*, *кабаргажонок*, *кабаргаленок*, *кабаргачонок*, *кабаргайчонок*, *кабарганчонок*, *кабаргаенок*.

Самые разные кусочки конца основы и начала аффикса, иногда совпадающие с аффиксами (ср. например *рулежка*, *лаптежник* в речи летчиков), могут быть использованы с прокладочным назначением.

С нашей точки зрения, нецелесообразно говорить и о вариативности интерфиксов (сводя, например, *-ов-* и *-в-* в одну единицу).

3. Условия появления надставок или других линейных трансформаций нельзя описать во всех случаях в виде сегментной синтагматики, т. е. в виде позиций — перед чем, после чего. Необходимо найти правила их суперсегментной обусловленности, прежде всего акцентной структурой основы и слова.

4. Устанавливая суперсегментную обусловленность линейных деформаций структуры слова, мы, по-видимому, должны признать вероятностный характер этих правил. Какое средство будет избрано, какой фонемный элемент будет добавлен или усечен — можно предсказывать с определенной долей вероятности. Как кажется, вероятностное устройство правил может вполне иметь место в описании языка, аналогично тому, как такого рода обусловленности допускаются в научном описании других явлений действительности.

Для понимания природы интерфиксов кажется возможной одна аналогия с явлениями фонетического уровня.

В говорах, где вставка эпентетических звуков /*д*/ и /*т*/ в словах типа *ндрав*, *встреча* обусловлена фонетически, функциональная сущность этих звуков своеобразна. Эти звуки являются суперсегментной накладкой на запрещенное сочетание звуков. Будучи отдельной материальной единицей, они не имеют самостоятельного фонемного статуса, не нагружены смыслоразличительно (ср. Панов 1975). Интерфиксы можно уподобить этим эпентетическим звукам в том, что они также являются сегментными элементами, вычленимыми на уровне наблюдения, но не возводимыми к единицам эмического уровня.

Очевидно, что суперсегментные факторы, давление фонетической системы могут действовать деструктурно на словообразовательные отношения, нарушая их формальную регулярность. Но есть обратное организующее давление словообразовательной системы. И именно оно было отмечено прежде всего в работах, касавшихся линейных явлений. Действительно, список частотных интерфиксов относительно стабилен: чаще всего в этом качестве выступают согласные *в*, *j*, *л*, *н*, *т*, *р*, *ш*, некоторые из них также с гласными расширителями *о*, *е*, *и*, *а*. Язык стремится дать интерфиксам дополнительную нагрузку. Укажем на некоторую тенденцию к дифференциации глагольных и именных интерфиксов, на тенденцию закрепления интерфиксов за определенными грамматическими (Дементьев 1974) и лексико-семантическими классами основ (например, *-овск-* при основах собственных названий учреждений, предприятий, обществ, газет), на появление стилистической окраски у элемента *-ш-* (Земская 1964). Отмечена специализация интерфиксов при омонимичных аффиксах (Лопатин 1977, 287). Говоря о возможной семантической дифференциации образований с интерфиксом и без него, можно напомнить наблюдение Т. В. Булыгиной (1975) о противопоставлении значений качественности/индивидуальной отнесенности в парах типа *отеческий*/*отцовский*. С опорой на формальное различие может происходить перераспределение смыслов в основе, так что сочетание «интерфикс плюс аффикс» может превратиться в самостоятельный аффикс с особым значением. Таким образом, одним из двигателей в развитии языка оказывается сложное взаимодействие разных языковых уровней и систем.

ЛИТЕРАТУРА

Арапов М. В. Продуктивность в естественном языке и ее измерение. — В кн.: Вопросы информационной теории и практики (сб. № 23). ВИНИТИ. М., 1974.

Булыгина Т. В. Замечания к понятию регулярности морфонологических явлений в сфере словообразования. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования I. Учен. зап., т. № 143, Ташкент, 1975.

Виноградова В. Н. Стилистические средства словообразования. — В кн.: Стилистические исследования. М., 1972.

Вопросник по современному русскому словообразованию. Сост. Бахтурина Р. В., под ред. Земской Е. А. М., 1967.
Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
Данеш Фр., Гаузенблас К. Проблематика уровней с точки зрения структуры высказывания и системы языковых средств. — В кн.: Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969.
Дементьев А. А. О так называемых «интерфиксах» в русском языке. — ВЯ, 1974, № 4.
Еськова Н. А. О структурных ограничениях в словообразовании существительных. — В кн.: Вопросы культуры речи. М., 1964, вып. 5.
Земская Е. А. Интерфиксация в современном русском словообразовании. — В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1968.
Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
Земская Е. А. К проблеме множественности морфонологических интерпретаций. — В кн.: Развитие современного русского языка. 1972, М., 1975.
Иванова Г. Н. Ритмика русской прозы. Автореф. канд. дис. М., 1971.
Климов Г. А. Фонема и морфема. М., 1967.
Кузнецов П. С. О последовательности построения системы языка. — В кн.: Тезисы конференции по машинному переводу. М., 1958.
Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.
Манучарян Р. С. Вопросы интерпретации и измерения глубины слова. — ВЯ, 1972, № 1.
Немченко Е. В. О явлениях аналогического характера в области образования причастных форм (на материале русских говоров). — В кн.: Сравнительно-исторические исследования. Воронеж, 1980.
Никонов В. А. Длина слова. — ВЯ, 1978, № 6.
Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
Оливериус З. Ф. Морфемы русского языка. Praha, 1976.
Панов М. В. О разграничительных сигналах в языке — ВЯ, 1961, № 1.
Панов М. В. Фонетические фантомы «F». — В кн.: Предварительные публикации. Институт русского языка АН СССР. М., 1975.
Поливанова А. К. Субстантивные основы на *-к(а)* в современном русском языке. — В кн.: Языковая практика и теория языка. М., 1974, вып. 1.
Поливанова А. К. Морфонология русского субстантивного основообразования. Автореф. канд. дис. М., 1976.
Полякова И. М. Процессы включения в лексике и словообразовании. Автореф. канд. дис. Куйбышев, 1972.
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967.
Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.
Реформатский А. А. О типах позиций. — В кн.: Теория и история языкознания, вып. III. Проблемы фонологии и морфонологии. Рефераты и обзоры. М., 1974.
Реформатский А. А. Фонологические этюды. М., 1975.
Розанова Н. Н. Суперсегментные средства русской разговорной речи (на материале ударения в потоке речи). Автореф. канд. дис. М., 1978.
Ройзензон Л. И., Могилевский Р. И. Фактор длины слова при аффиксальной деривации (на материале славянских языков). — В кн.: Труды Самаркандского госпединститута им. С. Айни. Новая серия, вып. 170. Вопросы языкознания и литературы. Самарканд, 1969.
Русская разговорная речь. М., 1973.
Русский язык и советское общество. Проспект. Алма-Ата, 1962.
Словарь названий жителей СССР, под ред. Бабкина А. М. и Левашова Е. А. М., 1975.
Соболева П. А. Моделирование словообразования. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., 1972.
Топоров В. Н. О некоторых фонетических особенностях славянских языков в связи со словообразованием. — Prace filologiczne, t. XVIII, 2, 1965.

Улуханов И. С. О видах усечения основ мотивирующих слов в русском словообразовании. — Развитие современного русского языка. 1972. М., 1975.
Устинова Е. Г. К вопросу об ударении относительных прилагательных с суффиксом *-ов (-ев-)* в современном русском языке. — В кн.: Языковая практика и теория языка. М., 1974, вып. 1.
Чурганова В. Г. Очерк русской морфонологии. М., 1973.
Янко-Триницкая Н. А. Процессы включения в лексике и словообразовании. — В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.

Т. С. МОРОЗОВА

СТРУКТУРА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ И СТУПЕНЧАТЫЙ ХАРАКТЕР РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Порождающая способность слова главным образом рассматривалась на уровне семантики, присущей тем или иным частям речи. Реляторный язык, используемый исследователями аппликативной порождающей модели [1], не призван отражать семантические различия словообразовательных категорий, объединяемых общностью частей речи, к которым принадлежат мотивирующее и мотивированное слова. Он различает, например, отглагольные и отадъективные существительные, но различия между отглагольными существительными, обозначающими действие, производителя действия, объект и средство действия, для него уже не существенны.

Порождающая способность слов определенной части речи на уровне словообразовательных значений [2] изучена недостаточно. Работы, посвященные этой проблематике немногочисленны, см.: Супрун 1962, Даниленко 1964, Бакина 1966, Альтман 1972, Buzássyová 1974. В работах Тихонов 1974, Манучарян 1974а, 1974б, 1975, Улуханов 1977, Ермакова 1977 освещены лишь отдельные аспекты данной проблемы.

Настоящая статья представляет попытку установления закономерностей, действующих в сфере образования слов с определенными словообразовательными значениями в отглагольном гнезде.

Материалом для исследования послужили словообразовательные гнезда преимущественно двух семантических групп: 1) гла-

[1] См., например: Соболева 1959, 1967, 1970, 1972, Гинзбург 1967, 1973, Альтман 1972, Белокриницкая 1972.

[2] Под словообразовательным значением вслед за Е. А. Земской понимаем значение, общее для производных данного словообразовательного типа, устанавливаемое на основании семантического соотнесения производящих и производных (Земская 1973).

голы, обозначающие механическое возвратно-поступательное движение или каузацию такого движения: *колебать*, *качать*, *шатать*, *колыхать*, *трясти*, *трепать*, *мотать*, *болтать* (жидкость), *болтать* (чем), *дрыгать*, *махать*, *кивать*, *моргать*, *мигать*, *вилять*, *вихлять*, *дрожать*, *трепетать*, *вибрировать*, *осциллировать*; 2) глаголы, обозначающие механическое повреждение объекта посредством природного (неотчуждаемого) органа субъекта: *кусать*, *жалить*, *клевать*, *царапать*, *цапать* (простор. *царапать*), *бодать*, *лягать*, *брыкать*.

Для сопоставления привлекались производные от глаголов и иной семантики. В качестве единицы анализа берется слово в определенном лексическом значении.

В основу работы положены гнезда, составленные автором. В качестве дополнительных материалов привлекались данные Грамматики словообразовательных гнезд русского языка, составленной И. В. Альтман, С. С. Белокриницкой, Г. А. Смирновой под ред. П. А. Соболевой и Е. Л. Гинзбурга (сектор структурной лингвистики Ин-та русского языка АН СССР; рукопись), а также данные Словообразовательного словаря А. Н. Тихонова (в печати).

Словообразовательный потенциал слова отражает его словообразовательная парадигма (далее сокращенно: СП) — набор производных, образованных от него и находящихся на одной ступени словопроизводства (см.: Дюрович 1972, Земская 1973, 1978а, 1978б; ср.: Лопатин 1974, Манучарян 1974а, 1974б, 1975; Buzássyová 1974). В дальнейшем мы будем иметь дело не с конкретной СП, а с типовой СП (ТСП), представляющей набор словообразовательных значений, присущий определенной СП, в отвлечении от конкретных способов выражения (см. об этом: Манучарян 1974а, 1974б, 1975; Земская 1978а, 1978б) [3]. Как справедливо отмечает П. А. Соболева (Соболева 1970, 1972), набор «частных словообразовательных значений» (по терминологии П. А. Соболевой, соответствует нашему ТСП) с определенностью предсказывается «категориальным значением» (отглагольные существительные имеют значение 'отношение процесса к субстанции') и не зависим от способа словообразования и словообразовательных средств.

Структура ТСП слов, принадлежащих к определенной части речи, определяется тремя факторами: 1) их лексической семантикой, 2) их словообразовательной семантикой, 3) ступенью словопроизводства. Для выявления специфической роли каждого из этих факторов требуется рассмотреть такие ситуации, когда наблюдается варьирование одного из них при неизменности остальных.

---

[3] Для обозначения данного явления Р. С. Манучарян использует термин не ТСП, а «семантико-словообразовательная парадигма».

I. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ПРОИЗВОДЯЩЕГО СЛОВА И ЕГО ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рассматриваются СП исходных глаголов исследуемых гнезд (т. е. мы имеем различия лексических значений глаголов при тождестве их словообразовательной структуры). Выявляется, как общность и различия в лексической семантике глаголов влияют на их деривационный потенциал.

Установлено, что комплекс словообразовательных значений, выражаемых существительными и прилагательными на базе производящего глагола, определяется актантной структурой этого глагола (Гинзбург 1972а, 1972б, 1978; Апресян 1974, Buzássyová 1974, Соболева 1978, Straková 1978). ТСП глагола представляет «деривационную микроструктуру с закрытым числом элементов» (Дюрович 1972): в частных случаях отдельные валентности могут быть деривационно не выраженными, но невозможно существование производных, значение которых не задано актантной структурой производящего. Так, от глаголов, не имеющих объектной валентности (например: *вибрировать, дрожать*), не образуются существительные, обозначающие объект действия (*ученик, еда*), результат действия (*царапина, укус*), остаток — побочный результат действия (*опилки, стружки*), а также прилагательные со значениями 'такой, который способен подвергаться действию, названному производящим глаголом (Д), или такой, который подвергся Д' (*познаваемый, ощутимый*); 'такой, который подвергнут Д' (*рваный, битый*); 'такой, который доступен Д' (*читабельный*).

Отметим, что существительные выражают валентности производящего глагола более дифференцированно, чем прилагательные. Как у существительных, так и у прилагательных имеются словообразовательные типы, специализированные на дифференцированном выражении валентностей субъекта и объекта; у существительных также — орудия и места действия. У прилагательных же разграничение орудийной и локальной валентности отсутствует, обе они выражаются прилагательными со значением 'такой, который предназначен для Д', суф. *-льн-*, ср., например: *вязальный, плавательный* (см. словообразовательные типы, выделенные в работах: Грамматика 1970, Манучарян 1975).

По нашим наблюдениям, актантная структура производящего глагола предопределяет также образование производных глаголов.

1. Возможности образования глаголов, обозначающих различные направления действия в пространстве, определяются наличием у производящего векторной валентности. Ср., например, глаголы звучания, которые не имеют этой валентности.

2. От глаголов, не имеющих объектной валентности, не образуются глаголы со следующими словообразовательными значениями: а) 'разъединить предмет посредством действия, обозначен-

ного производящим глаголом (Д)' (*перекусить нитку*); б) 'отделить от предмета часть посредством Д' (*откусил кусок от пирога*); в) 'уместить что-либо в каком-либо пространстве в процессе Д' (*упечатать все на одной странице*); г) 'дополнительно увеличить размеры предмета в процессе Д' (*надшить рукава*).

3. Образование определенных подкатегорий дистрибутивных глаголов — субъектные (типа *все переболели*), объектные (*всех перекусал*), локальные (*перележал во всех больницах*) — предполагает наличие у производящих глаголов соответствующих валентностей.

Итак, актантная структура непроизводного глагола представляет решающий фактор для создания на его базе производных трех частей речи — существительных, прилагательных и глаголов. Однако очевидно, что глаголы с тождественной актантной структурой обладают неодинаковыми возможностями выражать свои валентности деривационно. Мы обнаружили следующую закономерность: в пределах одной семантической группы глаголов с тождественной актантной структурой наибольшим деривационным потенциалом обладает глагол, имеющий наименьшее количество семантических и лексических ограничений на замещение своих валентностей. При наличии максимальных ограничений на замещение какой-либо валентности у рассматриваемого глагола (минимальный класс реалий, именуемый одним словом) информация о содержании этой валентности включается в семантику глагола (выражается им самим), и следовательно, не возникает необходимости выражать эту валентность деривационно. Рассмотрим, например, глаголы *кусать*, *бодать*, *лягать*, *брыкать*, с одной стороны, и *царапать*, *цапать*, с другой. У первых имеются максимальные ограничения на замещение валентности орудия — это только соответствующие природные органы субъектов действия (*зубы*, *рога*, *копыта*). Информация о содержании данной валентности является компонентом лексических значений этих глаголов. На синтаксическом уровне это ограничение проявляется в том, что реализация данной валентности возможна лишь при наличии детерминанта у названия орудия действия (невозможно: *собака зубами укусила меня*, но: *я не могу кусать этим зубом*) [4]. Деривационного выражения данная валентность у этих глаголов не получает. У глаголов же *царапать* и *цапать* круг возможных орудий действия очень широк, ограничен он только требованием наличия у реалии определенного свойства — это не только природные органы субъекта (*ногти*, *когти*), но и любой острый предмет. На синтаксическом уровне орудийная валентность этих глаголов не ограничена. В данном случае имеются условия для выражения этой валентности деривационно, что и закреплено узусом (*цапка* — орудие, с помощью которого рыхлят (цапают) землю; *царапка* —

[4] Ср. Арутюнова 1976, 92.

инструмент с острыми зубьями для обдирки коры). Аналогичные явления наблюдаются при сопоставлении глаголов *кивать*, *мигать*, *моргать*, с одной стороны, и *качать*, *махать*, *трясти*, с другой. От первых невозможно образование названий орудия действия, от последних же такие производные образуются (*качели*, *качалка*, *махало*, *махалка*, *трясилка*).

Свобода от ограничений на замещение субъектных и объектных валентностей глагола увеличивает его деривационный потенциал в сфере порождения глаголов. Если производящий глагол имеет достаточно широкий и разнородный круг возможных субъектов и объектов, то возникает тенденция дифференцированно выражать соотнесенность действия с определенными классами его субъектов или объектов. Так, у глагола *кусать* имеется ряд производных, вызванных к жизни именно благодаря широте и разнообразию круга возможных субъектов и объектов данного действия. Например: глаголы *искусать*, *накусать*, *обкусать*, имея тождественное словообразовательное значение — дистрибутивность действия, различаются по содержанию субъектных и объектных валентностей. Первые предполагают только одушевленный объект, последний — только неодушевленный (обычно съедобный предмет). У глагола *искусать* субъектная валентность замещается названиями животных, у *накусать* — названиями насекомых. Сопоставление глаголов *прокусить* и *надкусить* обнаруживает интересный пример того, как неоднородность содержания объектной валентности производящего требует, чтобы одна и та же денотативная ситуация была обозначена двумя производными, различающимися сигнификативно. Так, глаголы *прокусить* и *надкусить* могут обозначать одинаковую степень проникновения действия в объект (т. е. преодоление одинакового пространственного предела), ср.: *прокусил палец до крови* — *надкусил яблоко*. В обоих случаях — факт нарушения целостности поверхностной оболочки предмета (1 — кожный покров пальца, 2 — кожица яблока), однако первый глагол указывает на полноту проявления действия, а второй, напротив, — на его неполноту. У *надкусить*, в отличие от *прокусить*, в объектной позиции не допустимы названия частей тела. Круг объектов глагола *надкусить* ограничен названиями только съедобных предметов, т. е. того, что специально п р е д н а з н а ч е н о для кусания.

Для глаголов, имеющих узкий однородный круг возможных субъектов и объектов действия, не возникает необходимости в подобных дифференциациях, что снижает их деривационный потенциал. Например, глаголы типа *чаёвничать* демонстрируют случай «ультраограничений» на семантическую валентность объекта, вследствие которых данная валентность не может быть выражена ни синтаксически, ни словообразовательно. При имеющихся ограничениях на объектную валентность большей словообразовательной потенцией обладает глагол, предполагающий одушевленный

объект, особенно в том случае, если субъект и объект действия по данному глаголу взаимозаменимы, так как это создает возможность для порождения глагола с взаимно-возвратным значением. Так, глагол *жалить* предполагает одушевленный объект, однако, такого производного не образует, потому что объект данного действия, как правило, не может стать субъектом этого же действия. Ограничение на замещение объектной валентности может проявляться также как ограничение степени распространения действия на объект. Так, глагол *царапать* не дает производных со значениями 'отделить от предмета часть' и 'разъединить предмет'. Этому препятствует имеющаяся в значении глагола информация об ограничении зоны воздействия на объект только поверхностью предмета.

Ограничения на замещение векторной валентности глагола снижают его возможности порождать производные, представляющие модификации пространственной направленности действия. Так, глаголы, обозначающие колебательное движение (*качать*, *шатать* и т. п., см. выше), таких производных не образуют, поскольку информация о содержании данной валентности является компонентом их лексических значений (возвратно-поступательный характер движения).

Наибольшую свободу от ограничений имеет, по-видимому, темпоральная валентность, в связи с чем находится тот факт, что темпоральные модификации являются самыми частотными словообразовательными категориями у русского глагола (после категории «отвлеченное название действия»). Образование хотя бы одной какой-либо темпоральной модификации возможно для подавляющего большинства глаголов.

Итак, на I ступени деривации различия между ТСП глаголов обусловлены различиями в их лексической семантике (количеством актантов и наличием—отсутствием ограничений на их замещение).

II. РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ В МЕХАНИЗМЕ ПОРОЖДЕНИЯ СЛОВ

В качестве производящих рассматриваются члены одного и того же словообразовательного гнезда, находящиеся на одной ступени словопроизводства, относящиеся к одной части речи, но различающиеся словообразовательными значениями. Если у непроизводных глаголов деривационный потенциал предопределяется составом их семантических валентностей, то у производных глаголов I ступени деривации прогнозирующая сила актантной структуры ослабевает, а у глаголов II ступени деривации (и последующих ступеней) она утрачивается полностью. О последнем свидетельствуют следующие факты.

1) Семантические валентности производного глагола I ступени деривации, которых не имеет производящий его глагол, как правило, не получают деривационного выражения. Так, переходные глаголы, образованные от глаголов, обозначающих перемещение субъекта (типа: *перейти улицу, переплыть речку, объехать город*), не порождают названий объекта действия.

2) У глаголов II и последующих ступеней словопроизводства семантические валентности вообще не выражаются деривационно.

3) Различные словообразовательные категории глаголов с тождественной актантной структурой имеют неодинаковые возможности выражать свои валентности деривационно. Как показывает материал, наиболее высоки эти возможности у глаголов, представляющих пространственные модификации действия и достижение результата действия. Глаголам же, обозначающим а) темпоральные, б) количественные, в) дистрибутивные модификации действия, деривационная реализация семантических валентностей не свойственна. Наряду с этим наблюдается следующий факт: глаголы, объединяемые тождеством словообразовательного значения, характеризуются и тождеством возможных ТСП. Например, глаголы с взаимно-возвратным значением порождаются только глаголами, обозначающими дистрибутивность действия (*петухи переклевались ← переклевать всех*), и не могут быть образованы от пространственных модификаций действия. Последние же, напротив, дают производные со значениями 'результат действия', 'остаток', которые невозможны для дистрибутивных модификаций действия.

Наибольшим деривационным потенциалом обладают пространственные модификации действия. Они способны реализовать деривационно все свои семантические валентности, кроме векторной (которая не реализуется в силу того, что информация о ее содержании выражается в данном случае самим глаголом). К пространственным модификациям действия восходит основная масса названий субъектов и орудий действия, образованных от производных глаголов (по данным Словаря современного русского литературного языка АН СССР в 17-ти томах). Отметим, однако, что пространственные модификации не образуют названий лица по склонности к действию (существительные с суф. *-ун* или *-ак(а)*; как правило, они дают названия лица по профессии. Объектная валентность этих глаголов транспонируется в производные существительные со значениями 'результат действия' (*надкус*), 'остаток' (*обрезки*), в глаголы со значением дистрибутивности (*повыцарапать*) и в прилагательные со значением 'такой, который способен подвергаться Д или такой, который подвергается Д' (*передвижные перегородки*). Локальная валентность (вообще у всех производных глаголов) реализуется редко, так как, по-видимому, существует тенденция именовать место действия по общему обозначению этого

действия (т. е. непроизводным глаголом), а не по его модификациям.

Среди производных существительных наибольшим деривационным потенциалом обладают названия субъекта действия. Они могут порождать слова 9-ти словообразовательных категорий: 1) женскость; 2) уменьшительность; 3) увеличительность; 4) субъективная оценка; 5) собирательность; 6) название деятельности; 7) название неврослого представителя профессии; 8) 'действовать так, как свойственно субъекту, обозначенному производящим словом'; 9) признак, имеющий отношение к тому или свойственный тому, что названо производящим словом. Кроме этого, названия субъекта выступают в роли семантически мотивирующих для наречий типа *по-учительски* (см.: Земская 1965, Ермакова 1972). Названия орудия допускают образование 4-х словообразовательных категорий: 1) уменьшительности; 2) увеличительности; 3) действия посредством орудия, обозначенного производящим словом; 4) признака, имеющего отношение к тому, что названо производящим словом. Названия результата, остатка и места действия способны порождать лишь две словообразовательные категории: 1) уменьшительности; 2) признака, имеющего отношение к тому, что названо производящим словом. Названия отвлеченного действия в роли производящих, как отмечено О. П. Ермаковой (Ермакова 1972, 1976), ведут себя своеобразно: структурно от них возможно образование существительных со значением субъекта действия (*распиловщик*, *литейщик*), прилагательных со значениями 'предназначенный для действия', 'относящийся к действию' (*развесочный*, *подвесочный*) и наречий типа: *в роспуск*, *в подборку*, *в складку* [5], однако, являясь синтаксическими дериватами, названия отвлеченного действия не способны мотивировать свои структурные производные семантически, эту роль выполняют производящие их глаголы.

Среди отглагольных прилагательных наибольшей деривационной активностью обладают те, которые характеризуют субъект действия, в особенности прилагательные со значением 'такой, который склонен к Д' (типа *кусачий*, *брыкливый*, *цапкий*, *задиристый*). Так, для последних возможно порождение слов четырех словообразовательных категорий: названия отвлеченного признака, названия носителя признака (*кусачка*), наречия на *-о*, наречия типа *по-брыкливому* (последние не отмечены в словарях, однако свободно создаются в разговорной речи). Прилагательные со значением 'такой, который способен подвергаться Д или такой, который подвергается Д' (*познаваемый*, *ощутимый*), как правило, образуют лишь названия отвлеченного признака и наречия на *-о*; прилагательные со значением 'такой, который подвергнут Д' — названия носителя признака (*рваный* → *рванина*, *коп-*

[5] Примеры О. П. Ермаковой.

ченый → копчушка); прилагательные со значением 'такой, который легко доступен Д' (*читабельный*) — названия отвлеченного признака. Прилагательные, характеризующие средство действия, порождают только названия носителя признака (*купальный → купальник, кипятильный → кипятильник*).

Итак, для отглагольных производных всех частей речи характерна такая закономерность: структура ТСП производного слова предопределяется словообразовательным значением этого слова.

Деривационные возможности производного слова, допускаемые его словообразовательным значением, имеют ограничения со стороны лексической семантики этого слова. Как показывает О. Н. Ермакова (Ермакова 1977), производное имя способно порождать слова той же части речи, от которой оно само образовано (типа: *учить→учитель→учительствовать, цапать → цапка→ цапковать*), лишь в том случае, если имеет фразеологичную семантику. Причина этого — смысловой круг (совпадение смыслов), возникающий в противном случае в словообразовательной цепи, который, как правило, в языке избегается, ср.: *грубить→грубиян→грубиянить*, где *грубить=грубиянить*. О. П. Ермакова показывает также, что производные, обладающие фразеологичностью семантики, вообще «охотнее» участвуют в словопроизводстве, чем производные с нефразеологичной семантикой [6].

Если же словообразовательная цепь представлена только глаголами, наблюдается закономерность иного рода. Отсутствие фразеологичности семантики у отглагольных глаголов (что характерно для основной массы таких производных) не препятствует их участию в словопроизводстве. Реализуемость—нереализуемость деривационных возможностей производного глагола, заданных его словообразовательным значением, регулируется семантикой исходного (непроизводного) глагола. Так, словообразовательные значения, представляющие пространственные модификации действия, как уже отмечалось, допускают образование названий результата и остатка. Однако для глаголов типа *откачнуть, отшатнуть, отмахнуть* такие производные невозможны, поскольку производящие их глаголы обозначают действия, в процессе которых не возникает новых субстанций, которые могли бы быть рассмотрены как результат (или побочный результат — остаток) данных действий (ср.: *обкусок, отрез, опилки*).

III. СТУПЕНЬ СЛОВОПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВА

Зависимость порождающей способности слова от ступени словопроизводства обнаруживается в следующем.

---

[6] Это положение Е. Л. Гинзбург высказывает в 1972 г. как гипотезу, не употребляя термина «фразеологичность семантики» (Гинзбург 1972б).

1. Чем дальше находится слово от исходного члена гнезда, тем меньше его деривационный потенциал, т. е. тем уже его ТСП (см.: Соболева 1958, Альтман 1972, Гинзбург 1973, Манучарян 1975, Земская 1978б, ср.: Милославский 1978).

2. По мере удаления от вершины гнезда используются все более и более регулярные и продуктивные словообразовательные конструкции. Производные, оформленные нестандартными словообразовательными средствами, например, аффиксами типа *-сня* (*песня*), *-их* (*жених*), *-адья* (*попадья*) находятся на начальной ступени словопроизводства (см.: Гинзбург 1973).

3. Имеются словообразовательные значения, возможные лишь на определенных ступенях словопроизводства. Так, названия субъекта, объекта, орудия, результата, остатка порождаются лишь на первых двух ступенях, а наречия типа *по-учительски*, как отмечает О. П. Ермакова (Ермакова 1972), возможны лишь на единственной ступени — на последней в словообразовательной цепи, состоящей как минимум из двух тактов деривации.

В результате исследования структуры ТСП слов, имеющих тождественное словообразовательное значение, но относящихся к различным ступеням словопроизводства, обнаружилось следующее: степень зависимости деривационного потенциала слова от ступени словопроизводства определяется тем, к какой части речи это слово относится. Производные существительные испытывают эту зависимость в меньшей степени, чем глаголы. Так, одинаковым деривационным потенциалом обладают названия субъекта, названия орудия, образованные от непроизводных глаголов, и те же словообразовательные категории, восходящие к пространственным модификациям действия, т. е. находящиеся на II ступени словопроизводства. Названия отвлеченного действия и отвлеченного признака, а также производные с модификационными значениями одинаково пассивны на всех ступенях словопроизводства. Влияние же ступени деривации на порождающую способность производного существительного проявляется в следующем: установлено, что по мере удаления от I ступени словопроизводства увеличивается компактность гнезда, т. е. возрастает число производных с нефразеологичной семантикой (Альтман 1972, Гинзбург 1973, 1978), а отсутствие фразеологичности семантики у производного имени, как говорилось выше, препятствует реализации его деривационных возможностей.

Глаголы с тождественным словообразовательным значением, но относящиеся к различным ступеням деривации, обладают неодинаковыми порождающими возможностями. Например, пространственные модификации действия, относящиеся к I ступени словопроизводства, как отмечалось, имеют богатую ТСП, а пространственные модификации, образованные от однократных глаголов, т. е. находящиеся на II ступени, словообразовательно пассивны. Дистрибутивные глаголы I ступени словопроизводства

дают производные с взаимно-возвратным значением; глаголы с этим же словообразовательным значением, но относящиеся ко II ступени (типа *повыцарапать*, *повыклевать*), таких производных не образуют.

Ступень словопроизводства может быть охарактеризована с точки зрения объема представленных модификаций исходного глагола гнезда. Проанализированный материал показывает: если по количеству «семантических мест» наиболее богата всегда I ступень деривации, то по количеству конкретных модификаций исходного глагола гнезда самой богатой может быть и II ступень. Данное явление характерно для десяти из тридцати рассмотренных словообразовательных гнезд [7]. Наблюдается оно преимущественно в гнездах тех глаголов, которые на I ступени деривации проявляют наиболее высокую для соответствующей группы словообразовательную активность. Так, глагол *трясти* на I ступени имеет 27 производных, на II — 39, *качать* соответственно — 16 и 23; *шатать* — 13 и 18 [8]. III же ступень деривации в таких гнездах по объему представленных производных уступает как II, так и I ступеням, т. е. II ступень, несмотря на большой объем производных, обладает низким деривационным потенциалом. Объясняется это следующим: значительную часть членов II ступени составляют словообразовательные категории, которые всегда деривационно пассивны (например, названия отвлеченного действия, отвлеченного признака, существительные с модификационными значениями), а те словообразовательные категории, которые на I ступени проявляли деривационную активность (например, названия субъекта, пространственные модификации действия), на II ступени ее утрачивают, поскольку вступают в действие ограничения со стороны ступени деривации: деривационный потенциал существительных снижается за счет возрастания компактности гнезда, глаголы же не способны реализовать свои семантические валентности (см. об этом выше).

Сопоставление объема производных у исследуемых глаголов на всех ступенях деривации свидетельствует о существовании следующей тенденции: глагол, проявляющий на I ступени деривации наибольшую в пределах определенной семантической группы словообразовательную активность (в группах это: *кусать*, *трясти*), сохраняет ее и на всех последующих ступенях. Это позволяет сделать вывод о доминирующей роли лексической семантики исходного глагола для объема гнезда.

Итак, в отглагольном гнезде порождающая способность слова определенной части речи зависит от трех факторов: от лексической семантики, от словообразовательной семантики и от ступени слово-

[7] В остальных двадцати гнездах — последовательное (от ступени к ступени) уменьшение объема производных.

[8] Имперфективированные глаголы не учитываются.

производства, причем первый фактор предстает в трех разновидностях: 1) как набор семантических актантов глагола, 2) как лексические ограничения на их замещение, 3) как наличие фразеологичности в семантике производного слова. Максимальные (предельные) словообразовательные возможности у исходного глагола гнезда определяются его актантной структурой, у производного члена гнезда — его словообразовательным значением. Поскольку же словообразовательное значение отглагольного производного предопределено актантной структурой производящего его глагола (является отражением одной из его семантических валентностей) и, в свою очередь, предопределяет словообразовательные значения слов, порождаемых этим производным, можно сделать следующий вывод: актантная структура исходного глагола гнезда является центральным понятием при определении максимальных деривационных возможностей любого члена гнезда. Реализуемость же этих возможностей у определенного слова регулируется тремя факторами: 1) наличием—отсутствием ограничений на замещение семантических валентностей исходного глагола гнезда, 2) наличием—отсутствием фразеологичности в семантике этого слова, 3) ступенью деривации.

ЛИТЕРАТУРА

Альтман И. В. Особенности отглагольных гнезд в русском языке. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., Наука, 1972.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка). М., Наука, 1974.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., Наука, 1976.

Бакина М. А. Имена прилагательные как производящие основы современного словообразования. — В кн.: Развитие словообразования современного русского языка. М., Наука, 1966.

Белокриницкая С. С. Классификация словообразовательных гнезд от непроизводных существительных в русском языке. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., Наука, 1972.

Гинзбург Е. Л. Исследование гнезд сложных слов в русском языке на базе аппликативной грамматики. — Автореф. канд. дис. М., 1967.

Гинзбург Е. Л. О словообразовательном значении. — Československá rusistika, XVII, 4, 1972а.

Гинзбург Е. Л. Синтаксическая и лексическая деривация. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Самарканд, 1972б.

Гинзбург Е. Л. Исследование структуры словообразовательных гнезд. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973.

Гинзбург Е. Л. Одноименность однокоренных производных. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1976. М., Наука, 1978.

Грамматика современного русского литературного языка. М., Наука, 1970 (раздел «Словообразование»).

Даниленко В. П. Имена собственные как производящие основы современного русского словообразования. — В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., Наука, 1964.

Даниленко В. П. Имена существительные (нарицательные) как производящие основы современного словообразования. — Там же.

Дюрович Л. Относительное прилагательное в славянских языках. — In: The Slavic word. The Hague—Paris, Mouton, 1972.

Ермакова О. П. О некоторых закономерностях в расщеплении структурной и семантической мотивации производного слова. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Самарканд, 1972.

Ермакова О. П. Расхождение формальной и семантической производности. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1976.

Ермакова О. П. Проблемы лексической семантики производных и членимых слов. — Докт. дис. М., 1977.

Земская Е. А. Заметки по современному русскому словообразованию. — ВЯ, 1965 № 3.

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. М., Просвещение, 1973.

Земская Е. А. О парадигматических отношениях в словообразовании. — В кн.: Русский язык: вопросы его истории и современного состояния (Виноградовские чтения I—VIII). М., Наука, 1978а.

Земская Е. А. О комплексных единицах системы синхронного словообразования. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1978б.

Лопатин В. В. Словообразование как объект грамматического описания. — В кн.: Грамматическое описание славянских языков. М., 1974.

Манучарян Р. С. Некоторые вопросы сопоставления словообразовательных категорий. — В кн.: Проблемы семантики. М., Наука, 1974а.

Манучарян Р. С. Словообразовательные значения и словообразовательные категории. — Вестн. общественных наук АН Арм. ССР, 1974б.

Манучарян Р. С. Проблемы исследования словообразовательных значений и средств их выражения. — Докт. дис. Ереван, 1975.

Милославский И. Г. О словообразовательных ограничениях сочетаемости морфем. — В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1978.

Соболева П. А. Критерий внутренней (или семантической) производности при словообразовательных отношениях по конверсии. — Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, фак-т ин. яз., вып. 2, 1958.

Соболева П. А. Исследование словообразовательной системы на основе аппликативной порождающей модели. — В кн.: Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Тарту, 1967.

Соболева П. А. Аппликативная грамматика и моделирование словообразования. — Докт. дис. М., 1970.

Соболева П. А. Моделирование словообразования. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., Наука, 1972.

Соболева П. А. Словообразование. — В кн.: Обзор работ по современному русскому языку за 1970—1973 гг. М., 1978, с. 16—27.

Супрун А. Е. Числительные как база для образования новых слов. — В кн.: Вопросы словообразования и фразеологии. Фрунзе, 1962.

Тихонов А. Н. Формально-семантические отношения слов в словообразовательном гнезде. — Докт. дис. М., 1974.

Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., Наука, 1977.

Buzássyová K. Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava, 1974.

Straková V. Slovotvorná relevance syntaktických a sémantických rysu (Nástin klasifikace ruských sloves). — Československá rusistika, XXIII, 1978, 2.

Е. Л. ГИНЗБУРГ

КОМПАКТНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА

Разнообразные пути изучения словообразовательного гнезда [1], или С-гнезда, объединяют некоторые предположения.

Предположение 1′. Ничто среди собственно словообразовательных свойств однокоренных не мешает им иметь в терминах категорий производных идентичный деривационный потенциал. Если бы не лексика, С-гнезда были бы одинаковы по составу деривационных категорий и в принципе бесконечны. Но если отношение производности считать частным случаем отношения маркированности (Гинзбург 1973), то конечность С-гнезда может быть объяснена так.

Предположение 1″. Деривационный потенциал компонентов С-гнезда *A*, *B* и *C*, описываемый в терминах категорий производных, может быть каким угодно и даже одинаковым, но если *A* содержит производящее для единиц, принадлежащих *B* и *C*, то и для *B*, и для *C* он — лишь часть деривационного потенциала *A*, отличная от него. Деривационный потенциал *B* и *C* может совпадать. И если подобная ситуация отсутствует, то это объясняется вновь только сопротивлением лексического материала и особенностями его организации: синонимией, антонимией, гипонимией, конверсией, омонимией, лексико-тематической организацией.

Предположение 2. Любые компоненты *B* и *C* любого С-гнезда, содержащие равнопроизводные от единицы, которая принадлежит компоненту *A* из того же С-гнезда, по «энергии» словообразовательной связи с *A* одинаковы.

Оба предположения противоречат свидетельствам неоднородности С-гнезд, в частности описываемым ниже двум ее феноменам — во-первых, отношениям функциональной сопряженности деривационных категорий производных и принудительной связи словообразовательных моделей; во-вторых, количественному неравноправию категорий производных в словообразовательной системе, в словообразовательном ряду и в словообразовательном гнезде. Идеализация этих характеристик С-гнезда приводит к определению таких С-гнезд, которые обладают рядом интересных свойств. Среди них наличие у С-гнезда программы, допускающей

[1] Словообразовательное гнездо — словообразовательная структура хотя бы одной совокупности однокоренных лексических единиц данного языка, характеризуемая внутренне — 1) наором деривационных категорий, которым принадлежат однокоренные, и 2) отношениями между ними, в частности упорядоченностью в соответствии с деривационной историей однокоренных; вне шне — местом в системе ей подобных.

линейную запись. Это делает его модельным объектом для изучения преобразований С-гнезд и условий, нарушения которых определяют переход от регулярных С-гнезд к нерегулярным (Гинзбург 1973).

I ОТНОШЕНИЯ СОПРЯЖЕННОСТИ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ГНЕЗДЕ

0. Наряду с бинарными отношениями производности на членах лексического гнезда (Гинзбург 1978) определены также в общем случае n-арные словообразовательные отношения принудительной связи, ср. Винокур 1940.

1. Будем различать среди них отношения принудительной связи 1) между деривационными категориями производных и 2) между их словообразовательными моделями. Первые будем называть отношениями сопряженности.

Деривационная категория A (односторонне) сопряжена с деривационной категорией $Б$ ($A \rightarrow Б$), если для всякого слова из A найдется слово из $Б$ и из того же самого лексического гнезда, не связанное с первым отношениями производности (Гинзбург 1979). Если одновременно $A \rightarrow Б$ и $Б \rightarrow A$, то A и $Б$ двусторонне сопряжены, $A \leftrightarrow Б$. Если однокоренные a (c) и b (c), производные от c, таковы, что $a \in A$, $b \in B$ и $A \rightarrow Б$, то a связано с c слабее, чем b с c; иначе говоря, для того, чтобы С-гнезду принадлежал представитель категории A, там уже должен быть однокоренной представитель категории $Б$.

Интерес к подобным отношениям вызван возможностью рассматривать их в качестве требований к С-гнездам как членам системы С-гнезд, как ее аксиоматику на данном категориальном уровне анализа.

Подобные отношения были описаны впервые для совокупности лексических гнезд, содержащих композиты на Ø типа *солевар* (Гинзбург 1967). Пример безусловной односторонней сопряженности: там, где есть существительное от отсубстантивного существительного R^3_2O, там есть и отсубстантивное прилагательное второго такта R_3R_2O, $R^3_2O \rightarrow R_3R_2O$, см. табл. 1. Для того же корпуса лексических гнезд могут быть сформулированы еще и правила условной сопряженности. Так, для лексических гнезд с производными глаголами, существительными, прилагательными и наречиями эти соотношения, используя метаязык аппликативной грамматики, можно было бы описать так:

1. $R_1R_2O \leftrightarrow R_3R_2O{=}R_1X \leftrightarrow R_3X|X{=}R_2O.$

Если есть отсубстантивный глагол, то есть и отсубстантивное прилагательное того же II такта, и обратно.

2.1. $R^2_2O \rightarrow R_1R_2O \vee R_3R_2O{=}R_2X \rightarrow R_1X \vee R_3X|X{=}R_2O.$

Таблица 1

R-слова	R-гнезда																									
	1	3	4	5	2	7	6	10	12	13	14	17	20	11	19	8	9	16	15	18	21	22	23	24	25	26
R_2O	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
R_1R_2O				+		+	+	+				+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
R_1R_2O		+			+		+		+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
R_3R_2O			+		+	+		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
$R_1R_1R_2O$												+						+	+	+		+	+	+	+	+
$R_2R_1R_2O$								+				+					+		+	+		+	+			
$R_2R_3R_2O$										+	+															
$R_3R_3R_2O$									+		+			+	+						+	+				
$R_4R_3R_2O$													+		+					+	+					
$R_1R_1R_1R_2O$																						+	+	+	+	+

Если есть отсубстантивное существительное, то есть и отсубстантивный предикат, глагол или прилагательное того же II такта деривации.

2.2. $R_2R_1R_2O \rightarrow R_3R_2O{=}R_2R_1X \rightarrow R_3X|X{=}R_2O$.

Замечание. 2.2. выводимо в силу 1. и правила, утверждающего, что имеет место $R_iR_jX \rightarrow R_jX$.

2.3. $R_2R_3R_2O \rightarrow R_2R_1R_2O{=}R_2R_3X \rightarrow R_3R_1X|X{=}R_2O$.

Замечание. В силу 1., ср., однако, 2.2.

2.4. $R_2R_3R_2O \rightarrow R_2R_2O{=}R_2R_3X \rightarrow R_2X|X{=}R_2O$.

Если в С-гнезде есть существительное III такта от прилагательного-десубстантива, то там есть и существительное II такта от первообразного существительного. Замечание. Ср. 1. и 2.1.

2.5. $R_2R_3R_2O \rightarrow R_i^jR_1R_2O$, $i{=}1, 2{=}R_2R_3X \rightarrow R_i^jR_1X|X{=}R_2O$, $i{=}1,2$.

Если в С-гнезде есть существительное III такта от прилагательного-десубстантива, то там есть десубстантивы-глаголы IV и III тактов.

2.6. $R_i^jR_1R_2O \rightarrow R_2R_2O$, $i{=}1, 2{=}R_i^jR_1X \rightarrow R_3X/X{=}R_2O$, $i{=}1,2$.

Замечание. В силу 1.

2.7. $R_i^jR_1R_2O \rightarrow R_2R_2O$, $i{=}1,2{=}R_i^jR_1X \rightarrow R_2X|X{=}R_2O$, $i{=}1,2$.

Если в С-гнезде с первообразным существительным есть глагол IV или III такта, связанный с первообразным только цепочкой глаголов, то в том же С-гнезде есть и существительное II такта от первообразного прилагательного.

Замечание. Ср. с 2.1., где $R_2R_2O \rightarrow R_1R_2O$, учитывая, что $R_i^jR_1R_1O \rightarrow R_1R_2O$, $i{=}1,2$.

Категории равнопроизводных могут быть связаны отношениями как двусторонней (1.), так и односторонней сопряженности (2.1., 2.3., 2.5.). Категории производных, не являющихся равнопроизводными, связаны отношениями односторонней сопряженности (2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7.). 2.1. предполагает, что с «первообразными» существительными теснее связаны производные от них глаголы и прилагательные, а не существительные. 2.3. и 2.5. фиксируют, что для существования производного существительного от отсубстантивного прилагательного необходимо наличие в С-гнезде существительного или глагола, производного от отсубстантивного глагола; иначе говоря, реализация деривационного потенциала второобразного глагола является условием реализации *более бедного деривационного потенциала второобразного* прилагательного. С этой точки зрения глагол II такта теснее связан с первообразным, чем равнопроизводное прилагательное. Любопытно в этой связи, что подгнездо с вершиной прилагательным беднее, чем подгнездо с вершиной глаголом.

2. Выше правила сопряженности производных фиксировались на категориальном уровне описания словообразовательной системы. Естественно думать, что существует и сопряжение слово-

образовательных моделей. В целях разграничения уровней анализа только за этими фактами мы будем сохранять далее термин принудительная связь. Понятно также, что разнообразие соответствующих правил будет в этом случае беднее, ограниченнее.[1]

Отглагольные прилагательные на *-овальный/-евальный*, предполагают существительные на *-ение*: *вышивать—вышивание—вышивальный*, *полировать—полирование—полировальный* или на *-ка*: *копировать—копировальный—копировка*, *рихтовать—рихтовальный—рихтовка*, ср. также при чресступенчатой деривации, т. е. при отсутствии глагола: *дождь—дождевальный—дождевание* или *ретушь—ретушевальный—ретушевка*. Можно думать, что с производящим глаголом теснее связано не прилагательное, а существительное. Подтверждение этому можно было бы видеть в большем разнообразии их словообразовательных моделей.

С производящими на *-изм* аналогично связаны производные на *-ист* и *-истский/-истический*: *футуризм—футурист—футуристический/футуристский*, *букинизм—букинист—букинистический/букинистский*, ср. *снобизм—сноб—снобистский/*снобистический*, *меньшевизм—меньшевик—меньшевистский/*меньшевистический*. О ведущем характере прилагательного говорит также морфонологический состав форманта *-истский*, частично совпадающий с морфонологическим составом форманта *-ист*.

Упомянем еще связи между равнопроизводными от глагола — прилагательным на *-очный* и более тесно связанным с глаголом существительным, обычно на *-ка*: *варить—варочный—варка*, *трелевать—трелевочный—трелевка*, реже на *-ание/-ение*: *премировать—премировочный—премирование* при **премировка*, *проявить проявочный—проявление* при *?проявка*. С существительным на *-ка* связано существительное на *-(ов)щик*: *варщик*, *трелевщик*, *заявщик*. С *-ение* сопряжен *-тель*: *заявить—заявление—заявитель*. Эти соотношения верны и для случая чресступенчатого словопроизводства: *драже—дражировочный—дражирование*, *дражировка*, *дражировщик*. Хотя с прилагательным на *-очный* сопряжены существительные и на *-ка*, и на *-ение*, ведущей связью должно признать связь, которую маркируют девербативы на *-ка*.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ И ПРОИЗВОДЯЩИХ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ

1. «Если рассматривать слово как источник порождения, то наибольшей порождающей способностью в русском языке обладает глагол. . . На втором месте стоит существительное. ., на третьем — прилагательное. . , и на последнем месте — наречие. . . Если рассматривать слово как результат порождения, то наибольшим разнообразием структурных типов обладает существительное, затем прилагательное, потом наречие и наконец глагол» (Собо-

лева 1970). Но к тому же приводит и изучение текстов. Если производные из английских текстов общим объемом в 2,5 словоупотреблений сгруппировать по способам словопроизводства и частям речи, то окажется, что в сфере суффиксации их разнообразие падает от существительного к глаголу, а в сфере префиксации — от глагола к существительному (Леонтьева 1976, 8).

2. Перейдем от словообразовательной системы в целом к таким ее составляющим как словообразовательные ряды (каждый из них — множество деривационных структур производных одной и той же части речи, в составе которых обнаруживаем один и тот же формант. — Соболева 1970). Словообразовательный ряд слов на *-ец* включает производные от прилагательных — четыре деривационных, или R-структуры; от глаголов — две R-стуктуры и от существительных — пять R-структур; категории производящих упорядочены от N к V —N > A > V.

$R_2R_2R_j^iO$		$R_2R_3R_j^iO$		$R_2R_1R_j^iO$	
R_2^2O	*кавказец*	R_2R_3O	*гордец*	R_2R_1O	*борец*
$R_2^2R_1O$	*пораженец*	$R_2R_3R_2O$	*счастливец*	$R_2R_1R_1O$	*пришелец*
$R_2^2R_1^2O$	*выдвиженец*	$R_2R_3R_1O$	*отверженец*		
$R_2^2R_1R_3O$	*упрощенец*	$R_2R_3R_1^2O$	*оборванец*		
$R_2^2R_1^2R_2O$	*примиренец*				

Иную систему приоритетов для категорий производящих обнаруживают существительные на *-ина*; наибольшим разнообразием R-структур характеризуются производные от глагола, наименьшим — производные от существительных. В некотором смысле этот случай зеркален предыдущему:

$R_2R_2R_j^iO$		$R_2R_3R_j^iO$		$R_2R_1R_j^iO$	
R_2^2O	*бусина*	R_2R_3O	*вышина*	R_2R_1O	*царапина*
	домина	$R_2R_3R_1O$	*крашенина*	$R_2R_1R_2O$	*испарина*
		$R_2R_3R_2O$	*рогатина*	$R_2R_1R_1O$	*впадина*
				$R_2R_1R_1R_1O$	*изгибина*

3. Та же неравномерность в распределении производных и производящих по частям речи обнаруживается и в С-гнездах.

R_1O ***Хохотать*** R_1^2O *захохотать, нахохотаться, обхохотаться, похохотать, расхохотаться* R_2R_1O *Хохот, хохоток, хохотня, хохотун* $R_2^2R_1O$ *хохотунья, хохотуша, хохотушка* R_3R_1O *Хохотливый.*

R_1O ***Говорить*** R_1^2O *говаривать, говориться* R_2R_1O *Говор, говорок, говорение, говорун, говорильня* $R_2^2R_1O$ *говорунья* $R_2R_3R_1O$ *говорливость* R_3R_1O *Говорливый.*

R_1O ***Беречь*** R_1^2O *беречься, оберечь/оберегать, приберечь/приберегать, сберечь/сберегать, уберечь/уберегать* R_1^3O *оберегаться, приберегаться, уберечься/уберегаться* R_3R_1O *Бережливый, бережный, небрежный* $R_3R_1^2O$ *сберегательный* $R_2R_1^2O$ *Сбережения* $R_2R_3R_1O$ *бережливость, небрежность, бережность.*

Сопоставим результаты:

	Производящие	Производные
Хохотать	V > N > A	N > V, A
Говорить	V > N, A	N > V, A
Беречь	V > A > N	N, V > A

С-гнезда с первообразным именем существительным.

R_2O ***Буржуа***, *буржуазия* R_2^2O *буржуй* R_3^3O *буржуйка* $R_2R_3R_2O$ *буржуазность* R_1R_2O, $R_1^2R_3R_2O$ *Обуржуазиться* $R_1^2R_2O$, $R_1^2R_3R_2O$ *буржуазить* R_3R_2O *Буржуазный* $R_3R_2^2O$ *буржуйский*.

R_2O ***Виртуоз*** R_2R_2O *виртуозка* $R_2R_3R_2O$ *виртуозность* R_1R_2O *Виртуозничать* R_3R_2O *Виртуозный*.

R_2O ***Нахал*** R_2R_2O *нахалка* $R_2R_3R_2O$ *нахальность, нахальство* $R_2R_1R_2O$ *нахальничанье* R_3R_2O *Нахальный* R_1R_2O *Нахальничать, нахальствовать*.

Сопоставим результаты:

	Производящие	Производные
Буржуа	N > A, V	N, V > A
Виртуоз	N, A > V	N > V, A
Нахал	N > A, V	N > V, A

В рассматриваемых С-гнездах среди производных доминируют существительные, только в ***Буржуа*** они столь же часты, как и производные глаголы. Ни разу по разнообразию деривационных категорий прилагательные не сравнялись с существительными. Все «порядки» категорий производных слов в С-гнездах от глаголов бывают и в С-гнездах от существительных, обратное, однако, неверно.

Сопоставим С-гнезда с синонимами *вьюга, буран, пурга*.

R_2O ***Вьюга*** R_1R_2O *Вьюжить* $R_1^2R_2O$ *Завьюжить* R_3R_2O *Вьюжный, вьюжистый, вьюжливый*.

R_2O ***Пурга*** R_3R_2O *Пуржистый*.

R_2O ***Буран*** R_3R_2O *Буранный*.

Отметим, что 1) С-гнезда с первообразными-синонимами не совпадают ни по категориям производных, ни по интенсивности представительства категорий, являющихся общими; 2) С-гнезда с *буран* и *пурга* — вырождения С-гнезда с *вьюга* и это согласуется с восприятием слов *буран* и *пурга* как интенсивов от *вьюга*; 3) в С-гнезде с *вьюга*: а) категории производящих по категориальному деривационному потенциалу упорядочены так, что N > V > A; б) интенсивность представительства деривационной категории R_3R_2O, обладающей меньшим деривационным потенциалом по сравнению с R_1R_2O, больше, чем у нее.

Для синонимов *антракт* (R_2O *Антракт* R_3R_2O *Антрактный, антрактовый*), *интервал* (R_2O *Интервал*), *пауза* (R_2O *Пауза* R_3^3O *паузник* R_3R_2O *Паузный*) различия категориальных деривационных потенциалов достаточны для выражения лидерства лексемы *пауза* и отделимости синонимов друг от друга.

4. Итак, производные, как и производящие, в словообразовательной системе в целом, в словообразовательном ряду, в лекси-

ческом гнезде распределяются по частям речи и деривационным категориям частей речи неравномерно. В лексических гнездах и словообразовательных рядах неравномерно распределены по частям речи и сами деривационные категории.

Есть ли собственно словообразовательные основания для этой категориальной неравномерности? Можно ли объяснить ее, исходя из свойств отношения производности, известных в настоящее время? По крайней мере, это неясно. Природа отношений производности определяет только неравноправие производящего и производного. Если бы словообразовательную структуру лексического гнезда определяли только отношения производности, категориальная неравномерность собственно словообразовательно была бы ограничена осью «производящее — производное». Различия равнопроизводных, единиц, возводимых к одному и тому же производящему, по деривационному потенциалу, объяснить в рамках такого подхода можно было бы (как кажется, весьма искусственно) допущением многосортности отношений производности: одно от другого может отличаться ограничениями на деривационный потенциал производного. В таком автономном объяснении плохо то, что однородные факты, утверждающие категориальную асимметрию равнопроизводных, одни — количественный ее аспект, другие — качественный, получают разную интерпретацию, что малоестественно.

Но если словообразовательную структуру лексического гнезда отношения производности, одного или нескольких сортов безразлично, определяют не полностью, но одновременно с иными отношениями между однокоренными, соответствующими деривационными категориями или словообразовательными моделями, то категориальная неравномерность по оси равнопроизводных могла бы быть словообразовательно неслучайной, обусловленной теми особенностями этих иных словообразовательных отношений, которые отношениям производности чужды.

Из числа известных таковы отношения сопряженности деривационных категорий и принудительные связи словообразовательных моделей. В противоположность отношениям производности они определяют нелинейность С-гнезда, упорядоченность отношений производности по старшинству, дифференцируют их по силе сцепления производящего и производного; в каждой инстанции этих отношений один ее член — необходимое условие для существования с ним другого, того же или отличного от него такта деривации. Такие отношения в общем случае нетранзитивны и главное асимметричны. Одно из выражений этого свойства обсуждаемых отношений — асимметрия деривационных потенциалов равнопроизводных, бóльшие ограничения на деривационный потенциал контекстно-обусловленного члена этих отношений. И еще одна важная их особенность — общезначимость, нелокальность. Поэтому их выполнимость определяет «меру» системности С-гнезда.

Один из возможных подходов к изучению принципов устройства и интегральных свойств С-гнезд per se состоял бы в построении идеализированного лингвистического объекта — модели С-гнезда, которая отвечала бы как существующим представлениям о его компонентах и отношениях между ними, так и приведенным эмпирическим характеристикам их особенностей. Она призвана показать все характеристики С-гнезда в единстве, обеспечить систематическое описание мыслимого разнообразия соответствующих конструкций и свойств каждой из них, наконец, очертить и проанализировать возможные переходы к тем словообразовательным структурам лексических гнезд, которые относительно рассматриваемых характеристик однокоренных и словообразовательных связей между ними не являются завершенными.

II
ПОНЯТИЕ КОМПАКТНОГО С-ГНЕЗДА

1. Решение поставленной задачи предполагает уточнение ряда лингвистических понятий, таких, как деривационная категория или С-гнездо.

Дф. 1. 1. 0 — деривационная категория ранга ноль, $p=0$.

2. Если K^p — деривационная категория ранга p, $p \geqslant 0$, R_iK^p, $1 \leqslant i \leqslant n$, $n \geqslant 2$, является деривационной категорией ранга $p+1$.

Деривационная категория является универсальной при $p=0$ и атомарной при $p=1$.

Дф. 2. Множество $r_i = (R_iK^p_j)_{j=1}^n$ всех деривационных категорий ранга от 1 до p, таких, что для всех индекс i, $1 \leqslant i \leqslant n$, $n \geqslant 2$, у начального R в R_iK^p один и тот же, назовем (фундаментальной) категорией.

Любую деривационную категорию $K^p_j \in r_i$ и любое теоретико-множественное объединение $K^p_{j_i} \cup K^p_{j_k}$ деривационных категорий $K^p_{j_i} \in r_i$ и $K^p_{j_k} \in r_i$ будем считать подкатегориями r_i.

Универсальную деривационную категорию можно интерпретировать как словарь данного языка. Любая деривационная категория R_iR_jK, отличная от универсальной, может интерпретироваться как способ, приемы и средства, R выделения в категории $r_j = (R_jK)$ соответствий категории $r_i = (R_iK)$.

Дф. 3. 1. R_jO, $1 \leqslant i \leqslant n$, $n \geqslant 2$, есть R-гнездо F^i_1 сорта i первого такта деривации, которому принадлежит деривационная категория R_iO.

2. Если $F^i_t = (\underbrace{R_j \ldots R_iO, \ldots, R_iO}_{t})$, $1 \leqslant i, j \leqslant n$, есть R-гнездо i-того сорта t-того такта деривации, то $F^i_{t+1} = (\underbrace{R_kR_j \ldots R_iO}_{t+1}, R_j \ldots$

$R_iO, \ldots, R_iO\}$ есть R-гнездо того же i-того сорта, но t+1-го такта деривации, которому принадлежит деривационная категория $R_kR_j \ldots R_rO$ ранга $p = t+1$.

3. Если F^i_k и F^i_t —R-гнезда сорта i k-того и t-того тактов деривации, $k \leqslant t$, то $1.F^i_k \cup F^i_t$ есть R-гнездо сорта i k-того такта деривации, если $k = t$, и t-того такта деривации, если $t > k$; $F^i_k \cap F^i_t$ — R-гнездо сорта i l-того такта деривации, если среди деривационных категорий из этого R-гнезда K^1 обладает наибольшим рангом.

Дф. 4. Если R-гнезду $(F^i_k)_s$ принадлежит деривационная категория K_j и множество деривационных категорий $\{R_iK_j\}$, $1 \leqslant i \leqslant n$, $n \geqslant 2$, то это последнее будем именовать **деривационным потенциалом** деривационной категории K_j в $(F^i_k)_s$. Если же в $(F^i_k)_s$ оно пусто, будем считать, что K_j из $(F^i_k)_s$ обладает нулевым деривационным потенциалом.

Дф. 5. Если для каждой деривационной категории из $(F^i_k)_s$ в $(F^i_m)_t$, $k \leqslant m$, найдется свое и притом одно-единственное соответствие, совокупность $(\check{F}^i_k)$ подобных соответствий в $(F^i_m)_t$ будем называть R-**подгнездом** того же сорта i k-того такта деривации в R-гнезде $(F^i_m)_t$, $(\check{F}^i_k) \subset (F^i_m)_t$, $(F^i_k)_s = (F^i_m)_t$, если $(\check{F}^i_k) \subset (F^i_m)_t$ и $(\check{F}^i_m) \subset (F^i_k)_s$.

Дф. 6. Пусть на множестве $A = \{a_i\}$ лексических единиц, либо слов, либо лексем, задано множество $\Omega = \{\omega_i\}$ бинарных отношений производности. Пусть $\Omega' \subset \Omega$ и отличное от него $\Omega'' \subset \Omega$ таковы, что 1. Ω' соответствует деривационной категории K, а Ω'' — деривационной категории R_iK; 2. $\omega'_i \in \Omega'$, а $\omega'' \in \Omega''$; 3. однокоренные a_{ij}, a_{i_1}, a_{i_m} таковы, что пара $(a_{i_1}, a_{i_j}) \in \omega'$, а пара $(a_{i_j}, a_{i_m}) \in \omega''$. Тогда a_{i_j} из пары (a_{i_1}, a_{i_j}) называется **производным**, а это же a_{i_j} из пары (a_{i_j}, a_{i_m}) — **производящим**. Если ω', которому принадлежит (a_{i_1}, a_{i_j}) таково, что оно является членом Ω, которое соответствует R_rO, производное a_{i_j} называется **первообразным**. Про производное a_{i_k}, которое принадлежит к ω_t из Ω^j, соответствующего R_jK, условимся говорить, сокращая эту характеристику, что оно сопоставлено категории R_iK.

Дф. 7. R-гнездо F есть **С-гнездо языка L**, если одновременно 1. в L существует хотя бы одна совокупность однокоренных лексических единиц $\{a_{i_1}, \ldots, a_{i_n}\}$, каждая из которых сопоставлена по крайней мере одной деривационной категории из этого F; 2. для каждой деривационной категории из F найдется по крайней мере одна лексическая единица из этой совокупности, которая сопоставлена этой деривационной категории; 3. из сопоставленности a_{i_k} деривационной категории K′, a_{i_1} — K″ и принадлежности к отношению производности ω единицы a_{i_k} в качестве производящего, a_{i_1} — в качестве производного следует, что 1. K′, K″ $\in$ F; 2. K″ принадлежит к деривационному потенциалу K′ в F.

Дф. 8. R-гнездо является **компактным**, если оно принадлежит множеству R-гнезд, задаваемых следующей процедурой:

A. Построить, а затем перенумеровать все размещения без повторений из n имен категорий $r_1, \ldots, r_i, \ldots, r_n$ по k имен в каждом, $0 \leqslant k \leqslant n$; назовем каждое из них **предпрограммой** компактного R-гнезда.

B. Построить, а затем перенумеровать **программы** компактных R-гнезд: каждая из них — элемент множества, задаваемого следующим образом. Для всех n категорий $r_1, \ldots, r_i, \ldots, r_n$ и для всех t предпрограмм компактных R-гнезд в порядке возрастания индексов категорий и номеров предпрограмм компактных R-гнезд: 1. скопировать обозначение i-той категории t раз, $1 \leqslant i \leqslant n$; 2. каждой копии i-той категории приписать справа одну из t предпрограмм компактного R-гнезда, слева — текущий номер; 3. переходить к обозначению i+1-ой категории, если она есть, см. 1, в противном случае переходить к части C.

C. 1. 0. Взять j-тую программу, $1 \leqslant j \leqslant n \cdot t$, и, идя слева направо, 1.1. выписать атомарную деривационную категорию, содержащуюся в категории r_1, обозначение которой входит в j-тую программу первым слева; 1.2. если в обрабатываемой программе обозначение категории r_i не является последним, переходить к следующему за ним в j-той программе имени категории r_k и далее 1.3., в противном случае C.2; 1.3. если $K_s, \ldots, K_1$ — уже построенная последовательность деривационных категорий, приписать к ней справа последовательность категорий $R_kK_s, \ldots, R_kK_2, R_kK_1$, $r_k = (R_kK_1)$. Далее C.1.2. C.2. Взять j+1-ую программу, если она есть, и 1.1 В противном случае Стоп.

Поясним это определение примером. Пусть разнообразие фундаментальных категорий исчерпывается категориями $v=(R_iK_i)$ и $n=(R_jK_j)$, i. $j > 0$. Построим все возможные предпрограммы. Совокупность их такова: vn, nv, v, n, — . Перечислим затем совокупность программ; для этого изготовим пять копий символов v и n, припишем каждой справа одну из пяти предпрограмм. Результат таков: 1. ‹vvn›; 2. ‹vnv›; 3. ‹vv›; 4. ‹vn›; 5. ‹v›; 6. ‹nvn›; 7. ‹nnv›; 8. ‹nv›; 9. ‹nn›; 10. ‹n›. В соответствии с частью C описанной процедуры выпишем соответствующие последовательности деривационных категорий. Каждая из них — компактное R-гнездо.

1. R_1O; R_1R_1O; R_2R_1O; $R_2R_1R_1O$
2. R_1O; R_2R_1O; R_1R_1O; $R_1R_2R_1O$
3. R_1O; R_1R_1O
4. R_1O; R_2R_1O
5. R_1O
6. R_2O; R_1R_2O; R_2R_2O; $R_2R_1R_2O$
7. R_2O; R_2R_2O; R_1R_2O; $R_1R_2R_2O$
8. R_2O; R_1R_2O
9. R_2O; R_2R_2O
10. R_2O

Если использовать методику представления R-гнезд в виде деревьев, предложенную П. А. Соболевой (Соболева 1967), процесс построения, скажем, компактного R-гнезда 6 мог бы быть изображен на рис. 1.

C-гнездо является компактным, если соответствующее ему R-гнездо является компактным. Тожество программ компактных R-гнезд определяет тожество компактных R-гнезд. Отбрасывание в программе компактного R-гнезда $(F_k^j)_s$ справа j из k имен кате-

горий, $j < k$, дает программу компактного R-гнезда $(F^i_{k-j})_t$, совпадающего с частью гнезда $(F^i_t)_{\cdot}$. На множестве компактных R-гнезд и компактных C-гнезд вложение одних гнезд в другие задает отношения частичного порядка. Условимся говорить, что компактное R-гнездо, предпрограмма которого пуста, а состав деривационных категорий исчерпывается одной из атомарных деривационных категорий, построено за один этап. Если компактному R-гнезду принадлежит R_iK_k, K_k — деривационная категория, появившаяся в компактном R-гнезде на k-том этапе его построения, этапность R-гнезда $k+1$.

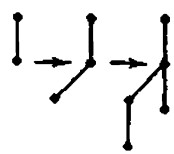


Рис. 1

II. Приведем примеры компактных C-гнезд, сгруппировав их по программам. Для иллюстрации приведены компактные словообразовательные гнезда, деривационные категории в составе которых принадлежат категориям глагола $v=\{R_1K_1\}$, существительного $n=\{R_2K_j\}$ и прилагательного $a=\{R_3K_1\}$.

F_0

⟨v⟩: *Уповать*(R_1O), аналогично *реготать*, *рехнуться*, *рыпаться*, *рюмить*, *рявкать*, *сбондить*, *сбрендить*, *стырить*, *тарабанить*.

⟨n⟩: *Павиан* (R_2O), аналогично *пагинация*, *пагода*, *пакт*, *палас*, *панацея*, *пацан*, *пенсне*, *пинцет*, *пюре*, *сага*, *сбруя*, *свитер*, *сеанс*, *серенада*, *серна*, *сутана*.

⟨a⟩: *Пакотильный* (R_3O), аналогично *палевый*, *приватный*, *рекуррентный*, *сардонический*, *сельтерский*, *статский*, *настырный*.

F_1

⟨vn⟩: *Домогаться* (R_1O) — *домогание*, *домогательство* (R_2R_1O). Аналогично *жаждать* — *жажда*; *зиять* — *зияние*.

⟨nn⟩: *Аист* (R_2O) — *аистенок*, *аистиха* (R^2_2O). Аналогично *аллилуя* — *аллилуйщик*; *бакен*, *бакан* — *бакенщик*, *бакенщица*; *барахло* — *барахолка*, *барахольщик*.

⟨an⟩: *Аграрный* (R_3O) — *аграрий*, *аграрник* (R_2R_3O). Аналогично *анонимный* — *аноним*; *античный* — *античность*, *антик*.

F_2

⟨va⟩: *Импонировать* (R_1O) — *импонирующий* (R_3R_1O). Аналогично *минуть*, *миновать* — *минувший*, *неминуемый*, *неминучий*; *надлежать* — *надлежащий*.

⟨na⟩: *Аберация* (R_2O) — *аберационный* (R_3R_2O). Аналогично *акватория* — *акваториальный*; *бекон* — *беконный*; *библия* — *библейский*; *гага* — *гагачий*.

<aa>: *Который* (R_3O) — *некоторый* (R_3^2O). Аналогично *погожий — непогожий*. Если согласиться, что словообразовательно они независимы от *погода*.

<vv>: *Грянуть* (R_1O) — *нагрянуть* (R_1^2O). Аналогично *дубасить — отдубасить; дрейфить — сдрейфить; зариться — позариться*.

F_3 <nv>: *Балбес* (R_2O) — *балбесничать* (R_1R_2O). Аналогично *бойкот — бойкотировать; горлопан — горлопанить, пурга — пуржить*.

<av>: *Кучерявый* (R_3O) — *кучерявиться* (R_1R_3O). Аналогично *постылый — опостылеть; смирный — смирить, смирнеть, присмиреть; соловый — посоловеть*.

<nna>: *Банк* (R_2O) — *банкир* (R_3^2O) — *банковский, банковый* (R_3R_2O) — *банкирский* ($R_3R_2^2O$). Аналогично *акция — акционер — акционерный — акционерский*.

F_5 <ana>: —

<vna>: *Рафинировать* (R_1O) — *рафинирование, рафинад* (R_2R_1O) — *рафинадный* ($R_3R_2R_1O$) — *рафинировочный* (R_3R_1O).

<van>: *Прекословить* (R_1O) — *беспрекословный, непрекословный* (R_3R_1O) — *прекословие* (R_2R_1O) — *беспрекословность, непрекословность* ($R_2R_3R_1O$). Аналогично *пререкаться — непререкаемый — пререкание — непререкаемость; придраться/придираться — придирчивый — придира — придирчивость*

F_6

<nan>: ———

<aan>: ———

<vvn>: *Ваять* (R_1O) — *изваять* (R_1^2O) — *ваяние, ваятель* (R_2R_1O) — *изваяние* ($R_2R_1^2O$). Аналогично *храпеть/храпануть — всхрапануть/всхрапывать, захрапеть, подхрапывать, похрапеть/похрапывать — храп, храпение, храпун — всхрап, всхрапывание, подхрапывание, похрапывание*.

F_8 <avn>: *Солидарный* (R_3O) — *солидаризоваться, солидаризироваться* (R_1R_3O) — *солидарность* (R_2R_3O) — *солидаризация* ($R_2R_1R_2O$). Аналогично *яровой — яровизировать — яровище, ярь, яровица, яровина — яровизация, яровизатор*.

<nvn>: *Градус* (R_2O) — *градуировать* (R_1R_2O) — *градусник* (R_2R_2O) — *градуировка, градуирование* ($R_2R_1R_2O$).

<vva>: *Никнуть* (R_1O) — *поникнуть/поникать, приникнуть/приникать, сникнуть/сникать* (R_1R_1O) — *никлый* (R_3R_1O) — *поникший, пониклый* ($R_3R_1^2O$).

F_9 <nva>: ———

<ava>: ———

Далеко не все компактные R-гнезда интерпретируемы в произвольном естественном языке. И это естественно, если предполагать, что совокупность компактных С-гнезд наделена организацией, а следовательно — допустимым и запрещаемым.

Если обследованная выборка представительна для русского языка, то система компактных С-гнезд в нем характеризуется тем, что с точностью до атомарных категорий каждому С-гнезду с первообразным прилагательным найдется соответствие среди С-гнезд с первообразными существительными, но не обратно, и каждому С-гнезду с первообразным существительным найдется соответствие среди С-гнезд с первообразным глаголом, но не обратно. Кроме того, нет С-гнезд, в программе которых было бы больше трех имен категорий; среди компактных С-гнезд, в программе которых три категории, наименее чувствительны к альтернации атомарных категорий те, в которых 1. нет производных прилагательных и 2. производные существительные появляются в контексте производных глаголов. Наиболее чувствительны те, где либо производное существительное появляется в контексте производного прилагательного, либо производное прилагательное — в контексте производного глагола. Одной из задач изучения компактных С-гнезд должно признать установление круга нереализуемых компактных R-гнезд и выявление того, что их могло бы объединять. Это позволило бы приблизиться к пониманию, какие из связей допустимых единиц системы являются ведущими.

III. Помимо систематического описания некоторого класса С-гнезд, компактные R-гнезда могут быть использованы для характеристики словообразовательной многоименности и одноименности. В частности, любая регулярная конфигурация неодномерных словообразовательных омонимов с пустой связкой (и аналогичные конструкции как поливыводимых единиц, не являющихся словообразовательными омонимами, так словообразовательной синонимии и вариативности (Гинзбург 1978)), принадлежит ко множеству компактных R-гнезд. Так, структуре, связывающей *купцы — купеческий — купечество*$_1$ — *купечество*$_2$, соответствует компактное R-гнездо с программой ‹nan›: $R_2X—R_3R_2X—R_2^3X—R_2R_3R_2X$, а ситуации, участниками которых являются *откупить/откупать—откупаться/откупиться — откуп*$_1$ — *откуп*$_2$, — компактное R-гнездо с программой ‹vvn›: $R_1X—R_1^2X—R_2R_1X—R_2R_1^2X$. Это последнее объединяет, кроме словообразовательных омонимов, еще и синонимы, например, *болезнь* < *болеть* и *заболевание* < *заболеть*, *оплата* < *оплатить*, *уплата* < *уплатить* и *плата* < *платить*. Компактное R-гнездо с программой ‹vva›: $R_1X—R_1^2X—R_3R_1X—R_3R_1^2X$ связывает *неутешный* < *утешить*, но не < *утешиться*, и *безутешный* < *утешиться*, но не < *утешить*; компактное R-гнездо с программой ‹vv› объединяет *менять* и *разменять*, *рвать* и *взрывать*, *звать* и *называть*, *бросать* и *сбрасывать*. Компактное R-гнездо с программой ‹nva› объеди-

няет *дымный* < *дым* и *дымящийся* < *дымиться* < *дым*. Конструкция, определяемая программой ‹van›, объединяет *заика* и *заикающийся*.

СВОЙСТВА КОМПАКТНЫХ R-ГНЕЗД

1. Любое компактное R-гнездо является вместе с тем просто R-гнездом. Отличает компактное R-гнездо то, что разнообразие деривационных категорий, являющихся подкатегориями данной фундаментальной категории, зависит от места последней в программе гнезда, прежде всего от того, какие категории ей предшествовали в программе.

2. Программа компактного R-гнезда фиксирует, какие из деривационных категорий и в каком порядке образуют контекст для других деривационных категорий в его составе. Тем самым моделируются разнозначимость деривационных категорий в С-гнезде и отношения сопряженности, определенные на его компонентах.

Во всех компактных R-гнездах бесконтекстны одна, максимум две категории производных. Первый случай имеет место, если предпрограмма пуста, второй — для всех R-гнезд, программа которых состоит из двух или более чем из двух имен категорий. Контекстно-независимыми являются те деривационные категории, которые соответствуют первым двум именам категорий в такой программе, контекстно-зависимыми — все остальные. Иначе говоря, если в R-гнезде есть контекстно-зависимая деривационная категория, то в нем есть и контекстно-независимая категория, обратное не является справедливым. Контекстность деривационной категории растет с увеличением сложности, определяемой числом R-символов в ее изображении. Одному и тому же такту деривации R-гнезда могут принадлежать деривационные категории, различающиеся по контекстной связности: на первом такте деривационные категории в R-гнезде бесконтекстны, на втором такте возможны как контекстно-зависимые, так и контекстно-свободные деривационные категории, на третьем все деривационные категории контекстно-зависимы. Контекстно-зависимые категории одного и того же такта могут различаться по объему контекста. Эти различия для деривационных категорий i-того такта значительней, чем для деривационных категорий i—1-го такта. Мера контекстной связности одной и той же деривационной категории в компактных R-гнездах с несовпадающими программами различна.

Чем значительней контекстная обусловленность деривационной категории, тем прозрачнее морфемная структура соответствующих производных, тем стандартнее их словообразовательная форма: словообразовательное значение и словообразовательная конструкция.

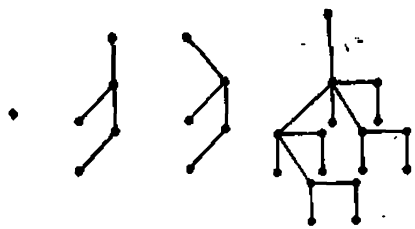
Принадлежность к контексту деривационных категорий i-того этапа деривации R-гнезда объединяет все компоненты компактного R-гнезда предыдущих этапов его построения в функциональное единство, при подходящих условиях в устойчивое языковое образование, воспроизводимое либо полностью, либо определяющими его компонентами, и в этом последнем случае так, что возникают эффекты чресступенчатого словообразования.

Деривационные подкатегории одной и той же фундаментальной категории, если их сложность не меньше двух R-символов, входят в компактное R-гнездо на одном и том же этапе его построения. Тем самым они оказываются связанными, хотя все они по сложности разные. Это дает основание видеть в компактном словообразовательном гнезде модельный объект для исследования словообразовательной разноименности, синонимии и вариативности.

Так, компактное С-гнездо с программой ‹anv›: $R_3X—R_2R_3X—R_1R_3X—R_1R_2R_3X$ можно рассматривать в качестве конфигурации словообразовательной вариативности (Гинзбург 1978), например, для глаголов на *-ничать* и *-ствовать* типа (*беспутный—беспутство—*)*беспутничать*/*беспутствовать* или (*усердный—усердство*, *усердие—*) *усердничать*/*усердствовать*, поддерживающей вырожденные ситуации типа *притворство — притворничать*/*притворствовать*. Глаголы на *-ничать* и *-ствовать* связаны и другой конфигурацией словообразовательной вариативности — простейшей категорией здесь является на R_3X, а R_2X. Программа компактного С-гнезда имеет вид ‹nnv›, ей соответствует R-гнездо, объединяющее *фигляр — фиглярство — фиглярничать* / *фиглярствовать*, аналогично *лакейничать*/*лакействовать*, *тиранничать*/*тиранствовать*. Легко видеть, что обе конфигурации словообразовательной вариативности для глаголов одного и того же словообразовательного типа объединяет тождество предпрограммы.

Те же средства могут быть использованы для описания словообразовательной одноименности (Гинзбург 1978). Для характеристики отношений, объединяющих и организующих *сумасброд—сумасбродный—сумасбродство—сумасбродничать — сумасбродствовать* мало двух конфигураций словообразовательной вариативности, а именно 1. $R_2X—R_3R_2X—R_1R_2X—R_1R_2R_3X$ (объединяющей *сумасбродить* < *сумасброд* и *сумасбродствовать* < *сумасбродство* < *сумасброд*, она отвечает программе ‹nnv›), и 2. $R_3X—R_2R_3X—R_1R_3X—R_1R_2R_3X$ (с программой ‹anv›, она объединяет *сумасбродничать* < *сумасбродный* (R_3X) и *сумасбродствовать* < *сумасбродство* (R_2R_3X)). Нужны еще две конфигурации словообразовательной одноименности. Одна из них, соответствующая программе ‹nan›, объединяет R_2X (*сумасброд*), R_3R_2X (*сумасбродный*), R^2_3X (*сумасбродство*$_1$), $R_2R_3R_2X$ (*сумасбродство*$_2$), фиксирует словообразовательную омонимию в случае *сумасбродство* и тем самым в случае *сумасбродствовать*. Другая, отвечающая программе ‹nav›, объединяет R_2X *сумасброд* —

R_3R_3X *сумасбродный* — R_1R_2X *сумасбродничать*$_1$ — $R_1R_3R_2X$ *сумасбродничать*$_2$ и объясняет словообразовательную полиформию *сумасбродничать*, ср. только от R_2X: *лентяйничать*, *повесничать*, *сапожничать*, *мошенничать* и только от R_3X: *нежничать*, *нервничать*, *деликатничать* при подобии слову *сумасбродничать* слов *озорничать* < *озорной*, < *озорник* или *оригинальничать* < *оригинал* < *оригинальный*, < *оригинальный* и отличии *разбойничать* < *разбой*, < *разбойник* < *разбой*. Конфигурация словообразовательной полиформии, которой принадлежит *разбойничать*, отвечает программе ‹nnv› (рис. 2); та, которой принадлежит



озорничать, — программе ‹anv› (рис. 3); та, которой принадлежит *умничать* < *ум*, < *умный*, < *умник*, — системе программ, объединению ‹nav› и ‹anv›.

3. Для компактных R-гнезд характерна категориальная неравномерность. В этом отношении наиболее показательны те из них, программа которых не содержит повторяющихся имен категорий. По мере продвижения от начала предпрограммы к ее концу для каждой последующей категории разнообразие подкатегорий геометрически растет. В любом компактном R-гнезде не существует двух компонентов одного такта его деривации, которые имели бы одинаковый деривационный потенциал. С увеличением тактности R-гнезда растет число компонентов гнезда одного и того же такта, обладающих минимальным деривационным потенциалом, отличным от нуля. Максимальный деривационный потенциал у всех компонентов компактного R-гнезда одного и того же такта i его деривации монотонно понижается от n—i до 0 (n — число символов в программе). При этом на i-том такте максимальным деривационным потенциалом обладает подкатегория той категории, имя которой используется в программе i-тым слева. Так, в компактном R-гнезде, которое изображено на рис. 4 и которое соответствует программе ‹nvadn›, максимальным деривационным потенциалом среди компонентов первого такта обладает R_2O, на II — R_1R_2O, на III — $R_3R_1R_2O$, на IV — $R_4R_3R_1R_2O$, на V — $R_2R_4R_3R_1R_2O$. Дериваты из таких категорий строго упорядочены отношениями производности.

5. *Любое компактное С-гнездо является одновременно и регулярным* (Гинзбург 1973), т. е. С-гнездом, где для каждого производящего разнообразие категорий производных включает разнообразие категорий производных от каждого из них. Но не всякое регулярное гнездо является компактным. Таково, например, (R_2O, R_2R_2O, R_1R_2O, R_3R_2O, $R_2R_1R_2O$, $R_3R_1R_2O$, R_4R_2O). Это значит, что компактное С-гнездо богаче свойствами, чем регулярное, точно также как регулярное С-гнездо богаче свойствами, чем просто С-гнездо. Можно предполагать также, что свойства регулярного С-гнезда в компактном С-гнезде проявляются последовательнее. Заметим, что разнообразие деривационных категорий в регулярном С-гнезде ограничено контекстом незначительной части гнезда: для деривационных категорий производных от A — разнообразием категорий, которым принадлежит A и производные той же деривационной сложности от того же производящего. В компактном С-гнезде разнообразие деривационных категорий ограничено контекстом всех категорий, вошедших в гнездо на предыдущих этапах деривации гнезда и образующих также компактное гнездо.

III
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ОПЕРАЦИИ С КОМПАКТНЫМИ R-ГНЕЗДАМИ

1. Любое компактное R-гнездо таково, что любое подгнездо при отожествлении его вершины с вершиной гнезда в целом вкладывается в него, ср. рис. 5.

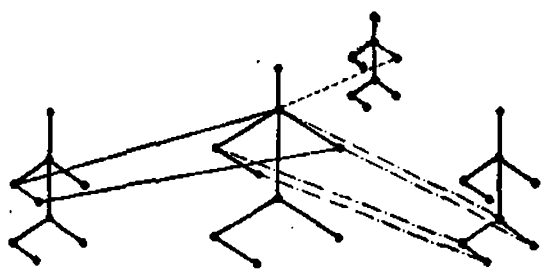


Рис. 5

2. Если R-гнезда компактны и содержат одну и ту же атомарную деривационную категорию, их теоретико-множественное пересечение или теоретико-множественное объединение является регулярным, но в общем случае некомпактным R-гнездом. Так, $F_1 \cup F_5 = F_5$ и $F_1 \cap F_5 = F_1$, т. е. компактные гнезда, а $F_5 \cup F_6$ и $F_5 \cap F_6$ являются только регулярными С-гнездами (рис. 6—9).

3. Каждой программе компактного R-гнезда сопоставимо одно-единственное R-гнездо, обратное неверно. Это дает право

в ряде случаев оперировать с программами, как если бы мы оперировали с соответствующими R-гнездами. Становится возможным говорить о программах регулярных R-гнезд. Их реализация предполагает сначала реализацию программ компактных R-гнезд, а затем — в выписанном порядке — их теоретико-множественное объединение или пересечение. Таким образом, не только компактным, но и ряду регулярных С-гнезд можно сопоставить линейное, аналитическое их описание. Так, программа регулярного R-гнезда, которому отвечают в словообразовательном плане

Рис. 6

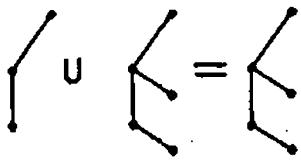


Рис. 7

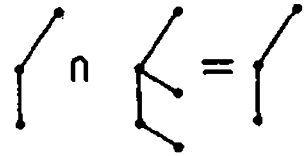


Рис. 8

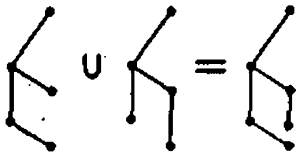
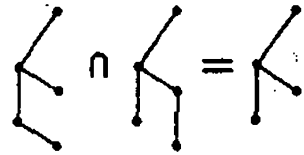


Рис. 9



лексические гнезда с первообразными *щит*, *сфера*, *ромб*, — — ⟨nan⟩ ∪ ⟨nna⟩, ср. рис. 8, а с *клык*, *ключ* или *кино* — ⟨nan⟩ ∩ ⟨nna⟩ ср. рис. 9. Словообразовательная структура гнезда со словом *минута* отвечает программе ⟨nn⟩ ∪ ⟨nad⟩, а со словом момент (или мгновение) — программе ⟨nd⟩ ∪ ⟨na⟩. Одно и то же регулярное R-гнездо может быть результатом теоретико-множественного объединения одних компактных R-гнезд и теоретико-множественного пересечения других. Так, регулярное С-гнездо R_2O, R_3R_2O, R_2^2O, например, *баян—баянист—баянный; дерюга—дерюжка*, *дерюжина—дерюжный*, может рассматриваться как результат либо теоретико-множественного объединения гнезд F_2: R_2O, R_3R_2O, ср. *лука*, *излука—излучистый; мара*, *марь*, *марево—маревый; обморок—обморочный; погост—погостный*, и F_1: R_2O, R_2^2O, ср. *гостинец—гостинчик; морзе—морзянка;* либо теоретико-множественного пересечения гнезда F_6: R_2O, R_2^2O, R_3R_2O, $R_2R_3R_2O$, ср. *монизм—монист—монистический*, *монистичный—монистичность; эгоизм—эгоист*, *эгоистка—эгоистичный*, *эгоистический—эгоистичность*, и F_5: R_2O, R_2^3O, R_3R_2O, $R_3R_2^2O$, ср. *поместье—поместьице—помещик*, *помещица—поместный*, *беспоместный—помещичий* (рис. 10).

4.1. Ни одна предпрограмма компактного R-гнезда не содержит повторений имен одних и тех же категорий. Удвоение, например, v в <nva> дает программу <nvva>, которой, в предположении, что словообразовательное гнездо — это множество деривационных категорий и что поэтому оно не содержит одной и той же деривационной категории более одного раза, соответствовало бы полурегулярное R-гнездо R_2O, R_1R_2O, $R_1R_1R_2O$, R_3R_2O, $R_3R_1R_2O$, $R_3R_1R_1R_2O$ (рис. 11). Удвоение имен нескольких категорий одновременно давало бы программу нерегулярного R-гнезда (рис. 12). Повторение, но не удвоение имен категорий давало бы полурегулярные R-гнезда (рис. 13—14). Нерегулярное R-гнездо может быть обязано тому, что в составе предпрограммы вместо имени некоторой категории используется другая предпрограмма, например, когда вместо n в <anv> или <avn> используется <na>, т. е. в случаях <a<na>v> или <av<na>> (рис. 15—16). Замещено некоторой предпрограммой может быть имя категории, которое занимает в программе начальную позицию. Тогда если в замещающей предпрограмме и приписанной к ней предпрограмме изменяемой программы общих имен категорий нет, гнездо регулярно (рис. 17), а если общие имена категорий есть, гнездо полу-

Рис. 10

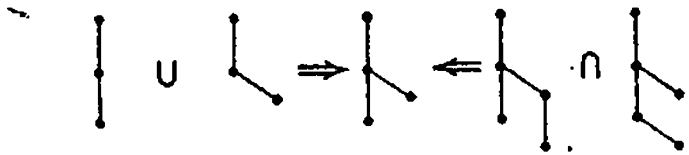


Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14

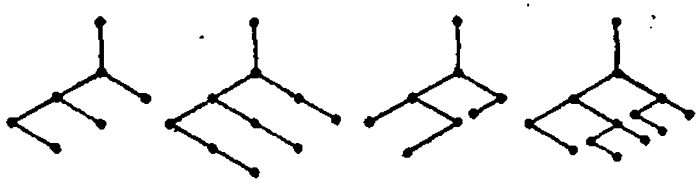
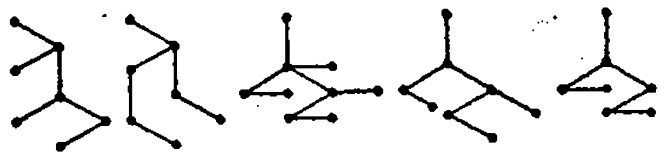


Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19



регулярно (рис. 18). Если предпрограммами замещены два имени в программе, начальное и какое-либо еще, R-гнездо нерегулярно (рис. 19). Относительно всех перечисленных преобразований расширению совокупности компактных R-гнезд принадлежат нерегулярные и полурегулярные R-гнезда.

4.2. Совокупность R-гнезд можно расширить и по-иному, введя правила изменения их программ. Задача — для некоторых деривационных категорий заблокировать возможность непустого деривационного потенциала. Для этого достаточно i-тому имени категории в программе, $i \geqslant 3$, приписать индексы только некоторых из тех деривационных категорий, введенных на предыдущих этапах построения R-гнезда, которые — в соответствии

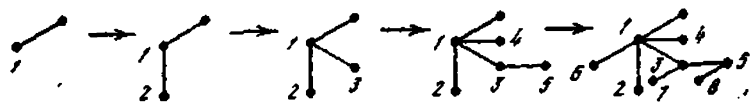


Рис. 20 <v> <vn> <vna> <vnad> <vnadv>

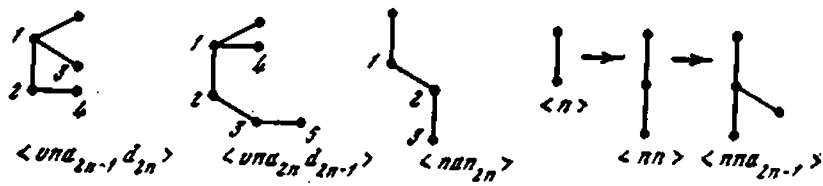
с частью С.1.3. определения компактных R-гнезд — являются на данном i-том этапе базой для введения новых деривационных категорий. Во всем остальном процедура перечисления R-гнезд остается прежней. Индексы могут быть результатом нумерации, продолжающейся от одного этапа построения гнезда к другому. Возьмем, например, программу <vnadv>. Преобразуем ее так, чтобы начиная с третьего этапа базой для новых деривационных категорий в R-гнезде были, скажем, нечетные деривационные категории (рис. 20). Результат преобразования — $\langle vna_1d_{1,3}v_{1,3,5}\rangle$. Вместо последовательностей номеров можно было бы дать единое аналитическое обозначение, в нашем примере $\langle vna_{2n-1}d_{2n-1}v_{2n-1}\rangle$. Здесь, как и далее, $n=i-2$, i — текущий номер в программе у категории, которой приписан индекс; отсутствие индекса соответствует совокупности номеров всех деривационных категорий, введенных ранее, наличие индекса — только части этой совокупности, а именно той, которая одно-однозначным образом сопоставима последовательности чисел, описанной индексом.

R-гнезда, в программе которых нет индексов у имен категорий, компактны, а следовательно, регулярны. Если индексы есть и каждый $_{\cdot}$ обозначает последовательность нечетных номеров, R-гнездо регулярно, а преобразование связывает совокупности компактных и некомпактных регулярных R-гнезд. Если индексы есть и хотя бы один из них обозначает последовательность четных номеров, R-гнездо является нерегулярным и, следовательно, преобразование определено на классе вообще R-гнезд. Примерами таких программ могли бы быть $\langle vna_{2n-1}d_{2n}\rangle$ (рис. 21) или $\langle vna_{2n}d_{2n-1}\rangle$ (рис. 22) или $\langle nan_{2n}\rangle$ (рис. 23). Последняя определяет R-гнездо, объединяющее в один словообразовательный

сические гнезда с первообразными *обаяние*, *атавизм*, *афоризм* и т. п.

4.3. С учетом сказанного класс лексических гнезд с первообразными *бадья*, *басня*, *баян*, *вино*, *кино*, *клоп*, *клубника*, *ключ*, *клык*, *сук*, *шип* и т. п. мог бы быть описан R-гнездом $F{:}R_2X$, R_3^2X, R_3R_2X (рис. 24), которому соответствуют одновременно две программы: $\langle \text{nna}_{2n-1} \rangle$ и $\langle \text{nan}_{2n-1} \rangle$. Эти две программы остаются эквивалентными только в том случае, если возможные их распространения не содержат индексированных имен категорий. Эквивалентность рассматриваемых программ определяет естественность задачи о их взаимопреобразованиях.

Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24



5.0. К проблеме преобразований С-гнезд, шире правил отожествления объектов, полученных разными способами, приводят задачи описания лексических гнезд с семантически идентичными или близкими лексемами.

5.1. Рассмотрим, к примеру, лексические гнезда с первообразными *антракт*, *интервал*, *пауза*, *промежуток*. При описании их состава будем ориентироваться на материал «Орфографического словаря русского языка» под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцова. М., 1974.

Интервал. Гнездо исчерпано только этой лексической единицей. С-гнездо $F{:}R_2O$ является компактным и соответствует программе $\langle n \rangle$.

Антракт. Гнездо состоит из представителей деривационных категорий R_2O: *антракт* и R_3R_2O: *антрактный*, *антрактовый*. С-гнездо является компактным, соответствует программе $\langle na \rangle$. Аналогично лексическое гнездо *промежуток—промежуточный*.

Пауза. Лексические единицы *пауза*, *паузный*, *паузник*, по БАС еще и *паузочка*, объединены деривационными категориями R_2O (*пауза*), R_3R_2O (*паузный*), R_2R_1O (*паузник*, *паузочка*). С-гнездо является регулярным, но не является компактным. Оно соответствует одновременно двум программам: $\langle \text{nna}_{2n-1} \rangle$ — в этом случае связь с производящим теснее у *паузочка* и *паузник*, и $\langle \text{nan}_{2n-1} \rangle$ — в этом случае связь с производящим теснее у *паузный*. Первая из альтернатив является предпочтительной, если допустить что большее разнообразие представителей одной и

той же деривационной категории — свидетельство более тесной связи с производящим.

Поскольку эти С-гнезда одно-однозначно соответствуют своим программам, вопрос о преобразованиях гнезд, сугубо нелинейных объектов, можно заменить вопросом о преобразованиях программ, носящих линейный характер; здесь это ⟨n⟩, ⟨na⟩ и $\langle na^{n}_{2n-1}\rangle$, а еще, если не согласиться с предложенным обоснованием выбора, и $\langle na^{n}_{2n-1}\rangle$.

Преобразования, по определению, связывают разные по построению, но подобные по содержанию единицы, принадлежащие одной системе. В нашем случае для совокупности компактных С-гнезд это преобразование, объединяющее ⟨n⟩ и ⟨na⟩. Для совокупности регулярных С-гнезд это ядро расширяется за счет 1) преобразования, объединяющего $\langle na^{n}_{2n-1}\rangle$ и $\langle na^{n}_{2n-1}\rangle$, и 2) преобразования, связывающего любой представитель этого класса с представителем ядра — ⟨na⟩ или ⟨n⟩.

Словообразовательная однородность лексических гнезд со словами: *буран*: *буран*, *бурапный* и *пурга*: *пурга*, *пуржистый* обнаруживается в обладании одной и той же словообразовательной структурой, регулярным и компактным С-гнездом с программой ⟨na⟩. R-гнездо для *пурга* — вырождение R-гнезда для *вьюга*: R_2O (*вьюга*), R_1R_2O (*вьюжить*), $R_1R_1R_2O$ (*завьюжить*), R_3R_2O (*вьюжный*, *вьюжистый*, *вьюжливый*) с программой $\langle na^{v}_{2n-1}v_{2n+1}\rangle$. Переход от нерегулярных R-гнезд к регулярным моделирует преобразование $\langle na^{v}_{2n-1}v_{2n+1}\rangle$ в ⟨na⟩.

5.2. Можно предполагать, что преобразования С-гнезд описанного типа являются объединением преобразований на двух разных уровнях: на одном изменяется индексация, а на другом — последовательность имен категорий в программе: изменяется их взаиморасположение, группировка, наконец, состав — за счет стирания, приведения подобных или расщепления. Примером СТИРАНИЯ могло бы быть преобразование ⟨na⟩ → ⟨n⟩, примером ПРИВЕДЕНИЯ — ⟨nna⟩ → ⟨na⟩; примером ПЕРЕСТАНОВКИ — ⟨nan⟩ → ⟨nna⟩.

Программы R-гнезда, объединяющего однокоренные к слову *фаза*: R_2O (*фаза*, *фазис*), R_2R_2O (*анафаза*, *профаза*) (по CO), R_3R_2O (*фазный*, *фазовый*), различаются только порядком имен категорий, при последнем всегда индекс 2n—1: $\langle na^{n}_{2n-1}\rangle$ и $\langle na^{n}_{2n-1}\rangle$. Преобразования, связывающие эти программы, сводятся к перестановке имен категорий в предпрограмме: Cv nan ← ← nna; Cv nna ← nan. Оба преобразования отвечают схеме Cv xyz ← ← xzy. Применительно к программам ⟨nna⟩ и ⟨nan⟩ это преобразование оставляет образ в том же классе регулярных гнезд, которому принадлежит и прообраз. Иное — преобразование $\langle na^{n}_{2n-1}\rangle \rightarrow$ $\rightarrow \langle na^{n}_{2n}\rangle$, связанное с изменением индексации при одноименных категориях. Оно определено только на множестве R-гнезд: образ такого преобразования является нерегулярным R-гнездом,

а прообраз — регулярным R-гнездом. Такое преобразование связывает, например, С-гнезда для однокоренных со словом *фаза* и для однокоренных со словом *этап*: R_2O (*этап*), R_3R_2O (*этапный, поэтапный*), $R_2R_3R_2O$ (*поэтапность*) или однокоренных со словом *стадия*: R_2O (*стадия*), R_3R_2O (*стадийный, стадиальный*), $R_2R_3R_2O$ (*стадийность, стадиальность*).

ЛИТЕРАТУРА

Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии. — В кн.: Сб. статей по языкознанию. I. МИФЛИ, 1940.

Гинзбург Е. Л. Исследование гнезд сложных слов в аппликативной грамматике. АКД. М., 1967.

Гинзбург Е. Л. Исследование структуры словообразовательных гнезд. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973.

Гинзбург Е. Л. Одноименность однокоренных производных. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1976. М., 1978.

Гинзбург Е. Л. Словообразование и синтаксис. М., 1978[а].

Леонтьева Н. М. Особенности словообразования в газетно-политическом тексте. АКД., М., 1976.

Соболева П. А. Исследование словообразовательной системы на основе аппликативной порождающей модели. — В кн.: Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Тарту, 1967.

Соболева П. А. Аппликативная грамматика и моделирование словообразования. АДД. М., 1970.

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Л. ГАСПАРОВ

ИТАЛЬЯНСКИЙ СТИХ: СИЛЛАБИКА ИЛИ СИЛЛАБО-ТОНИКА?

(Опыт использования вероятностных моделей в сравнительном стиховедении)

1. Стиховедение — одна из самых старых отраслей филологии. Проблема соотношения стиха и языка — в какой мере особенности языка предопределяют употребительную в этом языке систему стихосложения? — одна из самых старых проблем стиховедения. О ней писали много, но доказательно писали редко. Во-первых, исследователь был ограничен материалом: он располагал тем, «что было» в истории стиха, и не располагал тем, «что могло бы быть». Во-вторых, и в наличном материале исследователю порой было трудно разобраться, когда в нем сочетались признаки разных систем стихосложения, и неясно было, какие из них выражены сильнее. Решительный сдвиг произошел лишь в XX в. и в значительной степени благодаря работам русских ученых. Для того чтобы выделить более значимые и менее значимые признаки в наличном материале, была использована статистика; для того чтобы сопоставить наличное с возможным, была использована теория вероятностей. Б. В. Томашевский разработал методику построения теоретической модели, показывающей, какой вид имел бы стих, если бы он строился только на основании «естественных» ритмических тенденций языка и не обнаруживал никаких специфически стиховых ритмических тенденций (Томашевский 1929, с. 100—102). Эта методика была существенно усовершенствована в работах А. Н. Колмогорова и его учеников (см. Гаспаров 1974, с. 22—24). Использование таких теоретических моделей в работах о силлабо-тоническом стихе уже становится привычным. Но применительно к другим системам стихосложения использовались они мало. В свое время мы сделали попытку применить их к изучению русской силлабики XVII—XVIII вв. (Гаспаров 1971). Теперь мы попытаемся применить их к изучению силлабики итальянской и отчасти испанской. В качестве объекта взят 11-сложник — стих, самый распространенный в итальянской и один из самых распространенных в испанской поэзии.

Напомним, какова последовательность операций при построении теоретической «языковой» (вероятностной) модели стиха по Б. Томашевскому — А. Колмогорову. Исходными данными служат (1) «ритмический словарь», рассчитанный по художествен-

ной прозе данного языка и показывающий, какую часть всего словаря писателя составляют слова 1-сложные, 2-сложные с ударением на 1-м слоге, 2-сложные с ударением на 2-м слоге и т. д., т. е. какова вероятность появления в тексте каждого ритмического типа слов; (2) полный список всех словосочетаний, возможных в данном стихотворном размере, т. е. всех его ритмических вариаций (с различным расположением ударений) и для каждой из них — всех словораздельных вариаций (с различным расположением словоразделов). Далее (3) для каждого из этих словосочетаний производится перемножение вероятностей входящих в него ритмических типов слов: это дает вероятность появления в тексте данного словосочетания в целом. Далее (4) все полученные произведения складываются: это дает общую вероятность случайного появления в прозаическом тексте «самородной» строки нашего размера. И наконец, (5) в процентах от этой общей суммы мы определяем долю каждого слагаемого или группы слагаемых (все словосочетания с ударением на таком-то слоге, со словоразделом после такого-то слога и т. п.). Это и будут теоретические частоты данных стиховых форм нашего размера. С ними сравниваются действительные частоты этих форм в изучаемом стихе: если показатели сходятся, стало быть, данная форма для поэтов безразлична, и употребительность ее определяется только особенностями языка, если показатели расходятся, стало быть, данная форма поэтами предпочитается или избегается, и перед нами — специфическая тенденция стиха, подлежащая изучению.

Таким образом, начинать исследование стиха приходится с расчета, во-первых, ритмического словаря прозы, и во-вторых, перечня всех словосочетаний, возможных в данном размере.

2. Результаты подсчетов состава ритмического словаря итальянской и испанской прозы (в 0,01) приведены в табл. 1. Для итальянской прозы подсчет делался по 2000 фонетических слов

Таблица 1

Ритмический словарь прозы
Арабские цифры (по вертикали) — число слогов в слове; римские цифры (по горизонтали) — номер ударного слога

	А) Итальянский стих					Б) Испанский стих					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
6	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	2
5	—	—	1	7	1	5	—	—	1	9	1
4	—	3	16	4		4	—	3	12	4	
3	2	23	11			3	1	23	10		
2	11	13				2	12	12			
1	6					1	6				
	Всего 100%						Всего 100%				

из 10 прозаиков разных веков (Боккаччо, Саккетти, Банделло, Граццини, Гоцци, Альфьери, Пеллико, Кардуччи, Верга, Д'Аннунцио) по 200 слов из каждого. Все данные по отдельным выборкам оказались очень близкими. (Любопытно, что контрольный подсчет по прозе Данте — первая 1000 слов «Новой жизни» — дал несколько иные цифры: средняя длина слова у Данте 3,19 слога вместо 3,11, а процент женских окончаний 63 вместо 59. Может быть, Данте в своей прозе избегал элизий? Но при дальнейших перемножениях частот для построения модели эта разница исходного материала сглаживается, и модель стиха, построенная по «Новой жизни», почти не отличается от модели, построенной по 10 прозаикам (поэтому мы ее здесь не приводим). Для испанской прозы подсчет делался по 1000 слов из «Дон Кихота» (ч. I, гл. 8). Для русской прозы были взяты данные по 10 000 слов советской прозы, которыми мы пользовались ранее (Гаспаров 1974, с. 80—82).

Принципы тонирования итальянского текста (и в стихах, и в прозе) еще недостаточно установлены: итальянские исследователи склонны все двойственные слова считать ударными, иноязычные исследователи — безударными (ср. табл. 7, сопоставляющую показатели ударности в I песне «Ада» по Bertinetto 1973 и Kuryłowicz 1975). Мы старались держаться середины. Безударными мы считали односложные и двусложные артикли, предлоги, союзы, личные местоимения перед глаголами, вспомогательные глаголы и притяжательные местоимения единственного числа (последние категории — только при прямом порядке и контактном расположении слов: la mia dónna с одним ударением, la dónna mía с двумя). В целом наши данные по ударности скорее занижены, чем завышены: вероятно, двухсложные предлоги тоже следовало бы считать ударными (ср. стих Мандзони Tornar che dópo la vittoria, innanzi. . ., где на dópo приходится опорное ритмическое ударение. Несомненно, все эти цифры еще не раз будут пересчитываться и уточняться; но для начала этими подсчетами можно удовлетвориться, так как они по крайней мере делались единообразно, и поэтому все нижеприводимые результаты взаимно сопоставимы.

Принципы трактовки словоразделов в итальянском тексте тоже недостаточно установлены: при столкновении гласных на стыке слов («элизия» или «синалефа») в одной манере чтения первая из двух гласных не произносится, в другой — произносятся обе: Tant(o) è amara, che poc(o) è più morte. . . (Данте). Для простоты учета и сопоставимости результатов мы строго следовали «скандирующему» чтению и усекали в таких сочетаниях первый из двух гласных (а если он был ударным, то второй) как в стихах, так и в прозе. Редкие сомнительные случаи, когда в одном стихе из двух столкновений гласных одно должно произноситься с элизией, а другое — с зиянием, интерпретировались так, чтобы по возможности не нарушать ритма стиха (т. е. обязательных

ударений на 4 или 6 позиции, — ср. Elwert 1968, с. 64). Очень интересен вопрос, случайным или не случайным является распределение элизий по слоговым позициям стиха; но останавливаться на этом мы не имеем возможности.

3. Составление перечня всех словосочетаний, возможных в итальянском 11-сложнике, — проблема, гораздо более сложная. Решение ее зависит от того определения ритма 11-сложника, которое будет принято за основу.

Определение итальянского 11-сложника, которое можно вывести из существующих работ, приблизительно таково: это — (А) силлабический стих из 11 слогов с обязательным ударением на 10-м слоге, (Б) а также на 4- и/или 6-м слоге, (В) и — по крайней мере с XVI в. — с запретом самостоятельного (т. е. несмежного, окруженного безударными слогами) ударения на 7-м слоге.

Ясно, что три части этого определения налагают на ритм 11-сложника все более строгие ограничения: формулировка (А) соответствует чисто-силлабическому стиху, формулировки (Б) и (В) — силлабическому стиху с нарастающими элементами силлабо-тоники. Это тем важнее, что эти три части одного определения пользуются далеко не одинаковой известностью. Формулировка (А) приводится во всех общих справочниках и пособиях: именно по ней представляют себе «итальянский силлабический стих» не-специалисты. Формулировка (Б) приводится в большинстве специальных очерков итальянского стихосложения в прямой форме (Giammati 1972, Elwert 1968, § 23) или в косвенной (Federzoni 1907, Migliorini 1958, Spongano 1966: перечисляются «основные типы расположения ударений» на 6—10-м, 4—8—10-м и 4—7—10-м слогах). Наконец, формулировка (В) внятно дана в известной нам литературе один только раз, и то не в составе общего определения, а как бы в виде исторической справки при нем (Elwert 1968, § 30; автор называет запретное ударение на 7-м слоге «цезурообразующим», но из примеров видно, что его вернее называть «несмежным», или, по терминологии Halle-Keyser 1971, «стресс-максимумом»). Чем объяснить такое невнимание итальянских метристов к столь важной особенности их стиха, можно только догадываться: вероятно, здесь сказывалось бессознательное нежелание отделять стих Данте и Ариосто от стиха Тассо и позднейших поэтов как более «архаический».

Как нарастает силлаботонизация 11-сложника с переходом от одного ограничения к другому, видно из схемы (х означает произвольный слог, Х — «и/или»-ударный слог, — — обязательно ударный слог, ◡ — слог, смежный с ударением и, следовательно, не могущий быть стресс-максимумом):

	2	4	6	8	10	слог
(А)	х х	х х	х х	х х	◡ — ◡	
(Б)	х х	х Х	◡ Х	х х	◡ — ◡	
(В)	х х	х Х	◡ Х	◡ х	◡ — ◡	

Мы видим, как от ограничения к ограничению в стихе появляется ритм чередования позиций x и позиций ⏑, из которых первые могут быть заняты стресс-максимумами, а вторые не могут и способны нести лишь смежные, сверхсхемные ударения. В варианте (В) этот ритм распространяется уже на все второе полустишие; достаточно сделать еще один шаг, запретить стресс-максимум и на 3-й позиции, и перед нами будет

(Г) xx ⏑x ⏑x ⏑x ⏑–⏑

— настоящий силлабо-тонический ямб английского или немецкого типа (т. е. со свободным сдвигом начального ударения), а то и русского, еще более строгого типа (x/x⏑x. . ., т. е. со свободным сдвигом начального ударения, но лишь на односложное слово: см. Гаспаров 1974, с. 196). Вариант (А) — это чистая силлабика, вариант (Г) — чистая силлабо-тоника; а реально употребительные в итальянском стихе варианты (Б) и (В) занимают между ними промежуточное положение; какое именно, — это нам и предстоит уточнить.

Чем строже ограничения, тем уже круг возможных в стихе словосочетаний. Для силлабо-тонической модели (Г) мы можем учесть лишь 10 ритмических вариаций правильных ямбов (с ударениями на слогах 2—4—6—8—10, 2—4—6—10, 2—4—8—10, 2—6—8—10, 4—6—8—10, 2—4—10, 2—6—10, 4—6—10, 2—8—10, 4—8—10) с 88 словораздельными вариациями и 7 ритмических вариаций ямбов со сдвинутым начальным ударением (1—4—6—8—10, 1—4—6—10, 1—4—8—10, 1—6—8—10, 1—4—10, 1—6—10, 1—8—10) с 75 словораздельными вариациями. Для модели (В) из этого списка отпадают 2 вариации (2—8—10 и 1—8—10), но прибавляются 4 новых «чистых», без стыков ударений (1—3—6—8—10, 1—3—6—10, 3—6—8—10, 3—6—10) с 63 словораздельными и 12 «нечистых», со стыками ударений (3—4—6—8—10, 3—4—6—10, 3—4—8—10; 2—4—5—8—10, 1—4—5—8—10, 4—5—8—10; 2—4—6—7—10, 1—4—6—7—10, 1—3—6—7—10, 2—6—7—10, 3—6—7—10, 4—6—7—10) с 49 словораздельными. Для модели (Б) к этому списку прибавляются еще 3 «чистых» ритмических вариации (1—4—7—10, 2—4—7—10, 4—7—10) с 51 словораздельной и 4 «нечистых» (1—4—5—7—10; 2—4—5—7—10, 4—5—7—10, 3—4—7—10) с 12 словораздельными. Наконец, для модели (А) в этот список возвращаются 2 отставленные вариации (2—8—10 и 1—8—10) и добавляются еще 21 «чистая» ритмическая вариация (1—3—5—7—10, 1—3—5—8—10, 1—3—5—10, 1—3—7—10, 1—3—8—10, 1—5—7—10, 1—5—8—10, 2—5—7—10, 2—5—8—10, 3—5—7—10, 3—5—8—10, 1—3—10, 1—5—10, 2—5—10, 3—5—10, 1—7—10, 2—7—10, 3—7—10, 5—7—10, 3—8—10, 5—8—10) с 249 словораздельными; «нечистые» мы здесь не учитываем, чтобы не осложнять картину. Некоторые вариации невозможны оттого, что в языке нет достаточно длин-

ных слов (напр., 2—10), некоторые отведены как практически малоупотребительные (напр., со сверхсхемными ударениями на 9 позиции). Всего, таким образом, для построения модели итальянского стиха в приближении (А) учтено 54 ритмических и 512 словораздельных вариаций, в приближении (Б) — 31 ритмическая и 257 словораздельных, в приближении (В) — 24 ритмических и 194 словораздельных, в приближении (Г) — 10 ритмических и 88 словораздельных.

Аналогичным образом составлялся перечень ритмических и словораздельных вариаций, возможных в испанском и (гипотетическом) русском 11-сложнике. Здесь было сделано лишь одно упрощение: «нечистые» (со стыками ударений) ритмические вариации не учитывались совсем.

Таблица 2

Теоретическая вероятность ритмических вариаций

Ударные слоги	Ритм полустиший	Пример	Итал. стих	Исп. стих	Рус. стих
		«A minore»:			
4-6-8-10	оЧ	Che non lasciò giammai persona viva	11	13	8
4-6-10	оЧ	Che la verace via abbandonai	51	51	24
4-8-10	оЧ	Mi ritrovai per una selva oscura	48	50	15
2-4-6-8-10	чЧ	L'amor che move il sol e l'altre stelle	7	7	17
2-4-6-10	чЧ	Vedrai gli antichi spiriti dolenti	33	38	55
2-4-8-10	чЧ	Si volge all'aqua perigliosa e guata	36	53	55
2-4-10	чО	Per quell'Iddio che tu non conoscesti	17	14	20
2-4-7-10	чН	Ripresi via per la piaggia deserta	64	59	95
4-7-10	оН	Ma sapienza ed amore e virtute	88	96	41
1-4-10	сО	Tanto vogli'io che vi sia manifesto	8	7	16
1-4-6-8-10	сЧ	Mosse da prima quelle cose belle	6	7	18
1-4-6-10	сЧ	Questa mi porse tanto di gravezza	27	22	46
1-4-8-10	сЧ	Faccian le bestie Fiesolane strame	22	23	43
1-4-7-10	сН	Tanto è amara che poco più morte	40	42	76
		«A maiore»:			
2-6-8-10	Чч	Nel mezzo del cammin di nostra vita	23	20	46
2-6-10	Чо	La vista, che m'apparve, d'un leone	65	54	121
1-6-8-10	Сч	Questi le caccerà per ogni villa	7	8	19

Таблица 2 (*окончание*)

Ударные слоги	Ритм полустиший	Пример	Итал. стих	Исп. стих	Рус. стих
1-6-10	Со	Surgono innumerabile faville	24	30	45
1-3-6-8-10	Нч	Questa selva selvaggia ed aspra e forte	5	5	13
3-6-8-10	Нч	Una lonza leggiera e presto molto	30	33	40
1-3-6-10	Но	Canto l'arme pietose e 'l capitano	29	21	37
3-6-10	Но	Ch'io perdei la speranza dell'altezza	131	137	112
Всего по модели Б			762	790	962
по модели В			580	593	750
по модели Г			329	365	405
От общего количества по модели А			1529	1553	1879
в %: модель Б			50%	51%	51%
модель В			38%	38%	40%
модель Г			23%	23%	22%

Перечень ритмических вариаций, входящих в модели (Б) и (В) (которые только и употребительны практически в итальянском стихе), с примерами звучания «чистых» вариаций и с суммарными показателями частот словосочетаний, входящих в эти вариации (в 0,0001) дается в табл. 2.

Из суммарных строк таблицы видно: если принять общую вероятность всех словосочетаний чисто-силлабической модели (А) за 100%, то ограничения (Б), (В) и (Г) отберут от нее — в итальянском, испанском и русском стихе одинаково — соответственно 50—51%, 38—40% и 22—23%. Иными словами, показатели реально действующих в итальянском стихе моделей (Б) и (В) лежат по крайней мере вдвое ближе к силлабо-тонической модели (Г), чем к чисто-силлабической модели (А). Таким образом, уже в вероятностной своей модели итальянский стих ближе не к силлабике, а к силлабо-тонике.

Насколько этой вероятностной модели соответствует действительный стих итальянских поэтов, и отклоняется ли он от нее в сторону силлабики или силлабо-тоники, — это должен показать дальнейший анализ.

4. Из итальянских поэтов было обследовано 12 выборок по 500 стихов следующих авторов: (1) Данте «Ад», XV и XXX, «Чистилище», XV и XXX; (2) Петрарка «Канцоньере», 51—89 (преимущественно сонеты); (3) Ариосто «Неистовый Роланд», XII; (4) Тассо «Освобожденный Иерусалим», зачины песен I—VI, XI, XII, XIV, XVI, XVIII, XX; (5) Метастазио «Артаксеркс»; (6) Парини «Вечер»; (7) Альфьери «Агамемнон»; (8) Мандзони «Адельгиз»; (9) Леопарди, стихотворения 1820—1829 гг. (№ 11,

17, 22, 27 по изд. Л. Руссо); (10) Кардуччи, сонеты из сборника «Новые рифмы»; (11) Пасколи, «Кеосский слепец», «Старики на Кеосе», «Потерпевший крушение», «Два орла»; (12) Д'Аннунцио, сонеты из цикла «Безмолвные города» в сборнике «Хвалы». 500 стихов — не очень большая, но, по-видимому, надежная выборка: контрольные подсчеты по другим 500-стишиям Ариосто и Альфьери дали результаты почти тождественные.

Результаты обследования вынесены в табл. 3. Здесь указан процент ударности каждой слоговой позиции, а в заключительном столбце — условный «показатель ямбичности»: разность между средней ударностью четных слогов (2, 4, 6, 8) и нечетных слогов (1, 3, 5, 7). Для сопоставления приводятся соответственные показатели по моделям А, Б, В и Г.

Таблица 3

Профиль ударности итальянского стиха

	Ударения на слогах										Показатель ямбичности
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	
Модель А	20	38	30	29	31	28	25	27	—	100	31—27= 4
Модель Б	22	32	30	59	1	58	29	25	—	100	44—20=24
Модель В	22	31	38	46	1	77	5	34	—	100	47—16=31
Модель Г	26	51	—	65	—	63	—	44	—	100	56— 6=50
Данте	22,6	45,6	17,4	68,6	2,6	65,4	22,8	50,0	3,6	100	57—16=41
Петрарка	22,2	39,8	24,6	65,6	4,8	64,6	14,2	67,6	4,4	100	59—16=43
Ариосто	19,6	43,0	17,0	67,8	4,2	65,4	16,0	52,0	3,4	100	67—14=53
Тассо	29,4	40,0	22,8	63,2	1,6	69,0	12,4	66,2	2,4	100	60—17=43
Метастазио	23,6	36,6	37,2	41,6	0,4	74,2	21,4	62,6	0,8	100	54—21=33
Парини	25,4	33,2	38,8	44,4	2,4	76,2	17,6	64,4	1,4	100	55—21=34
Альфьери	32,6	44,0	14,6	86,4	12,4	57,2	12,0	83,2	5,0	100	68—18=50
Мандзони	33,2	29,8	27,4	70,2	0,6	55,6	12,2	72,8	3,2	100	57—18=39
Леопарди	26,4	30,2	31,8	60,2	2,8	64,4	14,0	63,0	1,6	100	54—19=35
Кардуччи	34,8	34,4	30,2	59,8	2,6	71,6	17,4	56,4	1,2	100	56—21=35
Пасколи	30,4	46,0	11,2	86,2	5,6	46,8	11,0	63,8	0,6	100	61—15=46
Д'Аннунцио	21,6	34,2	33,2	49,8	0,8	79,2	8,8	32,8	1,2	100	49—16=33

Из таблицы видно, какие перемены в общем ритме стиха происходят от запрета сильного ударения на 7-й позиции — при переходе от Б-модели к В-модели. В Б-модели среди четных ударений выделялись две ведущие позиции, 4 и 6, и несли приблизительно поровну ударений; среди нечетных тоже выделялись две ведущие, 3 и 7, и тоже несли приблизительно поровну ударений. В В-модели ударение на 7-й позиции становится запретным и резко падает, а на 3-й позиции, наоборот, усиливается; соответственно среди четных позиций ударение на 6-й резко усиливается (на нее переходит часть ударений с 7-й), а на 4-й ослабевает (с нее пере-

ходит часть ударений на 3-ю). Остальные позиции остаются фактически не затронутыми эволюцией: их ударность или исключена (5, 9), или задана их начальным или конечным положением в стихе (1, 2; 8, 10).

Сравнивая с этими образцами показатели стиха отдельных поэтов, мы видим: профиль ударности самого раннего из них, Данте, близко сходен с симметричным профилем Б-модели (хотя средняя ударность всех четных мест у Данте равномерно выше); а профиль ударности самого позднего из них, Д'Аннунцио, еще ближе сходен с асимметричным профилем В-модели. Остальные поэты образуют как бы переход от Б-ритма к В-ритму: понижение ударности на 4-м слоге, повышение на 6-м и на 3-м. Но переход этот совершается (что очень любопытно) не плавно, а как бы двумя циклами.

Первый цикл — от Данте до Метастазио и Парини: Петрарка и Тассо постепенно ослабляют 4-й слог и усиливают 6-й и 3-й, и только Ариосто в своей сказочно-архаизирующей эпопее отступает от этой тенденции, возвращаясь к ритму Данте. Метастазио и Парини дают уже ритм, очень близкий к В-модели: кажется, что освоение нового стиха уже завершено. Но здесь — как раз между эпохой барокко и эпохой классицизма — происходит резкий перелом: Альфьери неожиданно дает ритм, прямо противоположный наметившейся тенденции, — резко усиливает ударность на 4 слоге и ослабляет на 6-м и 3-м. Этот катаклизм отбрасывает эволюцию ритма почти в исходное положение: поэтам следующих поколений приходится начинать не с показателей Метастазио и Парини, а с показателей Петрарки и Тассо. Это второй цикл эволюции — от Альфьери до Д'Аннунцио: Мандзони, Леопарди, Кардуччи вновь ослабляют 4-й слог и усиливают 6-й и 3-й, и только Пасколи вновь (как когда-то Ариосто) отступает от этой тенденции и возвращается к ритму Альфьери. Наконец, Д'Аннунцио опять достигает ритма, почти совпадающего с ритмом В-модели: освоение нового стиха можно считать завершенным.

В результате такой эволюции выделяются как бы 4 типа ритмических профилей 11-сложника: исходный, близкий к Б-модели (Данте, Ариосто), переходный (Петрарка, Тассо, Мандзони, Леопарди, Кардуччи), конечный, близкий к В-модели (Метастазио, Парини, Д'Аннунцио) и парадоксальный (Альфьери, Пасколи) (рис. 1).

Стиховеды, работавшие традиционными методами, «на слух», как кажется, ни разу не отмечали эту резкую разницу ритмов. Из стиховедов, пользовавшихся подсчетами, нашего материала касался лишь Б. Томашевский в работе 1920 г.: он сделал подсчет по отрывкам Ариосто, Тассо и Альфьери, зорко отметил своеобразие Альфьери («Стихи типа «Lo scriver forte, veritiero fra c o», передаваемые русским ритмом «Придете кудри наклo-

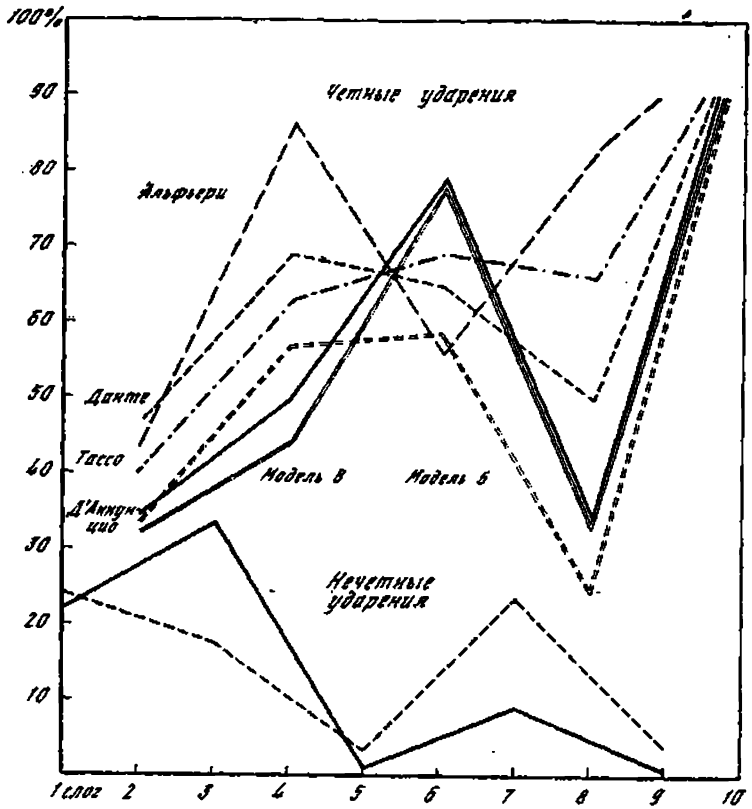


Рис. 1

нять и плакать», столь редкие у Пушкина, составляют как бы основу альфиериевского стихосложения», — Томашевский 1929, с. 223), сделал ценнейшие наблюдения над ритмом итальянских словоразделов. Но он подходил к итальянскому стиху как к 5-стопному ямбу, ударения на нечетных слогах считал сдвинутыми и при подсчете складывал их с ударениями на последующих четных слогах; понятно, что ритм стиха Ариосто и Тассо оказывался у него неузнаваемо сглаженным (ср. наш пересчет по тем же отрывкам в табл. 4). Еще пагубнее был такой подход Томашевского к анализу английского стиха: здесь его стремление искусственно сдвигать ударения с 1-го слога на 2-й и с 8-го на 10-й совершенно деформируют и начало и конец ритмической кривой (Томашевский 1929, с. 224—225). Вообще в первопроходческой работе Б. Томашевского именно эти страницы, посвященные сравнительному стиховедению, наименее надежны и требуют внимательного пересмотра.

Таблица 4

Сопоставление подсчетов профиля ударности

	Ударения на слогах									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Данте, «Ад», I:										
Курилович	19	34	16	57	—	70	13	49	2	100
Наш подсчет	22	49	19	53	2	73	15	51	2	100
Бертинетто	30	57	25	65	4	76	22	60	9	100
Ариосто:										
Наш подсчет	20	40	19	66	5	67	17	50	3	100
Томашевский	—	75,4	—	75,8	—	77,5	—	70,4	—	100
Тассо:										
Наш подсчет	32	37	29	63	0	68	14	62	2	100
Томашевский	—	77,5	—	78,4	—	77,9	—	78,4	—	100
Альфьери:										
Наш подсчет	32	44	13	86	14	57	13	78	6	100
Томашевский	—	75,2	—	94,4	—	64,0	—	87,6	—	100

Мы знаем, что в истории силлабо-тонического стиха переход от барокко к классицизму часто сопровождался переходом от «расшатанного» к «строгому» стиху: в русской поэзии на таком переломе силлабо-тонический стих вытеснил силлабический, в английской поэзии четкий стих Попа сменил гибкий стих Мильтона (Tarlinskaja 1976). Теперь мы видим, что итальянский стих в своей истории тоже ощутил этот перелом: можно сказать, что под пером Альфьери итальянский ритм стоял на грани превращения из силлабики в силлабо-тонику. Этого, однако, не произошло; почему, — отчасти станет ясно из дальнейшего рассмотрения.

5. Глядя на столбец «показателей ямбичности» в табл. 3, мы замечаем любопытную закономерность. В модели (Б) этот показатель ниже, чем в модели (В), и это вполне понятно. Но в реальном стихе ранних поэтов (от Данте до Тассо) этот показатель в полтора—два раза выше, чем в модели, по которой они писали, а в реальном стихе поздних поэтов (за исключением парадоксальных Альфьери и Пасколи) этот показатель если и выше, чем в модели, то всего лишь на несколько процентов. Иными словами: пока модель была менее ямбична, поэты опережали ее в своем стремлении к ямбу; когда модель стала более ямбична, поэты (за исключением Альфьери и Парини) стали сдержанней и как бы притормозили. Это значит, что наряду с тенденцией к силлабо-тонической строгости в итальянском стихе действует и контртенденция к силлабическому разнообразию: возросшая

ямбичность II полустишия (продиктованная моделью В) уравновешивается ослаблением ямбичности I полустишия.

Ослабление ямбичности I полустишия может происходить от двух причин. В итальянском стиховедении различаются два типа 11-сложников: «а миноре» (4+6 слогов, с опорным ударением на 4-м слоге) и «а майоре» (6+4 слога, с опорным ударением на 6-м слоге). Это различение вполне разумно и восходит к различению стихов с женской цезурой после II и после III стопы в латинском ямбическом триметре, из которого и вышел 11-сложник (см. Burger 1957, гл. I, 1 и II, 2, 1). Правда, традиционное стиховедение сильно запутало этот вопрос, пытаясь различать «а миноре» и «а майоре» не по положению ударений, а по положению синтаксических фразоразделов, сплошь и рядом определяемых субъективно; но мы в дальнейшем называем «а миноре» всякий стих с ударением на 4-м слоге, а «а майоре» всякий стих без ударения на 4-м слоге (см. табл. 2). Малое, 4-сложное полустишие может иметь «нулевой ритм» (xxxx́), «четный ритм» (xx́xx́) и «сдвинутый ритм» (x́xxx́). Большое, 6-сложное полустишие может иметь те же ритмы, «нулевой» (xxxxx́, редок), «четный» (xx́xx́xx́) и «сдвинутый» (x́xxx́xx́), но, кроме них, еще и «нечетный» (x̀xx́xxx́), — он-то и нарушает ощутимее всего ямбическую инерцию. В модели Б 6-сложное полустишие может иметь нечетный ритм как в стихе «а миноре» (4+6), так и в стихе «а майоре» (6+4); в модели В — только в стихе «а майоре». Поэтому стих В-модели тем более ямбичен, чем меньше в нем стихов «а майоре» и чем меньше в них шестисложий с нечетным ритмом, и наоборот. Это и есть два фактора усиления или ослабления ямбичности I полустишия.

Примеры звучания нулевого, четного, сдвинутого и нечетного ритмов в 4-сложных полустишиях (о, ч, с) и 6-сложных полустишиях (О, Ч, С, Н) приведены в табл. 2. Соотношение этих ритмов в полустишиях каждого рода у каждого поэта показано в табл. 5. Здесь же дано и соотношение стихов «а миноре» и «а майоре» (м : М).

Из таблицы видно, что понижение «ямбичности» у поэтов послетассовского В-ритма и повышение «ямбичности» в парадоксальном ритме Альфьери и Пасколи вызваны разными причинами.

Для поэтов В-ритма это — нарастание нечетных ритмов в первых полустишиях стихов «а майоре» (у дотассовских поэтов — ниже модели, у послетассовских — на уровне модели и даже выше) и отчасти — сдвинутых ритмов в первых полустишиях стихов «а миноре» (у дотассовских — на уровне модели, у послетассовских — выше). По сравнению с этим некоторое нарастание доли самих стихов «а майоре» остается малосущественным (и у дотассовских и у послетассовских поэтов процент стихов «а майоре» одинаково отстает от модели).

Таблица 5

Ритм полустиший итальянского стиха

		Первое полустишие							Второе полустишие						
	м : М	о	ч	с	О	Ч	С	Н	о	ч	с	О	Ч	С	Н
Модель Б	59 : 41	39	37	24	—	28	10	62	72	21	7	6	51	2	41
Модель В	45 : 55	37	38	25	—	28	10	62	72	21	7	9	89	2	—
Данте	68 : 32	27	47	26	6	42	6	46	40	47	13	2	78	—	20
Петрарка	66 : 34	35	39	26	3	40	3	54	31	56	13	—	90	4	6
Ариосто	68 : 32	36	43	21	3	44	8	45	51	34	15	1	85	4	10
Тассо	63 : 37	27	45	28	3	31	4	62	31	49	20	—	96	2	2
Метастазио	42 : 58	25	45	30	1	30	6	63	25	47	28	—	93	7	—
Парини	45 : 55	30	39	31	2	26	4	68	21	56	23	1	95	4	—
Альфьери	84 : 16	23	47	30	—	20	2	78	26	54	20	—	87	12	1
Мандзони	70 : 30	30	36	34	—	12	4	84	34	39	27	1	86	13	—
Леопарди	60 : 40	32	36	32	—	21	3	76	35	43	22	—	96	3	1
Кардуччи	60 : 40	22	37	41	2	26	8	64	33	39	28	3	91	2	4
Пасколи	86 : 14	22	47	31	1	38	12	49	46	12	42	3	89	6	2
Д'Аннунцио	50 : 50	30	37	33	1	30	9	60	72	19	9	6	88	1	5

Для Альфьери и Пасколи — наоборот: специфика их парадоксального ритма определяется всецело тем, что у них в стихах огромен процент строк «а миноре» (не допускающих нечетных ритмов) и ничтожен процент строк «а майоре»; по сравнению с этим совершенно несущественным оказывается то, что в этих немногих строках «а майоре» Пасколи пользуется нечетными ритмами ниже модельного уровня (т. е. слегка еще усиливает ямбичность), а Альфьери — выше модельного (т. е. слегка умеряет и разнообразит ямбичность). Откуда явилось у Альфьери это засилье стиха «а миноре» (4+6), можно сказать почти с уверенностью: от влияния французского стиха, допускавшего только членение 4+6, с постоянным ударением на 4-м слоге и цезурой после него. Альфьери, как известно, при всей своей ненависти к французам был человеком французской культуры, и даже трагедии свои поначалу набрасывал по-французски. В целом французский стих силлабичнее итальянского (ритм его коротких полустиший меньше нуждается в ямбическом или ином урегулировании, чем ритм длинного итальянского стиха); тем любопытнее, что он дал толчок тому ритмическому эксперименту, в котором итальянский стих максимально приблизился к силлабо-тонизму.

6. Испанский стих перенял технику итальянского 11-сложника лишь в XVI в., когда там уже господствовал стих, строившийся по В-модели, — с запретом сильного ударения на 7-м слоге. Эта модель с самого начала и легла в основу испанского 11-сложника: строки с допущением ударения на 7-м слоге («дактилические», по испанской терминологии) как правило не смешиваются

с обычными 11-сложниками — *разве что в порядке эксперимента* (архаизирующая «Баллада Музе из плоти и кости» Р. Дарио). Среди ритмов 11-сложника испанские метристы различают один соответствующий итальянскому «а миноре» — «сапфический» (1—4—8—10, 2—4—8—10 и т. п.) и три соответствующих итальянскому «а майоре» — «эмфатический» (1—6—10 и т. п., наш «сдвинутый ритм»), «героический» (2—6—10 и т. п., наш «четный ритм») и «мелодический» (3—6—10 и т. п., наш «нечетный ритм») (см. Navarro 1956; Baehr 1962).

Из испанских поэтов было обследовано 4 выборки по 500 стихов: (1) Гарсиласо де ла Вега, 30 сонетов и начало III эклоги; (2) Лопе де Вега, поэма «Драконтея», II; (3) поэты конца XVIII в.: «Послание к Фабию» Ховельяноса, «Меланхолик» Мелендес Вальдеса, «Осень» Сьенфуэгоса; (4) Р. Дарио, стихи разных лет. Результаты обследования вынесены в табл. 6; здесь же — и теоретически рассчитанные 4 модели испанского стиха.

Таблица 6

Профиль ударности испанского стиха

	Ударения на словах										Показатель ямбичности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Модель А	20	36	35	31	26	29	38	28	—	100	31—28= 3
Модель Б	21	31	25	61	—	57	25	34	—	100	46—18=28
Модель В	21	31	33	48	—	75	—	46	—	100	50—14=36
Модель Г	16	50	—	75	—	59	—	62	—	100	62— 4=58
Гарсиласо	16,0	50,4	15,6	56,4	0,6	82,8	6,6	34,6	1,0	100	56—10=46
Лопе де В.	22,0	38,8	21,4	50,0	0,2	72,8	1,8	47,8	1,8	100	52—11=41
XVIII век	23,2	43,4	25,4	45,4	0,4	48,8	4,8	43,8	0,8	100	45—13=32
Р. Дарио	20,4	40,0	29,0	49,0	0,4	50,4	8,2	35,8	1,8	100	44—15=29

При всей ограниченности обследованного материала мы видим: эволюция испанского стиха идет в направлении, противоположном эволюции итальянского стиха, — не «к модели», а «от модели».

Ритм четных слогов у ранних поэтов, Гарсиласо и Лопе, близко следует ритму В-модели с ее характерным взлетом на 6-м слоге; у поздних поэтов, и у классицистов и у модернистов, этот ритм сглаживается, и кривая ударности вытягивается в почти ровную линию (около 45% ударений на каждой «стопе»). При этом «показатель ямбичности» понижается гораздо заметнее, чем в итальянском стихе: у ранних поэтов он выше модели, у поздних ниже, при этом преимущественно — за счет снижения средней ударности четных слогов. Напрашивается предположение, что перед нами — процесс, знакомый по истории русского стиха (Гаспаров 1974, с. 124): пока ритм непривычен, он подчеркивается

усиленной ударностью всех стоп, а когда становится привычен, то эта надобность отпадает. Однако в русском стихе «разгрузка ударений» начиналась с более слабых позиций, а в испанском стихе — с самой сильной, 6-й позиции; поэтому такое объяснение недостаточно, и вопрос остается открытым.

Ритм нечетных слогов более близок итальянскому стиху: то же постепенное усиление 3-го слога и (от Лопе до Дарио) 7-го слога. Первое — результат нарастания нечетных ритмов в первых полустишиях «а майоре», как и в итальянском стихе (в модели — 46%; у ранних поэтов меньше: 31 и 42%; у поздних больше: 54 и 49%); второе — результат нарастания «сдвинутых» ритмов во вторых полустишиях «а майоре», тоже как в итальянском стихе. Сами пропорции строк «а миноре» и «а майоре» практически не меняются (доля «а майоре» в модели — 58%; во всех четырех образцах — ниже: 44, 50, 46 и 51%).

По данным испанских метристов (Navarro 1956, §§ 105, 175, 238, 241, 303, 376, 469), пропорции «сапфического», «героического», «мелодического» и «эмфатического» стиха в составе 11-сложника меняются от 48 : 35 : 15 : 2 в XVI в. до 40—50 : 15—25 : 30 : 5 в XX в.: это нарастание «мелодического» типа (3—6—10) и дает отмеченное нами усиление ударности 3-го слога. Из промежуточных этапов привлекает внимание XVIII век: здесь, по Наварро, отмечается предельное повышение (до 70%) «сапфического» типа (4—8—10) и разработка близкого к нему «французского» типа (4—6—10), в которых мы узнаем характерный ритм Альфьери. По-видимому, вопрос о формах французского влияния на ритм романских размеров XVIII в. обещает быть очень интересным.

7. В русском стихе опыты имитации бесцезурного силлабического 11-сложника итальянского типа единичны. Цезурованный силлабический 11-сложник польского образца (5+6) был распространен у нас в XVII в., цезурованным 10-сложником французского образца (4+6) Б. И. Ярхо перевел «Песнь о Роланде» (1934); но ритм цезурованного стиха, слагающийся из ритмов двух изолированных полустиший, несопоставим с тем связным ритмом, которым мы занимаемся. Первый опыт имитации итальянского образца сделал С. Шевырев в переводе первых строк II песни «Ада» («Учен. зап. Московского университета», 1833, ч. 2, № 5, отд. 3, с. 344):

Мною входят в град скорбей безутешных,
Мною входят в мученья без конца,
Мною входят в обитель падших грешных;
Правда подвигла моего творца
Властию бога, вышней мощью знанья
И первою любовию Отца. . .

Мы обследовали четыре экспериментальные образца русского бесцезурного 11-сложника. (1) Самая неожиданная из находок:

перевод поэмы Х. Бялика «Свиток о пламени», 967 стихов (по изд.: *Х. Н. Бялик.* Песни и поэмы. 2-е доп. изд. СПб., 1912; примечание переводчика, с. 54—55: ««Свиток о пламени» в подлиннике написан прозой. Переводчик не рискнул передать эту изумительно ритмическую и гармоничную прозу иначе как белым стихом, построенным по образцу итальянского эндекасиллабо — с обязательным ударением на 4- или 6-м слоге: разнообразный, меняющийся ритм этого размера, может быть, до некоторой степени передаст тоническое падение оригинала»). (2) Пробный перевод эпизода Уголино из Данте, предложенный А. Илюшиным, 105 стихов (Илюшин 1976, с. 72: «Предложим свой вариант перевода... выполненного русским силлабическим 11-сложником, эквиритмичным итальянскому. . .»). (3) Перевод I главы «Конрада Валенрода» Мицкевича, сделанный С. Соловьевым, 130 стихов (по изд.: *А. Мицкевич.* Избранные произведения. М.—Л., 1929; цезура подлинника в переводе не соблюдена, так что стих получается ближе к итальянскому, чем к польскому). Кроме того, (4—4а) обследован перевод того же эпизода Уголино, сделанный тем же А. Илюшиным (1976), но с польского перевода-посредника А. Мицкевича, и для сравнения — польский текст, 128 стихов (переводчик пишет — Илюшин 1976, с. 88: «Перевод эквиритмичен — русский силлабический 11-сложник, соответствующий польскому, с обязательной женской цезурой после 5-го слога в каждом стихе»; но в действительности цезура нарушается в 20% всех строк — «. . . И слез не льешь? Но что ж тогда их выжмет? . .» — так что перед нами не цезурованный ритм полустиший, а связный ритм цельного стиха). Результаты обследования вынесены в табл. 7; здесь же — и теоретически рассчитанные 4 модели русского 11-сложника.

Из таблицы видно: модель В, самая характерная для итальянского стиха, не воспроизведена в русских имитациях ни разу: специфика этого полуямбического ритма так и осталась не расслышана. По модели А, чисто-силлабической, построен перевод С. Соловьева из «Валенрода»: ударения ровно распределяются по всем слогам, слегка учащаясь (по сравнению в вероятностью) только на 1-м, 4-м и 7-м слогах; кажется, что, отталкиваясь от ритма 5-стопного ямба, поэт невольно впадает в ритм 4-стопного дактиля. По модели Б построен перевод из Бялика; при этом переводчик обнаружил превосходный слух, уловивши тенденцию дальнейшей эволюции итальянского стиха к усилению ямбичности во II полустишии и к ослаблению в 1-м, — во II полустишии у него ударность четных слогов выше, а нечетных ниже, чем в модели, в I полустишии — наоборот. Поэтому, если кривая нечетных ударений напоминает у него Б-ритм Данте, то кривая четных ударений еще больше напоминает В-ритм Д'Аннунцио. Наконец, переводы А. Илюшина из Данте и Мицкевича (ритм их совершенно тождественный) тоже построены по Б-модели, но в рамках ее обнаруживают тенденцию прямо противоположную: резкое усиление

Таблица 7

Профиль ударности русского стиха

	Ударения на слогах										Показатель ямбичности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Модель А	41	41	41	29	31	43	35	28	—	100	35—37=—2
Модель Б	33	43	21	55	—	62	22	28	—	100	48—19=28
Модель В	32	42	27	42	—	80	—	37	—	100	50—15=35
Модель Г	—	84	—	52	—	70	—	43	—	100	62— 0=62
«Свиток. . .»	32,7	31,9	34,0	50,8	—	78,9	15,7	33,3	—	100	49—21=28
«Уголино»	14,0	75,0	2,0	90,5	10,5	39,0	53,5	29,5	—	100	59—20=39
«Валенрод»	41,5	28,5	36,9	39,2	33,8	29,2	46,9	24,6	—	100	30—40=—10
«Уголино» Мицкевича:											
перевод	*34,5*	*65,0*	*4,0*	*99,0*	*3,0*	*37,5*	*50,5*	*36,5*	—	*100*	*60—23=37*
оригинал	55,0	51,0	4,0	98,0	2,0	42,0	45,0	43,0	5,0	100	59—27=37

ямбичности в I полустишии (в частности, полный отказ от стихов «а майоре» и соответственно от нечетных ритмов в них) и резкое ослабление ямбичности во II полустишии (в частности, немыслимое в итальянском стихе преобладание 7-го слога над 6-м и 8-м). Откуда взялась такая тенденция, легко понять из той же таблицы: ритм А. Илюшина ближайшим образом повторяет (и даже усиливает) ритм Мицкевича с его характерной для польской силлабики ударной константой на 4-м слоге и равноправием четного и нечетного ритмов во II полустишии (. . . 6—8—10 и . . . 7—10). Так происходит неожиданная подмена имитации итальянской силлабики имитацией польской силлабики: для русского слуха (за триста лет отвыкшего от силлабического стиха) они смешиваются.

Разница ритма в наших образцах так отчетлива, что ее можно уловить простым сопоставлением:

Перевод из «Конрада Валенрода» (модель А: ямбичность ослаблена в обоих полустишиях):

С Мариенбургской башни зазвонили,	4—6—10
Пушки гремят, барабаны забили:	1—4—7—10
День торжества для рати крестоносной,	1—4—6—10
Множество комтуров в град поспешает,	1—4—7—10
Встал в капитуле шум многоголосный,	1—3—6—10
И, к духу святому воззвавши, судят	2—5—8—10
О том, на чьих персях крест засияет,	2—5—7—10
В чьи руки меч великий вложен будет. . .	2—4—6—8—10

Перевод из «Свитка о пламени» (модель Б, ямбичность ослаблена преимущественно в I полустишии):

Всю ночь оно пылало, воздымая	2—4—6—10
ввысь над горою храма языки	1—4—6—10
огня. С высот опаленного неба	2—4—7—10
брызгали звезды ливнем искрометным	1—4—6—10
на земь. Или господь свой трон небесный	1—6—8—10
и свой венец вдребезги раздробил?	2—4—5—10
Обрывки красных туч, перегруженных	2—4—6—10
кровью с огнем, скитались в просторах	1—4—6—10
ночи, неся по далеким горам	1—4—7—10
скорбную весть о гневе бога мщений. . .	1—4—6—8—10

Перевод из Данте (модель Б, ямбичность ослаблена преимущественно во II полустишии):

Подняв уста от чудовищной яди,	2—4—7—10
Свирепый грешник утер их власами	2—4—7—10
Главы, чей череп изглодан был сзади,	2—4—7—10
И молвил: «Хочешь былыми скорбями	2—4—7—10
Сдавить мне сердце, чтоб несло их бремя	2—4—8—10
Прежде, чем горе выскажу словами?	1—4—6—10
Что ж, если повесть прорастет, как семя,	1—4—8—10
Бесславьем ему, грызомому мною, —	2—5—7—10 (!)
И речь услышишь и плач в то же время. . .	2—4—7—10

Скудость этого материала по русскому стиху не делает его менее интересным. Эксперименты такого рода имеют не только теоретическую, но и практическую важность — прежде всего для переводчиков. Сейчас русский 5-стопный ямб используется как эквивалент и для английского и для чешского ямба, и для французского и для итальянского силлабического стиха, — а они очень различны. Конечно, нет нужды делать эквиметрию предметом культа; но обогащать разнообразие стиховых средств, чтобы не смешивать самые разные поэтические интонации и стили в одном обезличенном размере, для переводчиков (и не только для переводчиков) очень существенно. В последние годы все чаще раздаются выступления против сглаженных переводов и в частности (Илюшин 1971) против сглаженных ритмов; учащаются эксперименты по передаче славянской силлабики; не меньшее право на внимание имеют и эксперименты по передаче романской силлабики. Поэтому закончим наш обзор двумя новыми переводами, стремящимися передать ритм итальянской силлабики (за предоставление которых приношу глубокую благодарность их авторам). Первый держится модели А, второй — модели Б (с преимущественным ослаблением ямбичности в I полустишии, как и в итальянском стихе). Можно обратить внимание на лишние слоги в 11-сложнике (ст. 8 в первом, ст. 3 и 10 во втором сонете) — по-видимому, они подсказаны впечатлением от неслитного произношения слогов в элизиях, и правомерность их употребления еще подлежит обсуждению.

Петрарка, сонет I (пер. И. М. Семенко):

У вас, кто слышит рифм беглых звучанье
И вздохов, что сердце мое питали
В дни молодых грехов в жизни начале,
Когда был другим, чем в этом признанье;
Разный стиль речи и плача, в блужданье
Меж тщетных надежд и тщетной печали,
У тех, кто любовь по опыту знали,
Не только прощенье найдут — сострадание.
Но притчею в человеческом роде
Долго я был, и теперь начинаю
Себя пред собой стыдиться за это.
И стыд фантазий моих не бесплоден:
Я каюсь теперь, и так ясно знаю,
Что сон короткий — все радости света.

Данте, заключительный сонет «Новой жизни» (пер. О. А. Седаковой):

Над широчайшей сферою творенья,
Выйдя из сердца, вздох проходит мой.
Это Любовь, рыдая, разум иной
В него вложила в новом устремленье.
Воздух-паломник! Вот где тяготенье
Разрешено: и перед Госпожой
В славе стяжанной, в милости живой,
В свете безмерном он теряет зренье.
И, возвратившись, речью покровенной
Слабо и смутно ведет повествованье,
Скорбной душой неволимый моей.
И по тому, как часто о Блаженной
Он поминал, — я разгадал посланье.
Донны мои! Так я узнал о Ней.

8. Выводы. 1) Итальянский 11-сложник не есть чисто-силлабический стих: по ограничениям, налагаемым на отбор ритмических вариантов, он вдвое ближе к силлабо-тонике, чем к силлабике.

2) В раннем стихе (до XVI в.) силлабо-тонических ограничений меньше, в позднем — больше.

3) Поэты в своей практике стремятся уравновесить тенденции к силлабо-тонической строгости и к силлабическому разнообразию: в раннем стихе они усиливают его потенциальный силлабо-тонизм, в позднем — наоборот, притормаживают.

4) Тенденция к силлабо-тонизму реализуется прежде всего во II полустишии, противоположная тенденция — в I полустишии.

5) Различные сочетания этих тенденций дают 4 типа ритма итальянского 11-сложника; исходный, переходный, конечный и (самый силлабо-тоничный) парадоксальный.

6) Испанский стих перенял ритмику итальянского 11-сложника в ее поздней форме и переработал ее в 5-й, сглаженный тип.

7) Русский стих показывает полную возможность передачи ритмов итальянской силлабики в различной степени приближения.

ЛИТЕРАТУРА

Гаспаров М. Л. Русский силлабический тринадцатисложник. — Metryka słowiańska, Wrocław, Ossolineum, 1971, 39—64.
Гаспаров М. Л. Современный русский стих: метрика и ритмика. М., Наука, 1974.
Илюшин А. А. Стих «Божественной Комедии». — Дантовские чтения. М., Наука, 1971, с. 145—173.
Илюшин А. А. Эпизод Уголино в «Божественной Комедии». — Дантовские чтения, М., Наука, 1976, с. 71—91.
Томашевский Б. В. О стихе. Л., Прибой, 1929.
Bachr R. Spanische Verslehre auf historischer Grundlage. Tübingen, 1962.
Bertinetto P. M. Ritmo e modelli ritmici: analisi computazionale delle funzioni periodiche nella versificazione dantesca. Torino, 1973.
Burger M. Recherches sur la structure et l'origine des vers romans. Genève—Paris, 1957.
Elwert W. Th. Italienische Metrik. München, 1968.
Federzoni G. Dei versi e dei metri italiani. Per uso delle scuole. Ed. 2. Bologna, 1907.
Giammati A. B. Italian. — Versifications: major language types. Ed. W. K. Wimsatt. N. Y., 1972, p. 148—164.
Kuryłowicz J. Metrik und Sprachgeschichte. Wroclaw, 1975.
Halle M., Keyser S. J. English stress: its form, its growth and its role in verse. N. Y.—L., 1971.
Migliorini B., Chiappelli F. Elementi di stilistica e di versificazione italiana. Per le scuole medie superiori. Ed. 8. Firenze, 1958.
Tarlinskaja M. English verse: theory and history. The Hague — Paris, 1976.

ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОРГАНИЗАЦИИ РИТМИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ

Предметом настоящей статьи является распространенный в современной поэзии (но встречающийся у отдельных поэтов XX в. и в предшествующие периоды) способ ритмической и синтаксической организации стихотворения, при котором начальные строфы (а чаще всего и конечные) выполнены в традиционном (или во всяком случае «нормальном», «правильном») ритмическом ключе, но далее

(обычно в связи с введением основной темы) традиционный («нормальный») ритм резко сменяется необычными ритмическими фигурами, что может быть сопряжено и с необычными ритмико-синтаксическими построениями, прежде всего с переносами.

В качестве первого примера можно привести недавнее стихотворение Д. Самойлова [1].

Средь шумного бала

1. Когда среди шумного бала
2. Они повстречались случайно,
3. Их встреча, казалось сначала,
4. Была не нужна и печальна.
5. Он начал с какого-то вздора
6. В своем ироническом тоне,
7. Но, не поддержав разговора,
8. Она уронила ладони.
9. И словно какая-то сила
10. Возникла. И, как с палимпсеста,
11. В чертах ее вдруг проступила
12. Его молодая невеста —
13. Такой, как тогда, на перроне,
14. У воинского эшелона.
15. И так же платочек в ладони
16. Сжимала она обреченно.
17. И в нем, как на выцветшем фото,
18. Проявленном в свежем растворе,
19. Вдруг стало пробрезживать что-то
20. Былое — в лице и во взоре.
21. Вдвоем среди шумного бала
22. Ушли они в давние даты
23. — Беда, — она тихо сказала, —
24. Но оба мы не виноваты.
25. Меж нашей разлукой и встречей
26. Война была посередине.
27. И несколько тысячелетий
28. Невольно нас разъединили.
29. — Но как же тогда, на вокзале,
30. Той осенью после победы, —
31. Вы помните, что мне сказали
32. И мне возвратили обеты?
33. — Да, помню, как черной вдовою
34. Брела среди пасмурных улиц.
35. Я вас отпустила на волю,
36. Но вы же ко мне не вернулись. . .
37. Вот так, среди шумного бала,
38. Где встретились полуседыми,
39. Они постигали начало
40. Беды, приключившейся с ними.
41. Все, может быть, было уместно:
42. И празднества спад постепенный,
43. И нежные трубы оркестра,
44. Игравшего вальс довоенный.

Для наглядности ритмического анализа представляется целесообразным дать ритмическую запись всего стихотворения (схема 1), использующую (в соответствии с предложениями акад. А. Н. Колмогорова) знак ⌒ для обозначения того метрически слабого слога (в начале и в конце строки), на который может падать ударение в случае, если этот слог занят односложным словом (в начале строки) или словом, первый слог которого начинается с ⌒ (в конце строки, уточнение, требуемое для дактилических и гипердактилических рифм); знаки — и ⏑ используются в обычном значении и соответственно не комментируются; знак | означает словораздел, || — конец синтаксической группы, ||| — паузу

[1] Молодежь Эстонии, 1978, 11 ноября; см. также: Новый мир, 1978, № 12.

1. ⏜⏑|⏒⏒|⏑⏒⏒|⏑⏜|
2. ⏜⏑|⏒⏒⏑⏒|⏒⏑⏜||
3. ⏜⏑⏒||⏒⏑⏒|⏒⏑⏜||
4. ⏜⏑|⏒⏒⏑|⏒⏒⏑⏜|||
5. ⏜|⏑⏒|⏒⏑⏒⏒|⏑⏜|
6. ⏜⏑|⏒⏒⏑⏒⏒|⏑⏜||
7. ⏜|—⏒⏒⏑|⏒⏒⏑⏜||
8. ⏜⏑|⏒⏒⏑⏒|⏒⏑⏜||
9. ⏜|⏑⏒|⏒⏑⏒⏒|⏑⏜|
10. ⏜⏑⏒||⏒|—|⏒⏒⏑⏜|
11. ⏜⏑|⏒⏒|⏑|⏒⏒⏑⏜|
12. ⏜⏑|⏒⏒⏑⏒|⏒⏑⏜|
13. ⏜⏑|⏒⏒⏑||⏒|⏒⏑⏒|
14. ⏜|⏑⏒⏒—|⏒⏒⏑⏜||
15. ⏜|⏑⏒|⏒⏑⏒|⏒⏑⏜|
16. ⏜⏑⏒|⏒⏑|⏒⏒⏑⏜||
17. ⏜⏑|⏒|⏒|⏑⏒⏒|⏑⏜||
18. ⏜⏑⏒⏒|⏑⏒|⏒⏑⏜||
19. ⏜|⏑⏒|⏒⏑⏒⏒|⏑⏜|
20. ⏜—⏒|⏒⏑|⏒|⏒|⏑⏜||
21. ⏜⏑|⏒⏒|⏑⏒⏒|⏑⏜|
22. ⏜⏑|⏒⏒|⏑⏒⏒|⏑⏜||
23. ⏜⏑||⏒⏒|⏑⏒|⏒⏑⏜||
24. ⏜|⏑⏒|⏒|—|⏒⏒⏑⏜||
25. ⏜|⏑⏒|⏒⏑⏒|⏒|⏑⏒|
26. ⏜⏑|⏒⏒|—⏒⏒⏑⏜|
27. ⏜|⏑⏒⏒|—⏒⏒⏑⏜|
28. ⏜⏑⏒|⏒|—⏒⏒⏑⏜|
29. ⏜|⏑|⏒|⏒⏑|⏒||⏒⏑⏜||
30. ⏜|⏑⏒⏒|⏑⏒|⏒⏑⏜||
31. ⏜|⏑⏒⏒|⏑|⏒|⏒⏑⏜|
32. ⏜|⏑|⏒⏒⏑⏒|⏒⏑⏜||
33. ⏜||⏑⏒|⏒|⏑⏒|⏒⏑⏜|
34. ⏜⏑|⏒⏒|⏑⏒⏒|⏑⏜||
35. ⏜|⏑|⏒⏒⏑⏒|⏒|⏑⏜||
36. ⏜|⏑|⏒|⏒|⏑|⏒|⏒⏑⏜|||
37. ⏜|⏑|⏒⏒|⏑⏒⏒|⏑⏜||
38. ⏜|⏑⏒⏒|—⏒⏒⏑⏜|
39. ⏜⏑|⏒⏒⏑⏒|⏒⏑⏜|
40. ⏜⏑|⏒⏒⏑⏒⏒|⏑⏜|
41. ⏜|⏑⏒|⏒|⏑⏒|⏒⏑⏜||
42. ⏜|⏑⏒⏒|⏑|⏒⏒⏑⏜|
43. ⏜|⏑⏒⏒|⏑⏒|⏒⏑⏜|
44. ⏜⏑⏒⏒|⏑|⏒⏒⏑⏜|||

Характерной чертой стихотворения Самойлова «Средь шумного бала» является использование намеренно традиционного трехсложного размера. Эта традиционность амфибрахия подчеркнута и заглавием, и той же цитатой «средь шумного бала», симметрично повторяющейся в рифмующихся частях первой строки первой, шестой и десятой строф: *Когда среди шумного бала, Вдвоем среди шумного бала, Вот так, среди шумного бала.*

Но цитатность стихотворения в большой степени кажущаяся. Ритм его отличается наличием очень значительного числа (в 18,2% всех строк, в абсолютных цифрах — в 8 случаях из 44) строк с пропусками метрического ударения (типичных и для ямбов позднего Самойлова, в частности для его небольших поэм), которое в классическом русском трехсложнике, в частности в амфибрахии, обычно *не опускалось* [2]. *Во всех случаях, кроме одного* (то есть в 7 строках) пропущено серединное метрическое ударение (что представляет собой наиболее обычный тип пропуска метрического ударения в трехсложных размерах русской поэзии). Чрезвычайно существенным представляется место, где употреблена единственная в стихо-

[2] О поэзии XX в. ср.: *Иванов В. В.* Из наблюдений над четырехстопным ямбом современных поэтов. — В кн.: Slavic poetics essays in honor of K. Taranovsky. The Hague, 1973, p. 231 и след.

творении строка с пропуском первого метрического ударения (вообще крайне редкий метрический тип, в том числе и в поэзии XX в.) при слабом внеметрическом усилении первого безударного слога. Эта строка — 7-я — приходится на начало второй половины второй строфы стихотворения, где после первых шести ритмически традиционных строк, излагающих традиционный мотив случайной встречи, резкая необычность ритма сигнализирует начало новой темы:

7. Но, не поддержав разговора, | ⌒ ‖ — | ∪ ∪ ⏑ | ∪ ∪ ⏑ ⌒ ‖

Ритмические особенности седьмой строки связаны и с необычностью синтаксического членения, выделяющего *но* в первом слоге, за которым следует деепричастный оборот (начинающийся с отрицания *не*, приходящегося на метрически сильный слог, но безударного).

Взаимодействие необычного пропуска или ослабления метрического ударения (в данном случае, как и во всех следующих, серединного) на полусамостоятельном *как* (в авторском исполнении, однако, близком к ударному) и синтаксического переноса выделяет вторую строку следующей (третьей) строфы, продолжающей тот поворот сюжета, который наметился в конце предыдущей строфы:

9. И словно какая-то сила | ⌒ | ⏑ ∪ | ∪ ⏑ ∪ ∪ | ⏑ ⌒ |
10. Возникла. И, как с палимпсеста, | ⌒ ⏑ ∪ ‖ ∪ | — | ∪ ∪ ⏑ ⌒ |
11. В чертах ее вдруг проступила... | ⌒ ⏑ | ∪ ∪ | ⏑ | ∪ ∪ ⏑ ⌒ |

Как и предыдущем случае пропуска метрического ударения (в 7-й строке), оно приходится на безударное, но тем не менее автономное слово (*как*). Эта же ритмическая тема развивается в следующей четвертой строфе (которая и тематически непосредственно развертывает картину, намеченную в предшествующей строфе), но здесь пропуск метрического ударения соответствует части (гипердактилической) предшествующего слова (*У воинского эшелона*). Наблюдавшийся в предшествующих случаях пропуск метрического ударения на словах, безударных, но независимых, повторяется через одну строфу — в шестой строфе, причем и здесь, как прежде во второй строфе, пропуск метрического ударения приходится на отрицание *не* (при выделении *но* на первом слоге, как и в описанном случае):

24. Но оба мы не виноваты | ⌒ | ⏑ ∪ | ∪ | — | ∪ ∪ ⏑ ⌒ |

Следующая — седьмая — строфа ритмически выделена как основная. В ней трижды использовано последовательное накопление строк с пропусками серединного метрического ударения:

26. Война была посередине | ⌒ ⏑ | ∪ ∪ | — ∪ ∪ ⏑ ⌒ ‖
27. И несколько тысячелетий | ⌒ ⏑ ∪ ∪ | — ∪ ∪ ⏑ ⌒ ‖
28. Невольно нас разъединили | ⌒ ⏑ ∪ | ∪ | — ∪ ∪ ⏑ ⌒ ‖

По существу эти три строки можно было бы считать написанными особым метром, по отношению к которому первая (26-я) строка строфы *Меж нашей разлукой и встречей* могла бы считаться содержащей отягчающее внеметрическое ударение.

Но за этой переломной строфой следуют две такие, в которых осуществляется возврат к «правильному» ритму первой строфы. Лишь в десятой строфе вновь (после повторения в 37-й строке традиционного цитатного рефрена «Среди шумного бала») возникает (в 38-й строке) пропуск метрического ударения, точнее (на этот раз) его ослабление, поскольку на метрически сильный слог приходится полуударная часть сложного слова (*полуседыми*):

38. Где встретились полуседыми | ⏜ | ⏑ ⏒ ⏑ | ⏑ ⏒ ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏒ ⏑ ⏜ |

Следующие полторы строфы (заключительные) воспроизводят тот же традиционный ритм, в котором выдержаны первые полторы строфы стихотворения. Конец и начало стихотворения непосредственно связаны не только ритмически, но и тематически: описанием «бала» — празднества вне трагической предыстории, раскрытой в серединных строфах.

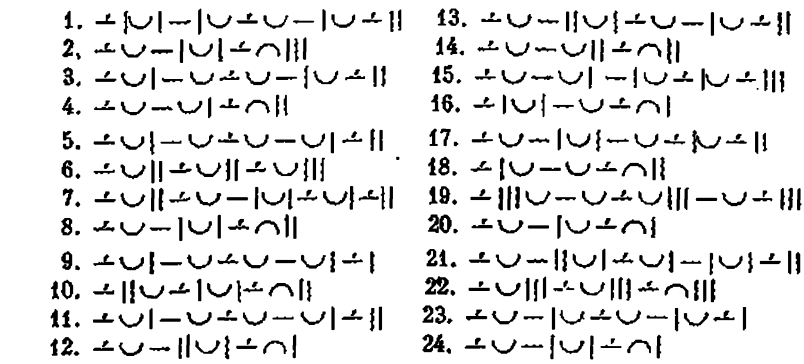
Для того чтобы показать, что рассматриваемый тип ритмической организации стихотворения представляет собой явление, характерное для русской поэзии XX в., представляется целесообразным рассмотреть построенное по этому типу стихотворение Марины Цветаевой из цикла «Деревья» (седьмое стихотворение цикла) [3]:

1. Та, что без видения спала, —
2. Вздрогнула и встала.
3. В строгой постепенности псалма,
4. Зрительною ска́лой —
5. Сонмы просыпающихся тел:
6. Руки! — Руки! — Руки!
7. Словно воинство под градом стрел,
8. Спелое для муки.
9. Свитки рассыпающихся в прах
10. Раз, сквозных, как сети.
11. Руки, прикрывающие пах,
12. (Девственниц!) — и плети
13. Старческих, не знающих стыда. . .
14. Отроческих — птицы!
15. Конницею на трубу суда!
16. Стан по поясницу
17. Выпростав из гробовых пелен —
18. Взлет седобородый:
19. Есмь! — Переселенье! — Легион!
20. Целые народы
21. Выходцев! — На милость и на гнев!
22. Ви́ди! — Бу́ди! — Вспомни!
23. . . . Несколько вбегающих дерев
24. Вечером, на всхолмье.

---

[3] Избранные произведения (Библиотека поэта. Большая серия, [illegible] 206—207.

Ритмическая запись всего текста показана на схеме 2.



Относительное метрическое однообразие стихотворения, написанного правильно чередующимся девятисложным хореем (в нечетных строках с мужским окончанием) и шестисложным хореем (в четных строках с женским окончанием), задается первыми строфами. Первые строки четырех первых строф и рифмующиеся с ними третьи строки в I и III строфах подчиняются ритмической схеме ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – с пропуском двух метрических ударений на третьем и седьмом слогах, иначе говоря, с трехсложными промежутками между ударными слогами. Этот же принцип трехсложности промежутков между ударениями выдерживается и во всех последних (четных) строках каждой строфы, подчиняющихся схеме ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓. Первая строфа целиком построена по ритмической схеме

⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ –
⏑ – ⏑ – ⏑

По существу можно было бы считать эту строфу (и некоторые другие части стихотворения) написанной не хореем, а четырехсложником с чередованием трехстопных и двухстопных строк. Такой ритм выдержан в трех четвертях всех строк: схеме ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ – подчиняется 9 девятисложных строк из 12 (0,75 всех строк), точно так же схеме ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓ подчиняется 9 шестисложных строк из 12 (0,75 всех строк). Значительный интерес представляет расположение тех строк, в которых наблюдается отступление от четырехсложного ритма.

Первое отступление осуществляется во второй строке II строфы, где при описании «просыпающихся тел» вводится ритмико-синтаксическая фигура

Руки! — Руки! — Руки! | ⏑ – ⏑ ‖ ⏑ – ⏑ ‖ – ⏓ ‖

повторяющаяся и в симметрично расположенной второй строке строфы VI

Вйди! — Вуди! — Вспомни! | ⏑ – ⏑ ‖ ⏑ – ⏑ ‖ ⏑ ⏓ ‖.

При полном различии морфологического заполнения этой ритмико-синтаксической фигуры (три восклицательных формы именительных падежей одного и того же существительного во множественном числе во второй строфе, три формы 2 л. ед. ч. повелительного наклонения разных глаголов в шестой строфе) сходство не только ритма, но и абстрактной (не зависящей от конкретного морфологического и лексического заполнения) синтаксической структуры 6-й и 22-й строк не вызывает сомнений. Этими строками отграничена «сверху и снизу» та ритмическая часть стихотворения, которая не укладывается полностью в приведенную схему правильного четырехсложника. Пять строк, предшествующие 6-й, и две строки, следующие за 22-й, в эту схему укладываются. Необычность ритма 6-й строки подчеркивается тем, что следующая за ней строка (7-я) отличается от канонического ритма:

7. Словно воинство под градом стрел | – ∪ | – ∪ — | ∪ | – ∪ | – |

В строке 10-й, расположенной симметрично по отношению к 6-й (обе строки — вторые в смежных строфах), вновь нарушается заданный изначально ритм. Это нарушение связано с характерным для Цветаевой переносом, выделяющим ударное слово в первом слоге [4]:

9. Свитки рассыпающихся в прах | – ∪ | — ∪ – ∪ — ∪ | – |
10. Риз, сквозных, как сети. | – ‖ ∪ – | ∪ | – ⌒ |

С этой строфы начинается целая система переносов, характерных и вообще для Цветаевой, и в особенности для ее поэтики периода написания «Деревьев» [5]. Особенно примечателен перенос, соединяющий строфы III и IV и следующий после вводного восклицания:

(Девственниц!) — и плети
Старческих, не знающих стыда...

За этой группой строк строфы IV, ритмически продолжающих еще основной (канонический) ритм, но максимально усложненных синтаксически (благодаря элиптическому опусканию ключевого слова *рук* при эпитетах: *старческих*, *отроческих*, и введению метафор посредством восклицаний-приложений: *Отроческих — птицы!*) следует первая из девятисложных строк с максимальным нарушением канонического метра — пропуском метрического ударения не только на третьем слоге (что для ритма этого стихотво-

---

[4] См.: *Иванов В. В.* Метр и ритм в «Поэме конца» Цветаевой. — В кн.: Теория стиха. Л., Наука, 1968.

[5] Не могу не вспомнить здесь В. И. Нейштадта (одного из первых членов Московского лингвистического кружка), который в беседе с автором в августе 1948 г. по поводу стихотворения Цветаевой «Нет, его не приучите» (принадлежащего к этому же времени) заметил, что анализ переносов в ее стихах мог бы стать темой отдельного исследования.

рения обычно), но и на последующем сильном слоге — пятом. Соответственно ударение сдвигается на седьмой слог:

15. Конницею на трубу суда | ‒ ∪ — ∪ | — | ∪ ‒ | ∪ ‒ |

Эта же ритмическая фигура повторяется в следующей девятисложной строке, связанной с предшествующей строкой и строфой переносом:

16. Стан по поясницу | ‒ | ∪ | — ∪ ‒ ⌒ |
17. Выпростав из гробовых пелен | ‒ ∪ — | ∪ | — ∪ ‒ | ∪ ‒ |

Перенос между строфами подчеркивает связь одинаковых ритмических фигур строк 15 и 17. В дальнейших строках ритм постепенно возвращается к каноническому. Но система переносов между строфами, начавшаяся в третьей строфе продолжается вплоть до пятой строфы. Трехчленность восклицания в строке 19 (Есмь! — Переселенье! — Легион!) как бы предваряет синтаксически тот *возврат к начальной трехчастной ритмико-синтаксической фигуре*, который осуществляется в строке 22 (Вóйди! — Бýди! — Вспóмни!). Последняя строфа сближается с первой не только тематически и единообразием канонического ритма, но и неточностью рифм (женских: *вспóмни — всхóлмье*, при неточных мужских в первой строфе: *спалá — псалмá* при созвучных женских: *встáла — скáлой*), резко выделяющихся на фоне правильной рифмовки всех тех серединных строф, которые содержат отступление от канонического метра и связаны между собой переносами. Кажется несомненным, что первая строфа чистой описательностью, как и ритмом и рифмовкой, сближается с последней в отличие от динамической образности серединных строф [6].

Третьим и последним примером данного типа структуры, который относится к поэтическому поколению, предшествующему цветаевскому, могут служить «Шаги командора» Блока (ввиду общеизвестности стихотворения приводить его текст не представляется нужным).

«Шаги командора» написаны разностопным «вольным хореем» [7], но по отношению к этому стихотворению такое обозначение условно: по характеру чередования числа стоп (или метрически сильных слогов-иктов) «Шаги командора», состоящие из 10 хореических четверостиший, распадаются на 3 части (A, B, C) по 3 строфы каждая (ниже обозначаются соответственно A—I, A—II и т. д.)

---

[6] Детальный разбор этой образности дан в специальном исследовании О. Г. Ревзиной, которое и послужило импульсом для предлагаемого ритмического анализа стихотворения.

[7] *Гаспаров М. Л.* Вольный хорей и вольный ямб Маяковского. — ВЯ, 1965, № 3, с. 87, 88; *Он же.* Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., Наука, 1974, с. 395; *Руднев П. А.* Метрический репертуар А. Блока. — В кн.: Блоковский сборник. II. Тарту, изд. Тартуского университета, 1972, с. 242, 261.

с одной промежуточной строфой (А') между А и В. Различия между частями определяются схемами:

А — I,	А — II,	А — III:	5	4	6	4
		А':	5	4	5	5
В — I,	В — II,	В — III:	5	5	5	4
С — I,	С — II,	С — III:	5	4	5	4

Предположение М. Л. Гаспарова о том, что в основе стихотворения лежит хореическая строфа 5 4 5 4 с вариациями, оправдано в том отношении, что схема 5 4 определяет не только обе половины четверостиший С, но и вторые половины четверостиший В и первые половины четверостиший А и А'. Только в А' четверостишие завершается не четырехстопной, а пятистопной строкой (*Сладко ль видеть неземные сны?*), что образует трансформацию 5 4 → 5 5; результирующая схема 5 5 повторяется в первых половинах четверостиший В. Во вторых половинах четверостиший А обнаруживается трансформация 5 4 → 6 4. Таким образом, метрические отступления от основной строфы, выдержанной в С, всегда наблюдаются только в одной из строк: в 3-й в А, в 4-й в А', во 2-й в В.

Деление стихотворения на описанные метрические части согласуется с тематической его структурой. В строфах А—I, А—II, А—III дается экспозиция темы: пустая спальня со спящей Донной Анной и испуганным Дон Жуаном. В А' вводится в явном виде существенный для стихотворения (и отличающий его от других вариаций на ту же тему в европейской традиции) мотив мертвой Донны Анны. В строфах В—I, В—II, В—III приход командора сопоставляется с цепью равнозначных ему образов, по самой своей сути звуковых — рожка автомобиля, боя часов, — что особенно существенно для ритма. В строфах С—I, С—II, С—III осуществляется возврат к теме строф А, завершаемой последним боем часов в С—III. Это тематическое членение, объединяющее А и С и выделяющее В, может быть прослежено не только на уровне метра, но и на уровне ритмической структуры.

Немного менее половины строк стихотворения (16 из 40) написаны 4-стопным хореем, ритмические особенности которого видны из табл. 1, где скудость объема выборки искупается отчетливостью ритмической тенденции.

При сопоставлении со статистическими данными по другим поэтам XX в. и с языковой теоретической моделью [8] обращает на себя внимание крайне повышенная (в том числе и по сравнению с другими стихами самого Блока) ударность первого метрически сильного слога: точную аналогию обнаруживает только ритм четырехстопных хореев пьесы Цветаевой «Ариадна» (ударность первого икта 88,5). Пропуск ударения на этом слоге наблюдается

[8] *Гаспаров М. Л.* Современный русский стих, с. 96, 97, табл. 10 и 10а.

Таблица 1

	Стопы			
	I	II	III	IV
Число ударных иктов	14	16	6	16
в %	87,5	100	37,5	100

только во 2-й (т. е. первой с этим размером) строке стихотворения «За ночным окном туман»), сигнализирующей начало A, и в симметрично по отношению к ней расположенной 2-й строке A', где (единственный раз в 4-стопной строке во всем стихотворении) наблюдается пропуск двух метрических ударений

В зеркалах отражены, — ∪ – | ∪ — ∪ – ||,

что подчеркивает ритмическую необычность A'. Несколько пониженной по сравнению с другими поэтами (за исключением раннего Клюева, Городецкого и Мандельштама) является ударность 3-го метрически сильного слога, которая, однако, при этом точно совпадает с теоретической языковой моделью, предполагающей его ударность 37,6. Пропуски ударений на этом слоге в конце A—II и начале A—III, в A', а также в конце B—II согласуются с отмеченными ниже аналогичными пропусками ударений в смежных 6- и 5-стопных строках в A—II и A—III, а также в B—II и начале B—III и позволяют говорить о ритмическом единстве этих трех групп строк.

Около половины стихотворения (21 строка из 40) написано 5-стопным хореем, ритм которого представлен на табл. 2.

Таблица 2

	I	II	III	IV	V
Число ударных иктов	17	19	17	14	21
в %	80,9	90,5	80,9	66,6	100

При сопоставлении со статистическими данными по другим поэтам XX в. и с теоретической языковой моделью [9] обращает

[9] Там же, с. 110, табл. 12 и 12-а.

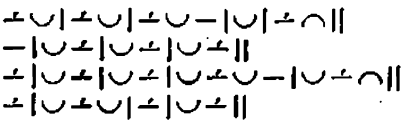
на себя внимание повышенная ударность 1-го слога, сопоставимая только со стилистическими характеристиками 5-стопного хорея позднего Брюсова (ударность 1-го слога 80,5 в стихах 1916–1918 гг., но не ранее, т. е. для периода, существенно более позднего по сравнению с разбираемым стихотворением). Из четырех пропусков начального метрического ударения три сгруппированы в смежных строках В—I (*Выходи на битву, старый рок!, И в ответ — победно и влюбленно*) и в начальной строке В—II (*Пролетает, брызнув в ночь огнями*); автор признателен М. Л. Гаспарову, *обратившему его внимание на эту и некоторые другие* особенности ритма стихотворения. 4-й аналогичный пропуск ударения в начале 5-стопной строки знаменует начало С (*На вопрос жестокий нет ответа*), симметричное по отношению к В—I.

Три строки стихотворения, написанные 6-стопным хореем, характеризуются полноударностью 2-го и 3-го метрически сильного слогов при наличии одинаковых пропусков ударений на каждом из остальных слогов. На фоне преимущественно повышенной ударности существенный интерес представляет шестистопная строка А—II *Из страны блаженной, незнакомой, дальней*, характеризующаяся одновременным пропуском ударений на 1-м и 4-м метрически сильных слогах. Для 5- и 6-стопных строк стихотворения пропуски ударений не на предпоследнем сильном слоге могут считаться показательными. Кроме только что приведенной 6-стопной строки А—II, такой пропуск обнаруживается в рифмующейся с ней первой 5-стопной строке того же четверостишия (*Холодно и пусто в пышной спальне*), в тематически и лексически связанной с нею же первой строке следующего четверостишия А—III (*Что изменнику блаженства звуки?*) и в завершающей 5-стопной строке А', а также в смежных друг с другом строках В—II, соединенных повтором слова *тихий* (*Черный, тихий, как сова, мотор, Тихими, тяжелыми шагами*) и В—III (*Настежь дверь. Из непомерной стужи*).

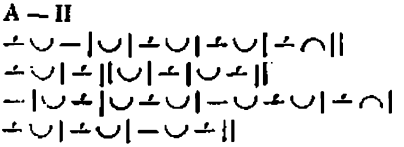
Во всех указанных группах строк пропуск ударений на одних и тех же симметрично расположенных слогах объединяют тематически и синтагматически связанные между собой строки. Вместе с тем насыщенность ударениями на метрически сильных слогах сама по себе является иконической. Отсутствие пропуска метрических ударений выделяет строки А, А' и С, прямо относящиеся к Донне Анне и содержащие ее имя. В строфах, где непосредственно передается образ боя часов, — в В—III и С—III только по одному разу встречается пропуск метрического ударения. Напротив, наибольшее число пропусков метрических ударений (5) выделяет строфу В—II, где речь идет о вступлении в дом командора. В А—III, С—I и С—II — по два пропуска, в А—I (т. е. в начале стихотворения) — 3 пропуска, в А—II, А' и В—I — по 4 пропуска.

Взаимосвязь разобранных пропусков метрических ударений и особенности их размещения видны на ритмической схеме 3.

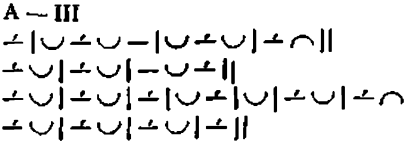
A — I



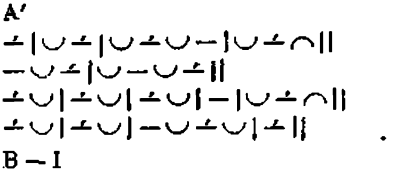
A — II



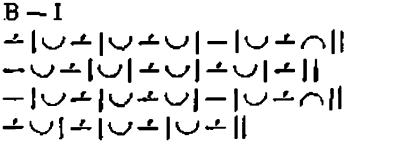
A — III



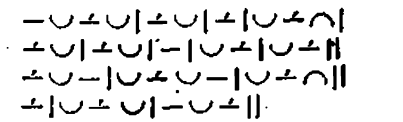
A′



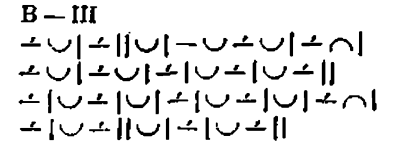
B — I



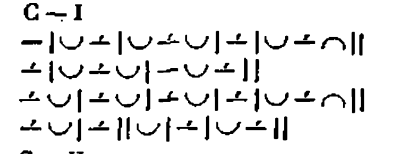
B — II



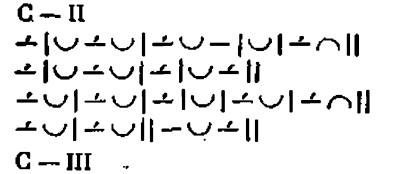
B — III



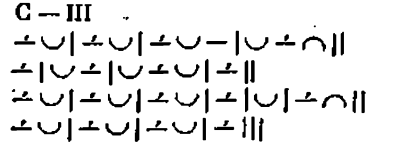
C — I



C — II



C — III



Несовпадение ритмического членения с синтаксическим в качестве особого приема выразительности используется только в B—III (в трех строках) — в строфе, вводящей слова Командора, *бой часов*, и в повторяющихся формулах в A—II, C—I и C—II.

Основной принцип ритмического выделения пропусков начальных метрических ударений в B—I, B—II и C объединяет это стихотворение Блока с рассмотренными выше примерами аналогичного ритмического построения.

Для истории русской метрики кажется целесообразным последовательное рассмотрение данного принципа организации у разных поэтов.

С. И. ГИНДИН

РИТМИКА, ИНТОНАЦИЯ И СМЫСЛОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ПОЭМЕ ВЛ. ЛУГОВСКОГО «КАК ЧЕЛОВЕК ПЛЫЛ С ОДИССЕЕМ»

Задачи и структура работы. Замысел большого стихотворного повествования всегда заставлял поэтов уделять стиховой форме особое внимание. Давая простор для выявления всех семантических и композиционных потенций стиховых элементов, большая протяженность таких произведений одновременно создает и реальную опасность того, что стих станет монотонным и не справится со всем многообразием возлагаемых на него задач (ср. высказывание «поэта» — очевидно, А. А. Ахматовой — в Кушнер 1974, 50). Не случайно онегинская строфа, с ее изумительной гибкостью была создана именно для многочастного романа.

Не удивительно, что и для Владимира Луговского при воплощении его уникального для 20 в. (когда проза все больше вытесняет стих не только из эпоса, но даже из перевода эпоса, ср. характерное признание в Тарковский 1965, 189) замысла книги поэм «Середина века» выразительность стиха стала предметом специальной заботы. В «Автобиографии» он писал, что «Середина века» «написана белым стихом, с применением некоторых новых для нашей поэзии приемов, активизирующих, инструментирующих белый стих» (Луговской 1960, 26). Об убедительности одержанной поэтом победы лучше всего свидетельствуют отзывы тех его современников, кто исходя из собственного читательского или поэтического опыта, был склонен к неверию в выразительные возможности белого стиха: «Великолепная своим разнообразием интонированность этого стиха с успехом заменяет рифму, выполняет функцию ее как связующего средства» (Луконин 1958, 6); «Даже белый стих здесь оказался многоцветным, гибким, полифоническим» (Гринберг 1971, 36).

Наряду с богатством звучания стиха «Середины века» читатели и критики отметили и тесную согласованность движения, развития стиха с развертыванием содержания поэм, с динамикой их композиции: «Каждое новое звучание ритма оказывается тесно связанным с возникновением новой темы, с переходом к новому настроению, углу зрения, жанру» (Гринберг 1971, 36). Предлагаемое исследование одной из центральных поэм «Середины века» как раз и ставит своей целью изучение подобных соответствий между ритмической и смысловой, содержательной композицией поэмы, установление содержательных функций, выполняемых определенными элементами ритма в общей структуре произведения.

Исследование семантики элементов ритма предполагает предварительное установление самих этих элементов. Поэтому первый раздел статьи посвящен общей характеристике и описанию ритмического материала поэмы. Основным методом исследования служит здесь сравнение с рассчитанной нами теоретико-вероятностной моделью метра. В связи с некоторой неоднородностью ритмического материала обсуждается явление «метрических помех» и вводятся индексы иометричности и внеметричности текста. Сравнение ритмического материала поэмы с теоретической моделью и данными о стихе других поэтов позволяет уточнить некоторые общие закономерности русского пятистопного ямба. Читатели, интересующиеся лишь композиционно-семантическим использованием элементов ритма, могут начать чтение со второго раздела, обращаясь к первому по мере необходимости за отдельными справками.

Второй раздел посвящен сравнению ритмического материала основных композиционных частей поэмы. Здесь же исследуется специфическое использование мужских и женских окончаний стиха в интонационной структуре каждой из этих частей.

Наконец, третий раздел отведен для последовательного потекстового анализа содержательной композиции произведения, направленного на выявление композиционной роли ряда элементов ритма. Выделение рассматриваемых при анализе элементов ритма производится с учетом сведений об их статистическом распределении, полученных в первых двух разделах.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИТМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПОЭМЫ

1.1. Об интерпретации неясностей в графической разбивке текста [1]. Хотя использование «лесенки» в ряде случаев нарушает однозначное соответствие между ритмическими (стихи) и графическими (строки) единицами, порядок объединения графических «ступенек» в стих, как правило, не вызывает сомнений благодаря расположению каждой следующей ступеньки вправо от предшествующей. Исключение составляют первое и последнее использование *ступенек в поэме.*

13-я и 14-я графические единицы

Шестнадцатый.

Распутина прикончили вчера.

расположены как составляющие один семистопный стих. Но при такой интерпретации нарушается кольцевое ритмико-синтаксическое построение первых 13 стихов, и композиционный переход от локальной картины лазарета к событиям «большого мира»

[1] Текст поэмы берется по единственному изданию, готовившемуся при участии автора: Луговской 1958, 20—28.

также совершается посреди стиха. Поэтому мы предпочли рассматривать данные графические единицы как два отдельных стиха, двустопный и пятистопный. Подобное решение находит подтверждение и в творческой истории поэмы — еще в наборном экземпляре [2] обе графические единицы не только относились к разным стихам, а и были отделены друг от друга еще двумя стихами:

Шестнадцатый. Без воли, без надежды
Россия погибала, словно мамонт.
Никто и ни во что уже не верил.
Распутина прикончили вчера.

В заключительных строках поэмы встречаем разбитый на три ступеньки семистопный стих, за которым следует трехстопный:

А революция близка.
Ее
не миновать.
Так пусть она приходит.

Возникающий при такой разбивке метрический разнобой и исчезновение enjambement наводят на мысль о дефектности графической подачи этих стихов. И действительно, в наборном экземпляре расположение ступенек было иным:

А революция близка.
Ее
Не миновать.
Так пусть она приходит.

Этой разбивкой мы и пользовались при подсчете числа стихов и их метрической характеристике.

1.2. Неоднородность ритмического материала поэмы и связанные с ней особенности расчета теоретической модели метра. «Метрические помехи» и их квантификация. При описанной трактовке графических неоднозначностей общее число стихов в поэме составляет 275. Из них 273, или 99,3%, написаны пятистопным ямбом (далее 5Я) и 2 строки, или 0,7%, — прочими метрами (одностопным и трехстопным ямбом).

В свою очередь, 273 стиха 5Я подразделяются на «чистый» 5Я без ударений на нечетных слогах (256 строк, или 93,8% всех строк 5Я) и 5Я со сверхсхемными ударениями (14 стихов с ударением на 1-м слоге и 3 с ударениями на прочих нечетных, всего 17 стихов, или 6,2% от всех строк 5Я). Реальное распределение ударений и словоразделов во всех 275 строках поэмы показано в табл. 1.

Неоднородность ритмического материала поэмы, как бы слабо она ни была выражена, обусловливает известные особенности

[2] За возможность ознакомления с наборным экземпляром и машинописью первого варианта поэмы благодарю Е. Л. Быкову-Луговскую.

Таблица 1

Реальное распределение ударений и словоразделов в поэме

№ слога	Частота ударений на слоге	Среднее число ударений на 100 строк	Частота словоразделов после слога	Среднее число словоразделов на 100 строк	Средняя выделенность слогов, по В. С. Баевскому	
					в поэме в целом	в стихах 270—275
1	14	5,1	13	4,7	1,9	1,4
2	227	82,5	86	31,3	2,6	1,6
3	0	0,0	97	35,3	1,7	2,0
4	194	70,5	123	44,7	2,5	3,0
5	2	0.7	105	38,2	1,8	1,5
6	220	80,0	72	26,2	2,6	2,4
7	1	0,4	88	32,0	1,6	1,8
8	138	50,2	149	54,2	2,2	2,4
9	0	0,0	63	22,9	1,9	1,8
10	273	99,3	82	29,8	3,0	3,0
11	—	—	191	69,4	—	—
Всего	1069	388,7	1069	388,7	21,8	20,9

расчета и применения теоретико-вероятностной модели метра. На протяжении уже более чем полувековой (см. Шенгели 1923 и Томашевский 1929) истории своего применения теоретические модели размеров всегда рассчитывались как модели «размеров вообще», in abstracto, существующих вне конкретных текстов и в одном и том же постоянном составе реализующихся в этих текстах. Между тем метр конкретного текста по своему составу может в чем-то отличаться от своего «внетекстового» прототипа, и потому подлежит установлению с учетом прежде всего особенностей данного конкретного текста, как метр данного текста [3].

Ритмический материал поэмы содержит определенную примесь форм, не укладывающихся в чистый, «внетекстовой» 5Я. Как поступить с ними? Включить в метр поэмы все реально засвидетельствованные в ней формы и рассчитывать их теоретические вероятности на общих основаниях? Или же признать какие-то из них, напр., не укладывающиеся в чистый 5Я, посторонними по отношению к метру поэмы и искать для них особые приемы изучения распределения?

Ответить на этот вопрос нам помогут статистические соображения. По самому замыслу своему теоретико-вероятностная модель размера должна служить нейтральным эталоном, отражающим лишь стихийно-языковые закономерности употребления форм

[3] Постановку задачи реконструкции метра по тексту и обоснование необходимости использования применяемого здесь представления метра как множества форм (а не отдельной формы или «контрольного ряда») см.: Гиндин 1970а.

размера, а не индивидуальные предпочтения поэтов к тем или иным из этих форм. Поэтому ее рассчитывают на основании данных о встречаемости ритмических типов слов в прозе и в предположении, что комбинирование ритмических типов слов в пределах стиха есть вероятностный процесс независимых испытаний, т. е. вероятность последовательности типов равна произведению вероятностей этих типов [4].

Допустим, что мы отнесли к метру поэмы Луговского все засвидетельствованные в ней формы. Тогда, поскольку во всех подсчетах по ритмическому словарю русской прозы частоты слов ямбического и хореического типов (*сестра* и *мама*) очень близки друг другу, в полученной модели метра формы 5Я с ударением на первом слоге должны будут иметь вероятность одного порядка с соответствующими им формами 5Я без такого ударения. Вероятность же форм одностопного ямба и вовсе будет превосходить вероятность форм 5Я. Между тем в поэме частота и форм 5Я с ударениями на первом слоге, и тем более частота одностопного ямба неизмеримо меньше частот форм чистого 5Я. Таким образом, отнесение к метру поэмы всех реально засвидетельствованных в ней форм неизбежно привело бы к возникновению такого рассогласования между теоретической моделью и реальным статистическим распределением форм в поэме, при котором всякое сопоставление последнего с моделью стало бы практически бесполезным.

Поэтому мы рассматривали в качестве метра поэмы «чистый» 5Я. Все формы, выходящие за пределы чистого 5Я, оказываются при таком подходе внеметрическими образованиями, отклоняющимися от правил данного метра. В появлении подобных образований нет ничего странного и необычного. Любой процесс коммуникации подвержен воздействию помех, приводящих к появлению высказываний, «неправильных» с точки зрения языка коммуникации, и внеметричные или пнометричные стихотворные строки вполне аналогичны, скажем, синтаксическим неправильностям или лексическим окказионализмам. Языковые неправильности, когда они не есть следствие позднейшей порчи текста в каналах коммуникации, а возникают в самом источнике коммуникации (коммуникаторе), могут быть вызваны либо тем, что автор недостаточно владеет языком, либо тем, что он находится в состоянии, препятствующем использованию языковых навыков (напр., повышенное эмоциональное возбуждение), либо, наконец, тем, что передаваемое содержание не умещается в предуготовленные языком правильные формы и взламывает их, приводя к созданию индивидуальных, особо экспрессивных вариантов. Таковы же, в общем случае, и причины появления метрических «неправиль-

[4] Популярное описание методики построения теоретико-вероятностной модели метра см.: Гаспаров 1974, 21—22.

ностей», при этом, чем лучше поэт «владеет формой», тем меньше в его стихах доля неправильностей первых двух родов. Как увидим в § 3, в «Как человек плыл с Одиссеем» все метрические «неправильности» вызваны причинами третьего рода и служат для подчеркивания важных моментов в динамике содержания поэмы.

Разделение засвидетельствованных в поэме форм стиха на относящиеся к метру и посторонние по отношению к нему приводит к расслоению теоретической модели и процедуры сопоставления с ней эмпирического распределения. Тенденции, наблюдаемые в той части ритмического материала, которая включает все стихи, относящиеся к метру данного текста (в нашем случае — 256 стихов «чистого 5Я») и только их, определяются путем сравнения частот тех или иных форм или элементов стиха с их вероятностями в теоретической модели, рассчитанными описанным выше способом[5]. Удобной формой описания тенденций в этой части ритмического материала может быть, в частности, вычисление предложенной Б. В. Томашевским «характеристики» — отношения

$$\frac{F(t)}{P(t)},$$

где P (t) — вероятность явления t в теоретической модели метра, а F (t) — его относительная частота либо во всем ритмическом материале произведения, либо — при другой задаче исследования — в той части ритмического материала, которая удовлетворяет правилам метра.

Что же касается стихов, построение которых отклоняется от требований метра данного текста, то для выявления тенденций, проявляющихся в этой части ритмического материала, существенно не то, что стихи такого рода встречаются реже, чем можно ожидать на основе данных о ритмическом строении прозы, а то, что они вообще встречаются, тогда как в тексте, идеально следующем требованиям метра, например в «идеальном 5Я», они просто не могут встретиться. В качестве оценки роли подобных «метрических помех» в общем ритмическом материале произведения естественно избрать поэтому саму их частоту в произведении F (t), которую можно представить и как разность F (t)—P (t), ибо всем формам, которые некоторый метр исключает, в модели этого метра «сопоставлена» нулевая вероятность. Поскольку в «Как человек плыл

[5] Естественно требовать, чтобы при подсчете частоты принималось в точности то же определение элемента, что и при расчете его вероятности. Между тем, если при расчете моделей варианты форм, осложненные сверхсхемными ударениями, обычно не учитывают (ср. специальное разъяснение в: Томашевский 1929, 195), то при обследованиях эмпирического материала случаи употребления форм со сверхсхемными ударениями, как правило, засчитываются наравне с «чистыми», собственно метрическими вариантами тех же форм. Даже если возникающее из-за этого систематическое завышение эмпирических частот и незначительно, его все же следовало бы избегать из соображений логической последовательности процедуры.

с Одиссеем» формы, не удовлетворяющие правилам 5Я, имеют частоты крайне малые, сопоставлять оценки F (t) — P (t) каждой из таких форм не было нужды. Для оценки величины помех в ритмическом материале достаточно использовать всего две величины такого вида, разделив всю эту часть ритмического материала на формы, которые могут быть представлены как результат введения в чистый 5Я сверхсхемных ударений, и формы, относящиеся к другим метрам. Как легко видеть по цифрам, приведенным в начале этого параграфа, эти показатели, названные соответственно коэффициентами «внеметричности» и «инометричности», равны 0,7% и 6,2%.

1.3. Теоретическая модель размера и специфика разметки ударений в тексте. Исходные данные для расчета нашей теоретической модели русского белого 5Я были взяты из частотного словаря ритмических типов слов в русской прозе, составленного Г. А. Шенгели (Шенгели 1923, 20—21) [6], так как он в отличие от словаря Б. В. Томашевского (Томашевский 1929 : 104—105, 197), отражающего материал лишь «Пиковой дамы» (а не всей прозы Пушкина, как указано при общем сравнении словарей в Рейсер 1969б; 376), построен по выборке из произведений разных авторов.

Расчеты производились в предположении, что строки могут иметь только либо мужскую, либо женскую клаузулу. Теоретически вероятность случайного появления в прозе форм 5Я с дактилической клаузулой также достаточно велика, однако по сложившемуся канону в русском белом 5Я употребляются только мужская и женская. Суммарная вероятность случайного возникновения в русской прозе какой-либо формы 5Я с мужской или женской клаузулами оказалась равной 0,03049. Искомые вероятности отдельных форм 5Я в теоретической модели 5Я определяются как вероятности их случайного появления при условии, что весь текст написан 5Я, т. е. равны частному от деления вероятности их собственного случайного возникновения в прозе на приведенное значение суммарной вероятности. Рассчитанные теоретические значения вероятностей всевозможных динамических форм [7] 5Я приведены в столбце «Ш-модель» табл. 2.

[6] При расчете последнего («процентного») столбца своей таблицы Г. А. Шенгели допустил неточность. Если обрывать подсчет на первом десятичном знаке, то относительные частоты семисложных слов с ударениями на 4-м и 5-м слогах равны каждая 0,1%, а не 0,0%, как показано у Шенгели.

[7] Мы называем их «динамическими», поскольку они представляют ритмическое строение стиха с учетом лишь расположения ударных и безударных слогов. В литературе их принято называть «ритмическими формами» (а также «фигурами» — Тарановски 1953 или «вариациями» — Гаспаров 1974), но это имя лучше резервировать для более полных и адекватных представлений строения стиха, учитывающих расположение и ударений, и словоразделов. Заметим, что по аналогии с динамическими формами можно было бы рассматривать и другое «сжатие» ритмических форм — «формы словораздельные», т. е. представления слоговой структуры стиха, учитывающие расположение лишь словоразделов, но не ударений.

Таблица 2

Распределение динамических форм 5Я в поэме и ее частях и в теоретических моделях русского 5Я

№ формы	Номера ударных слогов формы	Q	F	Ш-модель P	«Характеристика»	Т-модель P	$Q_А$	$F_А$	$F_Б$	$Q_Б$
I	2, 4, 6, 8, 10	36	0,141	0,086	1,640	0,042	14	0,162	0,129	22
II	4, 6, 8, 10	11	0,043	0,024	1,791	0,019	4	0,047	0,041	7
III	2, 6, 8, 10	33	0,129	0,146	0,884	0,118	11	0,128	0,129	22
IV	2, 4, 8, 10	37	0,144	0,149	0,966	0,140	17	0,198	0,118	20
V	2, 4, 6, 10	67	0,262	0,149	1,758	0,139	17	0,198	0,294	50
VI	6, 8, 10	0	0,000	0,000	—	0,000	0	0,000	0,000	0
VII	4, 8, 10	10	0,039	0,053	0,736	0,039	3	0,035	0,041	7
VIII	4, 6, 10	17	0,066	0,043	1,535	0,062	5	0,058	0,071	12
IX	2, 8, 10	3	0,012	0,040	0,300	0,058	1	0,012	0,012	2
X	2, 6, 10	42	0,164	0,257	0,638	0,310	14	0,162	0,165	28
XI	2, 4, 10	0	0,000	0,038	0,000	0,059	0	0,000	0,000	0
XII	8, 10	0	0,000	0,000	—	0,000	0	0,000	0,000	0
XIII	6, 10	0	0,000	0,000	—	0,000	0	0,000	0,000	0
XIV	4, 10	0	0,000	0,013	0,000	0,006	0	0,000	0,000	0
XV	2, 10	0	0,000	0,002	0,000	0,008	0	0,000	0,000	0
XVI	10	0	0,000	0,000	—	0,000	0	0,000	0,000	0
Всего		256	1,000	1,000	—	1,000	86	1,000	1,000	170

В одноименных столбцах табл. 3 и 4 приведены аналогичные данные по ударности сильных слогов и по числу словоразделов, но в соответствии с традицией здесь даются значения вероятности P, умноженные на 100, т. е. ожидаемое в соответствии с моделью число ударений и словоразделов на 100 строк.

Таблица 3

Распределение ударений в чистом 5Я поэмы и ее частей и в теоретических моделях русского 5Я

№ слога, на который падает ударение	Q	M	F·100	Ш-модель P·100	Т-модель P·100	Белый 5Я в эпосе 1880—1922 гг. (по Бэйли)	F_A·100	F_B·100
2	218	222	85,1	86,7	87,4	83,8	86,0	84,7
4	178	142	69,5	55,5	50,6	69,4	69,8	69,4
6	206	180	80,5	70,5	69,0	87,1	75,5	82,9
8	130	128	50,8	49,8	41,6	45,4	58,2	47,0
10	256	256	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего ударений	988	928	385,9	362,5	348,6	385,7	389,5	384,0

Таблица 4

Распределение словоразделов в чистом 5Я поэмы и ее частей и в теоретических моделях русского 5Я

№ слога, предшествующего словоразделу	Q	M	F·100	Ш-модель P·100	Т-модель P·100	В бесцезурном 5Я 19 в. (по Тарановскому)	F_A·100	F_B·100
2	82	68	32,0	26,5	25,8	33,7	33,7	31,2
3	92	98	35,9	38,2	37,0	31,8	37,2	35,3
4	109	85	42,6	33,0	31,9	60,8	43,0	42,6
5	101	77	39,4	30,1	28,3	25,6	32,6	42,6
6	68	70	26,6	27,5	25,7	33,9	30,2	24,7
7	78	94	30,5	36,7	36,7	37,0	33,7	28,8
8	143	110	55,9	42,9	42,4	48,5	62,8	52,4
9	59	70	23,0	27,5	21,1	23,6	16,3	26,4
10	77	132	30,1	51,6	44,9	—	38,4	25,3
11	179	124	69,9	48,4	55,1	—	61,6	74,7
Всего	988	928	385,9	362,4	348,9	294,9	389,5	384,0

Сопоставление с этой моделью и было для нас основным способом изучения ритмического материала поэмы. Но в нашем выборе источника сведений о прозе крылась одна потенциальная опасность, которая могла повлиять на надежность результатов сопоставления. Как известно, расстановка ударений в русских текстах («тонирование текста») не вполне однозначна, и с именами

Томашевского и Шенгели как раз связаны две противоположные тенденции такой расстановки (см. Кондратов 1963, 279—280; Гаспаров 1974, 80). Наличие двух подходов к тонированию создает возможность рассогласования между подходом, используемым при тонировании исследуемого текста, и подходом, положенным в основу применяемого словаря прозы.

Правда, при тонировании поэмы Луговского мы старались не следовать слепо априорно выработанному методу, будь то метод Шенгели или Томашевского, а решать вопрос о каждой строке отдельно, руководствуясь слухом и контекстом [8]. Но сопоставление (см. табл. 5), результатов нашего тонирования

Таблица 5

Распределение ударений в «Пире во время чумы» (на 100 строк текста) по данным различных исследователей

Исследователь	№ слога					
	2	4	6	8	10	всего ударений на 100 строк
По Б. В. Томашевскому	87,0	69,1	82,7	50,6	100,0	389,4
По К. Ф. Тарановскому	86,3	68,3	83,2	50,9	100,0	388,7
На нашим подсчетам	85,3	70,5	82,5	50,3	100,0	388,6

с результатами других исследователей (Томашевский 1929, 243 и Тарановски 1953, 217), проведенное — по совету А. Н. Колмогорова — на сравнительно небольшом материале «Пира во время чумы» (162 стиха 5Я, из них — по нашей разметке — 149 чистого 5Я), *дает возможность подозревать, что наша статистика ударений* все же ближе к статистике Томашевского, а не Шенгели. Поэтому, когда появился новый частотный словарь ритмических типов слов в русской прозе (Гаспаров 1963, 103), составленный по текстам разных авторов и с использованием при тонировании «несколько усиленной методики Томашевского» (устное сообщение М. Л. Гаспарова), мы рассчитали вторую теоретическую модель русского 5Я. Входящие в эту модель теоретические распределения динамических форм, ударений [9] и словоразделов приведены в тех же табл. 2—4 в столбцах, озаглавленных «Т-модель» (т. е. «модель по Томашевскому» в отличие от модели «по Шенгели»). Детальный анализ соотношения двух моделей не входит в нашу задачу, укажем только, что в распределении ударений различие двух подходов к тонированию текста сказывается лишь в ударности четных стоп — ударность нечетных

[8] Некоторые особенно спорные случаи с автором любезно согласились обсудить Вяч. Вс. Иванов и В. А. Матвеенко.

[9] Входящее в эту модель распределение ударений уже публиковалось и использовалось в: Гаспаров 1967, 1974 и Тарановский 1971.

практически одинакова и в обеих моделях существенно больше ударности любой из четных. Таким образом, в обеих моделях наблюдается чередование устойчивых и неустойчивых стоп, называемое часто «акцентной диссимиляцией». Однако эта диссимиляция не «регрессивна», как предполагается в формулировке известного закона (Тарановский 1953, 1971), а волнообразна, так как первая стопа в обеих моделях значительно сильнее третьей. Что касается поэмы Луговского, то ее 5Я в целом лучше согласуется с Ш-моделью, а все наблюдающиеся в нем тенденции, как сможет убедиться читатель, при сопоставлении с Т-моделью лишь усугубляются (исключение составляет совпадение ударности 4-й стопы с теоретической).

1.4. Особенности 5Я поэмы по сравнению с теоретической моделью. Трехчастность структуры стихотворной строки. Итак, мы будем описывать ритмический материал поэмы, точнее — ту его часть, что укладывается в «чистый» 5Я (256 стихов), наблюдая за употреблением динамических форм[10], ударений и словоразделов. Показатели, характеризующие эмпирическое распределение всех этих элементов, приведены соответственно в табл. 2, 3, и 4: в столбце Q приводится абсолютная частота форм и элементов в 256 стихах, в столбце F — относительная частота (или она же, умноженная на 100: F·100). Для удобства сопоставления эмпирического распределения с теоретическим в этих таблицах помимо столбца P (или P·100, см. выше § 1.3.) введен столбец M, в котором проставляется «математическое ожидание» числа употреблений соответствующего элемента в поэме при условии, что он употреблялся бы в ней с частотой, равной вероятности P. Сопоставление материала поэмы с теоретической моделью можно вести, сравнивая либо столбцы F и P, либо Q и M. Кроме того, в табл. 1 помещены оценки средней выделенности каждого из слогов строки 5Я по поэме в целом, подсчитанные[11] и любезно сообщенные нам В. С. Баевским после знакомства с текстом этой работы.

Что же показывает сравнение ритмического материала поэмы с теоретической моделью? Начнем с динамических форм (см. табл. 2). Расхождение их распределения в поэме с теоретически ожидаемым настолько значительно, что не может быть сочтено случайным

---

[10] Конечно, более заманчивым было бы изучение распределения ритмических (см. сноску 7) форм, тем паче, что построение теоретической модели неизбежно начинается с подсчета именно их вероятностей. Однако число их слишком велико для того, чтобы можно было статистически исследовать их распределение в тексте длиной 275 строк.

[11] По методике, предложенной в: Баевский 1967. Сила безударных слогов ставится здесь в зависимость от их расположения по отношению к ударному слогу и, косвенно, к границам слова. Поэтому данная гипотеза, как представляется, позволяет построить некие промежуточные представления структуры стиха, не столь многочисленные, как ритмические формы, и не столь обобщенные, как формы динамические.

и незначимым [12]. Наиболее высокие ($>1{,}5$) «характеристики» (см. § 1.2) имеют в поэме формы II, VIII, I и V. Абсолютная частота в поэме двух первых сравнительно невелика и их повышенная концентрация не может оказать серьезного влияния на ритм текста в целом. Формы же I и V достаточно часты и их высокая характеристика для ритма поэмы очень существенна. В особенности это касается формы V, которая как бы поменялась местами с десятой, теоретически самой распространенной: $F(Y)=0{,}262\approx \approx 0{,}257=P(X)$, а $F(X)$ довольно близка к $P(Y)$. Если к этому добавить уменьшение частоты формы IX (3 употребления вместо 10 ожидаемых) и одновременно повышение частоты восьмой (17 вместо 11 ожидаемых) при теоретической равновероятности (с точностью до 1 стиха на 300 строк) этих форм, станет ясной тенденция поэта к повышению ударности 4-го слога. Правда, две из форм, имеющих ударение на 4-м слоге, XI и XIV в поэме отсутствуют, хотя теоретически должны были бы встретиться в ней, соответственно, 10 и 3 раза [13] (а в 5Я Пушкина форме XI даже оказывалось предпочтение: она встречается — см. Шенгели 1923, 162—167 — в 2—3 раза чаще формы IX, теоретически равновероятной ей и также содержащей 5-сложный безударный интервал). Но отсутствие этих двух форм не может перевесить изменения в частоте других форм.

Табл. 3 и рис. 1 (на обоих рисунках сплошной линией даны распределения в поэме, а прерывистой — распределения Ш-модели) показывают, что повышение ударности 4-го слога действительно является наиболее заметным отличием распределения ударений в чистом 5Я поэмы от предсказаний модели. Значительно повышена также и ударность 6-го слога. Для дальнейшего очень важно заметить, что ударность 8-го слога практически не отклоняется от теоретической (по Ш-модели: ударность в Т-модели меньше фактической на 9,2 ударения на 100 строк). Ударность 1-й стопы в поэме несколько понижена (на 1,8%), что означает увеличение доли трехсложных зачинов строк. В целом ударность в поэме превышает теоретическую на 23,4 ударения на 100 стихов, или на 6,4%, средняя длина слова равна 2,77 слога против ожидаемой 2,95 (средняя длина слова по всем 275 стихам поэмы — 2,74 слога).

Если мы присмотримся теперь к распределению словоразделов (см. табл. 4 и рис. 2), число которых, равное числу ударений, также выше теоретического, то увидим, что средняя типичная

---

[12] Проверка по критерию χ^2 дает меру расхождения $\chi^2=260{,}3 \gg \chi^2_{0.001}=31{,}3$ (значение предела взято по: Смирнов, Дунин-Барковский 1965, 469—470. Число степеней свободы 11). При сопоставлении данных следует иметь в виду, что наша нумерация форм, начиная с VI, отлична от используемой в: Якобсон 1933, Тарановски 1953 и Bailey 1973.

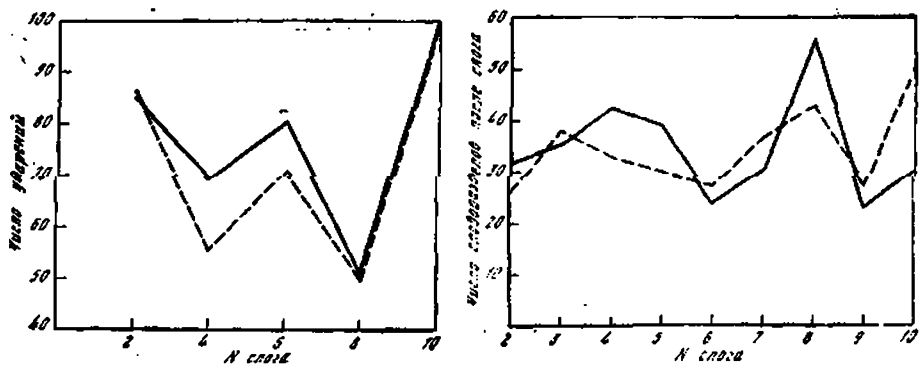
[13] Стих 64, который можно было бы отнести к форме XIV, осложнен сверхсхемным ударением на *кто*.

структура строки в поэме как бы распадается на две части: слоги 1—6, где число ударений превышает теоретическое на 10,5%, а число словоразделов (см. также ниже в 1.6) на 13,6%, и слоги 7—10, где число ударений и словоразделов совпадает с теоретическим. В свою очередь, вторая часть также распадается на две — «заключение», т. е. слоги 9—10 (11), где эта неизменность числа ударений диктуется метром, и «ускорение» (слоги 7—8), где она является индивидуальной тенденцией поэта. Последнее разделение подчеркнуто резким увеличением (на 30,0%) числа словоразделов на 8-м слоге за счет их числа на 7-м и 9-м, хотя этот словораздел уже и теоретически является доминирующим.

Подобная трехчастность строки может служить той задаче «активизации» стиха, о которой говорил Луговской в «Автобиографии» (см. выше). В результате повышения ударности срединных 2-й и 3-й стоп основное ускорение перед заключительным, константным ударением приходится на 4-ю стопу (ее доля в общей атонации стоп 2—4 возросла по сравнению с моделью с 40,2% до 49,6%), и, хотя ее собственная ударность не изменяется, возросший «перепад ударности» между ней и двумя предшествующими делает ее сильную атонированность особенно заметной. Если перепад ударности отделяет 4-ю стопу от предшествующих, то ее противопоставление следующей, 5-й стопе, подчеркивается возросшей употребительностью разделяющих их словоразделов: в поэме 57,9% строк с атонированным 8-м слогом имеют словораздел на 8-м (63 строки) или 9-м (10 строк) слогах, в то время как теоретически такой словораздел могли бы иметь только 41,2% таких строк (для строк с ударным 8-м слогом это число составляет, естественно, 100%). Подобное обособление 4-й стопы и подчеркивание ее атонированности сообщают заключительному

Рис. 1. Распределение ударений на 100 строк чистого 5Я

Рис. 2. Распределение словоразделов на 100 строк чистого 5Я



ударению особую резкость и энергичность, что, в конечном счете, активизирует и всю строку.

Того же эффекта можно в принципе добиться и понизив ударность самой 4-й стопы, но на практике это может оказаться затруднительным, поскольку она уже теоретически атонирована в половине строк. Дальнейшая ее атонация может существенно стеснить поэта, уменьшая свободу выбора речевых вариантов и естественность речи (не случайно, что сильная атонация этой стопы, не раз применявшаяся — см. Гаспаров 1967, 62 и Bailey 1973, 139—145 — в лирике и поэмах, практически не встречается в произведениях драматических, где естественность и гибкость синтаксиса и интонации приобретают особое значение). Возможно, что именно поэтому поэт пошел по другому пути, подчеркивая слабую ударность 4-й стопы повышенной ударностью предыдущих.

1.5. Стих поэмы и некоторые факты из истории русского ЯЗ. В «Автобиографии» Луговской говорил и о «новизне» примененных им приемов активизации и инструментовки стиха. Вопрос о степени «новизны», оригинальности естественно поставить и в связи с продемонстрированной нами трехчастностью структуры строки в поэме. Для ответа на этот вопрос нужно сравнить распределение форм ударений и словоразделов в поэме не только с теоретической моделью, но и с их распределениями в произведениях других поэтов.

Самым интересным было бы, безусловно, непосредственное сопоставление с данными по отдельным произведениям и поэтам. Сразу, например, обращает на себя внимание определенная близость распределения ударений в поэме и в практически современной ей (1944) «Ливонской войне» давнего соратника и друга Луговского И. Л. Сельвинского (Гаспаров 1967, 62) [14]: максимальное расхождение здесь даже меньше, чем со средними цифрами Гаспарова по трем другим поэмам из «Середины века». Еще разительнее неожиданное совпадение распределения ударений в «Как человек плыл с Одиссеем» и пушкинском «Пире во время чумы»: максимальное расхождение (на 3-й стопе) составляет всего 2,0 ударения на 100 строк текста (ср. столбец F табл. 2 и третью строку табл. 5). Луговской хорошо знал эту пушкинскую вещь, стоявшую, на наш взгляд, в определенной связи с основами его миросозерцания (ср., напр., его речь на I съезде писателей), цитировал ее (*Луговской* 1960, 272—273). *Поэтому, конечно,* не исключено, что он бессознательно попал под обаяние ее ритма

[14] Эта статья появилась, когда настоящее исследование было в основном завершено, и у нас не было возможности провести специальное сопоставление нашего подхода к тонированию текста (ср. выше, 1.3) с примененным в этой статье и тем более — с принятым в Bailey 1973. Поэтому, строго говоря, результаты сравнения наших данных по поэме Луговского с данными из этих работ более гипотетичны, нежели с данными Томашевского или Тарановского.

(сознательное заимствование и копирование распределения ударений, тем более при разном распределении таких более конкретных элементов ритма, как динамические формы [15], конечно, крайне маловероятно). Возможна, однако, и другая интерпретация совпадения. Существует гипотеза (Брюсов 1975б, 175—178) о том, что в творчестве Пушкина предвосхищены, скрыты в зародыше формы, жанры, методы, темы всей последующей русской литературы и, в частности, «едва ли не все возможные по-русски размеры» стиха. Но ведь вместе с размерами в каких-то случаях могли быть «испробованы» и некоторые из наиболее оптимальных для русской речи ритмических «окрасок», вариантов этих размеров (ср. Томашевский 1929, 247), и именно в силу своей речевой оптимальности эти варианты должны были снова возникнуть в произведениях других поэтов.

Дальнейшее сопоставление 5Я поэмы с данными по 5Я других поэтов, обследованному в Томашевский 1929, Тарановски 1953, Гаспаров 1967, 1974 и Bailey 1973, было бы конечно очень желательным. Но при большом количестве привлекаемых имен (а без него нечего думать об установлении исторических закономерностей) метод попарных сравнений, плодотворный при сравнении произведений небольшого числа поэтов (прекрасный пример тому — изучение 5Я в Томашевский 1929), перестает работать: слишком много надо провести сравнений и слишком разнонаправлены могут быть их результаты. Остается либо применить ко всему накопленному материалу методы автоматической классификации, позволяющие разбить множество индивидуальных распределений на группы, объединяющие наиболее сходные между собой распределения, либо сравнивать данные по исследуемой нами поэме не с индивидуальными распределениями, а с выведенными на их основе средними распределениями. Первый подход, много более предпочтительный, поскольку позволяет открывать группировку в материале, а не навязывать ее материалу извне, вряд ли осуществим без помощи ЭВМ. Поэтому нам остается прибегнуть к сравнению 5Я поэмы со средними арифметическими индивидуальных распределений по эпохам, выведенными названными исследователями (почти все эти средние распределения собраны в: Гаспаров 1974, 103; отсутствующие там профиль ударности белого эпического 5Я рубежа 19—20 веков и распределение словоразделов 19 в. введены нами, соответственно, в табл. 3 и 4).

По сравнению с бесцезурным 5Я 19 в. распределение ударений в поэме Луговского отличает равномерное (3—4 ударения

---

[15] Данный пример противоречит мнению об избыточности рассмотрения распределения форм как однозначно выводимого из распределения ударений (Prochorow 1970, 126; ср. упоминание в: Тарановский 1971, 427). Причины расхождения нуждаются в специальном исследовании.

на 100 строк) понижение ударности всех стоп, кроме первой, ударность которой, напротив, на 2,3 ударения выше, чем средняя и по 19 в., и по эпосу советских поэтов. Общая тенденция к снижению средней ударности, отмеченная в 5Я советских поэтов (Гаспаров 1974, 104), налицо, но выражена она примерно вдвое слабее, чем в среднем в произведениях, рассмотренных Гаспаровым. От эпического 5Я 1880—1922 гг. профиль ударности в поэме отличается лишь сильным (на 6 и на 7,3 ударения на 100 строк) ослаблением второй и третьей стоп, если же сравнивать его с одним лишь белым эпическим стихом этой эпохи, то различие в ударности второй стопы исчезнет, уступив место усилению (на 5,1 ударения) ударности 4-й. Последняя особенность 5Я поэмы Луговского особенно рельефно выступает по сравнению со средними цифрами по советской поэзии: в поэме 4-я стопа ударна в 50,8% строк, соответствующая средняя цифра в Гаспаров 1967 — лишь 41,3%, а по эпическому 5Я (Гаспаров 1974) и вовсе 40,3%. Создается впечатление, что распределение ударений на этой стопе реализует две альтернативных теоретических модели 5Я: у Луговского — нашу Ш-модель, а в средне-арифметическом профиле ударности у советских поэтов — Т-модель.

Столь существенное различие в ударности 4-й стопы должно, видимо, сказаться и в поведении соответствующих словоразделов. К сожалению, данные по словоразделам (кроме цезуры) у Бэйли и Гаспарова отсутствуют и здесь поэму Луговского можно сравнить лишь со средним распределением в 19 в. Между тем как раз распределение словоразделов имеет решающее значение для определения того, насколько «нова» описанная в 1.4. «трехчастность» строки в поэме. Ведь выделение в 5Я трех сильных ударений на нечетных стопах уже в 19 в. было отмечено у 41 из 60 исследованных русских поэтов (Тарановски 1953, 341) и подобная трехцентровость динамики, казалось бы, легко ассоциируется с трехчастностью у Луговского (в Bailey 1973 структура строки в произведениях, где соблюдена акцентная диссимиляция, прямо именуется tripartite «трехчастная»). Однако в стихе 19 в. резче всего — в 2 раза чаще теоретического — был выражен словораздел после 4-го слога (т. е. на месте цезуры в цезурном 5Я), а в поэме Луговского этот словораздел встречается даже реже, чем в среднем в советской поэзии, для которой вообще характерно ослабление влияния цезурного 5Я (Гаспаров 1974, 104). Напротив, словораздел после 8-го слога, частота которого в «Как человек плыл с Одиссеем» почти достигает частоты «цезуры» в бесцезурном 5Я XIX в., хотя и усилен в XIX в. по сравнению с теоретическим, но вдвое меньше, чем у Луговского. Поэтому даже если мы будем считать, что подобного усиления словораздела после 8-го слога достаточно для введения соответствующей границы в типичную структуру стихотворной строки, возникающее в стихе 19 в. (напомним, что речь все время идет лишь о «среднем стихе»

века) трехчастное членение на слоги 1—4, 5—8 и 9—10 (11)[16] не совпадает с его членением в поэме Луговского. Соответственно, не приходится говорить и о направленности этого членения на подчеркивание и активизацию константного ударения на последней стопе.

1.6. Стих поэмы и общие закономерности русского 5Я. При всей «активизации» стих поэмы, пожалуй, даже больше соответствует некоторым общим закономерностям, предсказываемым теоретическими моделями русского 5Я, чем стих 19 в. О том, что в поэме, как и в большей части обследованного до сих пор русского 5Я [17], соблюдается предсказываемая обеими моделями «акцентная диссимиляция», т. е. чередование устойчивых и неустойчивых стоп (или иктов), и наблюдается как и вообще в XX столетии, тенденция к освобождению от навыков цезурного стиха, мы уже упоминали. Более индивидуальный характер носит выполнение в поэме двух других тенденций.

В распределении ударений Б. В. Томашевским наряду с акцентной диссимиляцией была выделена тенденция к понижению ударности к концу стиха отдельно по устойчивым — 1,3— и по неустойчивым — 2,4 — стопам (Томашевский 1929, 240). У ряда поэтов исследователь обнаружил совокупное проявление обеих тенденций (названное им «ступенчатостью ритма»), но объясняя диссимиляцию «традицией», «навыком русского стиха», он предпочел во второй тенденции видеть лишь «влияние германского бесцезурного ритма». Также и К. Ф. Тарановский превосходство первой стопы над третьей, обнаруженное им у 18 из 60 поэтов, объяснял воздействием немецкого и английского стиха (Тарановски 1953, 235, 341).

Между тем и Ш-, и Т-модель свидетельствуют, что понижение ударности к концу стиха является следствием статистических закономерностей русского языка не в меньшей степени, нежели акцентная диссимиляция. В поэме Луговского понижение ударности соблюдается и по устойчивым, и по неустойчивым стопам, правда — в обратной пропорции: согласно Ш-модели понижение ударности по устойчивым стопам должно превышать понижение по неустойчивым (16,2 ударения против 5,7 на 100 строк), а в поэме имеем 4,6 ударения против 18,7. Соблюдение понижения ударности в сильных стопах выделяет стих поэмы на фоне средних данных по всем трем эпохам истории русского 5Я (см. Гас-

---

[16] Ср.: «Стих стал склоняться к делению на три периода, из них два первых — на 4 слога» (Томашевский 1929, 246).

[17] Тем не менее существование ряда выдающихся произведений, в которых указанное чередование не соблюдается, заставляет считать открытым вопрос, в каком смысле можно говорить о «з а к о н е акцентной диссимиляции», как то делают К. Ф. Тарановский, М. Л. Гаспаров и ряд других авторов.

паров 1974, 103). Обнаружение же теоретической «законности» такого понижения приводит к возникновению новой проблемы истории русского 5Я. Если Томашевский и Тарановский ставили вопрос, почему оно в отдельных случаях соблюдалось[18], то теперь придется спрашивать, а чем была обусловлена столь массовая традиция его несоблюдения (превращавшая акцентную диссимиляцию именно в регрессивную акцентную диссимиляцию)?

В распределении словоразделов Томашевским была подмечена следующая закономерность: «. . .на местах сильных, устойчивых ударений меньше мужских слов (оканчивающихся на четном слоге) и больше женских (оканчивающихся на следующем за ними нечетном)», на местах же неустойчивых ударений, наоборот, больше мужских и меньше женских (Томашевский 1929, 203). Сам Томашевский давал этой тенденции содержательное обоснование, выводя ее по существу из ступенчатости ритма, но приводимые им же данные по стиху Дельвига и Кюхельбекера (Томашевский 1929, 240) показывают, что она отнюдь не является необходимым условием последней. Тем не менее, обе теоретические модели (см. табл. 4) подтверждают, что подобная закономерность русскому 5Я действительно присуща. У Луговского эта закономерность последовательно соблюдается и именно ее действием, а не остаточным влиянием цезурного стиха следует объяснять, на наш взгляд, повышенное число словоразделов после 4-го слога. Именно: рост ударности 2-й стопы вызывает сильное увеличение числа «женских» словоразделов после 5-го слога, но так как ударение 2-й стопы все же остается относительно неустойчивым, то под действием этой закономерности одновременно примерно на столько же увеличивается и число «мужских» словоразделов после 4-го слога, остающееся тем самым больше числа словоразделов после 5-го.

Из-за роста числа словоразделов после 5-го слога в поэме не соблюдается более жесткая закономерность распределения словоразделов в русском 5Я, сформулированная в Якобсон 1933, 113: «. . .избежать внутри стиха словоразделов по соседству с сильными иктами», т. е. уже не только сразу после такого икта, но и непосредственно перед ним. Стоит отметить, что в обеих теоретических моделях 5Я ограничение Якобсона выполняется, хотя, конечно, избегание словоразделов перед сильными иктами выражено гораздо слабее, чем после них.

---

[18] Стоит обратить внимание на то, что в число 18 поэтов, названных в Тарановски 1953, 235, входят Пушкин и Жуковский с их изощренным языковым слухом, а также целый ряд авторов и произведений, подчеркнуто стоявших в стороне от магистральной линии развития поэзии XIX в. Последнее особенно верно в применении к переводчикам, которых, кроме того, вынуждала к максимальному использованию естественных речевых потенций и самая задача передачи извне заданного содержания.

2. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РИТМИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОСНОВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЧАСТЕЙ ПОЭМЫ. КЛАУЗУЛЫ И ИНТОНАЦИЯ

2.1. Композиционная структура поэмы. Самое очевидное и бесспорное композиционное членение поэмы — это разделение на обрамляющую часть, передаваемую рассказчиком от первого лица и входящую в общую сюжетную линию «Середины века» (стихи 1—88, 270—275), и вставную поэму об Одиссее, авторство которой приписано Цветкову, персонажу из первой части (стихи 89—269). Будем для краткости обозначать эти части соответственно буквами А и Б.

Поскольку Б вставлена в А, то А распадается на A_1=[1—88][19]— часть, предшествующую Б, читаемому одним из персонажей А, и A_2=[270—275] — часть, следующую за текстом Б и содержащую высказывание одного из персонажей по поводу этого текста.

Внутри A_1 столь же четких показателей композиционного разделения нет. Мы разделили эту часть на A_{12}=[25—88], содержащую диалог отца и Цветкова, и предшествующее диалогу вступление A_{11}, вводящее нас в место и время диалога. Очевидно, что это членение не единственное возможное. Мы трактуем [1—24] как повествовательное введение непосредственно к диалогу «Отец—Цветков», и сюжетным для нас является изложение локальной (с глобальным «подтекстом») обстановки последующего диалога, а строки 12—15 — мотивированным, необходимым, но все же отступлением. Другим не менее обоснованным разбиением было бы A'_{11}=[1, 15], A'_{12}=[16, 88], где A'_{11} давало бы нам глобальную характеристику времени действия (хотя поначалу и через локальный образ), а A'_{12} содержало бы всю сцену «Отец—Цветков», начиная с самого прихода прапорщика. Для выделения A'_{12} имеется и некоторое формально-ритмическое основание: она начинается и кончается строками формы I, в которых словоразделы совпадают со стопоразделами (на всю поэму таких строк 4 вместо 2 ожидаемых).

Композиционную структуру вставной поэмы ввиду ее большей дробности и сложности мы рассмотрим непосредственно при ее потекстовом анализе в § 3.3.

2.2. Сравнение ритмического материала частей А и Б. Попробуем выяснить, насколько един и насколько оригинален ритмический материал двух основных частей. Коэффициент инометричности равен для А 0,011, для Б — 0,0055, а коэффициент внеметричности — соответственно 0,075 и 0,055. Сравнение распределе-

---

[19] Здесь и ниже синтаксически-законченные отрезки текста обозначаются номерами своих начальных и конечных стихов. Квадратная скобка означает, что начало (или конец) отрезка совпадают с началом (с концом) стиха, а круглая — что начало (конец) отрезка находится посередине стиха.

ний динамических форм 5Я (см. табл. 2 [20]) показывает, что формы II, III, VII, IX и X распределены довольно равномерно. Основным ритмическим определителем Б оказывается повышенная по сравнению с А частота формы V (ее «характеристика» в Б — 1,97 [21]) при одновременном уменьшении доли форм IV и I.

Если сравним теперь распределение ударений (см. табл. 3), то увидим, что относительно постоянна лишь ударность 2-го и 4-го слогов. Повышение ударности 6-го в А в два раза меньше, чем по поэме в целом, в то же время сильно повышена ударность 8-го. В результате определяющая структуру строки (см. 1.4) тенденция к концентрации предконстантного ускорения на 4-й стопе выражена в А слабо (доля 4-й стопы в общей атонации стоп 2—4 составляет 43.3% при 40,2% теоретически). Да и этот слабый эффект в значительной степени скрадывается тем, что перепад ударности между 4-й и непосредственно предшествующей 3-й даже меньше теоретического: 17,3 против 20,7 теоретически. Напротив, в Б эта тенденция выражена очень сильно: доля 4-й стопы в общей атонации стоп 2—4 возрастает до 52,6%, а перепад ударности между 3-й и 4-й стопами достигает 35,9 ударения на 100 строк.

В распределении словоразделов (см. табл. 4) определителем Б является усиление словораздела на 5-м слоге. При некотором ослаблении словораздела на 8-м и усилении на 9-м слогах сумма их частот остается постоянной, что важно ввиду их роли в структуре строки (см. 1.4).

Как видим, Б (практически следующая за А) имеет свою достаточно заметную ритмическую окраску, достигаемую за счет отличий в распределении отдельных элементов ритма. В то же время распределение всех динамических форм в целом оказывается достаточно сходным: проверка по критерию χ^2 показывает, что даваемое табл. 2 расхождение между рядами $Q_А$ и $Q_Б$ ($\chi^2=5,2$; 8 степеней свободы) является незначимым при любом сколько-нибудь разумном уровне значимости (при всех $q<r$, где $0,7<r<0,8$). Как известно, Б и А создавались с перерывом примерно в 13 лет (см. Левин 1963, 201, 204; машинопись первоначального варианта называется «Когда я плыл вместе с Одиссеем» и соответствует нынешней Б). Поэтому тот факт, что они, при всем ритмическом своеобразии (полностью открывающемся лишь при потекстовом анализе), не расходятся в распределении динамических форм больше, чем можно было ожидать чисто случайно при сплошном единовременном порождении текста, является, на наш взгляд,

---

[20] Абсолютные и относительные частоты ритмических элементов в А и Б, данные в табл. 2—4, приводятся соответственно в столбцах $Q_А$, $F_А$ и $Q_Б$, $F_Б$.

[21] Расхождение распределений формы V в А и Б, незначимое при $q=0,05$, значимо при $q=0,1$: $\chi^2=2,733 > 2,706=\chi^2_{0,1}$ (см. Оуэн 1966, 51).

хорошим свидетельством единства ритмического задания, цельности и органичности поэмы в целом.

2.3. Особенности распределения клаузул. Гипотеза и метод исследования. Особенно сильно различие ритмического материала А и Б проявляется в распределении стиховых окончаний — клаузул. Распределение их неожиданно и по поэме в целом: если по данным теоретической модели мужские клаузулы (далее — МК) должны встречаться даже несколько чаще женских (ЖК) — 51,6% против 48,4%, — то в поэме строки с МК составляют лишь 30% (см. табл. 4, где МК и ЖК представлены как «словоразделы» после 10- и 11-го слогов). В Б частота МК еще меньше и значимо отличается от несколько большей частоты в А (значимость подтверждается при $q=0{,}05$: $\chi^2=3{,}95 > \chi^2_{0{,}05}=3{,}8$ — Смирнов, Дунин-Барковский 1965, 470).

Взяв для сравнения другое центральное «повествовательное» произведение из написанных белым 5Я в XX в. — «Вольные мысли» Блока, мы получили цифры, весьма близкие к теоретической модели: МК — 49,6% строк, ЖК — 50,4%. Таким образом, отмеченные особенности их употребления у Луговского явление отнюдь не общее. В то же время в первой трети XIX в. (см. Томашевский 1929, 228, 232, 239, 243) подобное уменьшение доли МК (хотя, за исключением «Отставного солдата» Дельвига и «Пира во время чумы», и не столь сильное) встречалось, притом в тех драматических произведениях, для которых было характерно стремление освободить интонацию от классицистской условности [22]. Знакомство с этими данными наводит на предположение о том, что изменение теоретически ожидаемого соотношения типов клаузул связано с особенностями интонационного строения текстов и что уменьшение числа МК вызвано какими-то особыми функциями, поручаемыми им в интонационной структуре текста. Проверяя это предположение на материале «Как человек плыл с Одиссеем», мы будем рассматривать клаузулы не только строк чистого 5Я, но и строк со сверхсхемными ударениями (доля МК от этого почти не меняется: вместо 38,4% в А и 25,3% в Б имеем соответственно 40,9% и 24,4%).

В качестве основной единицы интонационной структуры текста рассматривался интонационный период (ИП) — совокупность стихов и элементарных интонационных единиц (типа синтагм), обладающая интонационной целостностью, завершенностью и определенной отдельностью, самостоятельностью существования. Последнее свойство делает ИП минимальной композиционно-смысловой единицей — своего рода эквивалентом строфы в астрофическом стихе (ср. Тимофеев 1958, 128, 145, откуда взят и самый термин). Для разметки интонационной структуры текста нам

[22] Ср. в отзыве об «Орлеанской деве» Жуковского: «5-стопные стихи без рифм требуют совершенно новой декламации» (Пушкин 1958, 43).

нужно иметь хотя бы и сугубо предварительное, но обязательно операционное определение ИП, поэтому мы считали ИП равным «графическому предложению», т. е. отрезку текста между двумя точечными знаками — ведь предложению обычно также приписываются атрибуты интонационной и смысловой самостоятельности (большинство приводимых в Тимофеев 1958 примеров ИП также являются предложениями). Поэтому при первоначальной разбивке текста мы в целях максимальной однозначности всюду пользовались приведенным определением, считая, что напрашивавшееся в ряде случаев объединение нескольких предложений в один ИП или разбиение предложения на ряд ИП, которое заведомо сделало бы результаты более эффектными, само должно иметь, по возможности, объективное основание. И в самом деле, полученные результаты позволяют провести более точную апостериорную разметку интонационной структуры, опирающуюся на такие специфические сигналы, как клаузулы.

2.4. МК в Б как средство и сигнал завершения ИП. Чтобы выявить специфические функции МК во вставной поэме, раскласcифицируем их по местоположению в ИП (табл. 6). Большинство

Таблица 6

Классификация МК части Б по их месту в ИП

№ позиции	Позиция в ИП	Число МК	
		абсолютное	в % к общему числу МК в Б
1	В последнем стихе ИП	34	75,6
2	В первом стихе ИП		
	а) заканчивающегося другой МК	2	4,4
	б) заканчивающегося ЖК	2	4,4
3	В срединном стихе ИП	7	15,6
	Всего	45	100

МК стоит в позиции 1. МК, стоящие в позиции 2а, являются в своем периоде как бы добавочными; взглянув на стихи 106 и 124, поймем, как они там появились: посредине этих строк заканчиваются предыдущие ИП [98—106) и (122—124) и принадлежащие этим ИП МК попадают в начало следующих ИП просто в силу своего положения в стихе. Таким образом, 80% МК принадлежат стихам, в которых завершается ИП. В свою очередь, 36 из 47 ИП части Б, или 76,6%, имеют в конце ИП. Если же мы возьмем для сравнения А, то там, из 38 МК только 19, или 50%, стоят в конце ИП, а из общего числа ИП только 18,3% имеют на конце МК.

Мы можем сделать вывод, что в Б МК систематически используются как средство и специальный знак завершения ИП и его

отграничения от следующего ИП. Соответственно ЖК сигнализирует о незавершенности ИП. На этом фоне употребление МК в более редких позициях 2б и 3 является особым сигналом, несущим некоторую дополнительную информацию. Значение «передвижения» МК в позицию 2б понять просто. Перед соответствующими ИП [89—91] и [121—121) проходят границы более крупных единиц композиционно-смысловой структуры, нежели ИП (в первом случае частей А и Б, о втором см. ниже 3.3), отмеченные, междустрочными интервалами. Перемещаясь в начало этих ИП, МК не теряют своей разграничительной функции, но лишь выполняют ее на других, высших уровнях.

Чтобы понять, о чем свидетельствует появление МК в позиции 3, нужно сначала разобраться, зачем вообще в Б потребовался специальный знак разграничения ИП. Объяснение этого факта кроется, на наш взгляд, в такой важной характеристике интонационной структуры произведения, как средняя длина ИП. В самом деле, ИП представляет собой минимальный элемент структуры произведения, обладающий определенной композиционно-смысловой самостоятельностью. Поэтому его очень важно вычленить, отделить от соседей. При небольшой длине ИП (напр., в А, где средняя длина ИП составляет 0,9 строки), близкой к величине строки, это нетрудно, так как интонационная единица совпадает с ритмической. Но когда ИП увеличивается и включает в себя ряд ритмических единиц (а в Б средняя длина ИП равна 3,85 строки), возникает нужда в цементации единиц, относящихся к одному ИП, и их подчеркнутому отделению от единиц, в него не входящих. Данное объяснение подтверждается тем, что в Б из 9 ИП, не имеющих МК на конце, 7 имеют длину до двух строк (пять из них — однострочны, в то время как среди ИП, имеющих в конце МК, однострочные отсутствуют) и только 2 имеют по 4 строки [23].

Другим способом проверки нашего объяснения причин возникновения потребности в знаке границы ИП и вызванного ею разграничения функций МК и ЖК является наблюдение за МК в позиции 3. Если наше объяснение правильно, то срединные МК должны появляться в ИП, длина и синтаксическая сложность которых значительно превышает среднюю, как средство их членения на законченные в интонационно-смысловом отношении отрезки меньшей длины и сложности. В 3.3 увидим, что 6 из 7 срединных МК части Б употреблены именно в таких ИП. Правомерность нашей трактовки генезиса и функций срединных МК

[23] В подобных случаях, как увидим в 3.3, стык ИП отмечается другими, локальными сигналами, например, сменой фиксированных словоразделов (знак, чаще используемый для разграничения единиц более высокого порядка, например последовательностей стихов между двумя отбивками), или синтаксическим повтором.

подтверждается также формально не входящей в эту группу МК стиха 182, где автономия разделяемых МК интонационных и синтактико-смысловых единиц подтверждена авторским восклицательным знаком. Так, отклоняясь от грубого «предложенческого» эталона, интонационная структура одновременно создает собственный ритмико-интонационный «знак препинания», позволяя тем самым проследить эти отклонения и уточнить априорную разметку по точечным знакам. Все же, последовательности ради, мы будем называть отрезки, на которые членится ИП с помощью срединной МК, подпериодами (ср. о заканчивающихся МК «субабзацах» в: Рейсер 1969а, 198).

Итак, МК служит в Б почти необходимым признаком интонационно законченного речевого отрезка. По-видимому, такая роль МК осознавалась и самим поэтом. В первоначальном варианте поэмы теперешний стих 128 заканчивался ЖК *землею* и не отделялся от следующего стиха отбивкой. Когда же в наборном экземпляре появилась МК *землей*, после этого стиха была сделана отбивка, в результате которой (124—128) стал по-существу самостоятельным ИП — отбивку в комплексе с запятой и тире естественно считать эквивалентной точечному знаку. Показательно также и то, что из 12 намеченных автором в Б межстиховых отбивок-пробелов (считая отбивку между Б и $А_2$ и после последнего стиха страницы 24, что подтверждается по наборному экземпляру) перед 11 стоят МК, а единственная ЖК принадлежит однострочному ИП *А старый наш народ не знает смерти* и следует за МК.

2.5. Клаузулы в А. Экспрессивная функция клаузул. Как мы установили, МК не несут в А разграничительной функции. Почему же и в пределах А распределение МК далеко от теоретического? Оставив в стороне $А_2$ (шестистрочная, она не оказывает существенного влияния), сравним распределение МК в $А_{11}$ и $А_{12}$. Во вступлении $А_{11}$ — 12 МК на 23 строки 5Я, или 52,2% (что близко к 51,6% теоретической модели), и, как показывает анализ, МК не имеют в $А_{11}$ какой-либо постоянной функции. В $А_{12}$ 22 МК на 64 строки, или 34,4%, различие с $А_{11}$ статистически значимо. Предположение, что в $А_{12}$ МК все-таки выполняют разграничительную функцию, опровергается уже малостью числа МК по сравнению с числом ИП (22 и 74). Средняя длина ИП в $А_{11}$ (1,04 строки) близка к соответствующей величине для $А_{12}$ (0,865). Таким образом, эти части близки по степени дробности, сложности своей интонационной структуры, но если мы сравним их по характеру интонации, то увидим, что в $А_{11}$, написанной в повествовательной форме, преобладает описательная, эмоционально нейтральная «эпическая» интонация. В то же время интонация $А_{12}$, написанной в форме диалогической, резко эмоциональна, даже «взвихрена» (в пунктуации это отражено 16 вопросительными и 8 восклицательными знаками против одного восклицательного

в A_{11}). Потекстовой анализ в 3.2 покажет, что в этих условиях МК приобретает в A_{12} ярко выраженную экспрессивную функцию, отмечая моменты особого напряжения и зачастую совпадая с синтаксическими переносами.

3. РИТМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ДВИЖЕНИЕ СМЫСЛА

Перейдем к подробному потекстовому анализу поэмы, направленному на выявление соответствий между последовательностью появления элементов ритмического материала и сменой композиционных единиц, развитием плана содержания поэмы (т. е. между развитием ритменного и словесного текстов в терминах Гиндин 1969). Выявив подобные соответствия, мы сможем установить содержательно-композиционные функции некоторых элементов ритмического материала в непосредственном контексте их употребления, роль этих элементов в выделении и подчеркивании тех или иных моментов смысловой динамики поэмы.

В развертывании ритмического материала мы будем следить за явлениями двоякого рода (ср. Колмогоров, Кондратов 1962, 67 и понятия теоретико-информационной и статистической базисных моделей ритма в Гиндин 1969, 1970б). Во-первых, мы будем фиксировать каждое появление тех ритмических элементов, которые малоупотребительны, редки в поэме (табл. 7 [24]). Естественно предположить, что у большого поэта обусловленная редкостью употребления заметность и потенциальная информативность таких элементов будет поставлена на службу художественному целому, отмечая границы композиционных единиц или подчеркивая какие-то важные моменты смысловой динамики. Во-вторых, мы будем обращать внимание на колебания в распределении прочих, более употребительных ритмических элементов: повышенная концентрация некоторых из них может «создавать индивидуальную окраску» (Колмогоров, Кондратов 1962, 67) композиционных единиц, выделяя их среди соседних единиц. Одновременно внутри такой «окрашенной» единицы создается фон, на котором прочие встречающиеся в ней употребительные элементы, концентрация которых в ней существенно понижена, могут в данном локальном контексте выполнять те же функции, что были выше указаны для «нелокально» редких элементов.

[24] «Зачином» стиха мы называем все безударные слоги, предшествующие первому реально ударному. Частота F в табл. 7 для каждого варианта определялась по отношению к числу тех стихов, элементы которых составляют с ним полную систему событий. Легко заметить, что «пороги редкости», принятые для зачинов и для динамических форм, различны и зависят не только от частот самих «редких» элементов, но и от частоты соотнесенных с ними «частых». В Б есть, как мы помним, и специфические раритеты: МК в позициях 2б и 3.

Таблица 7

Редкие ритмические элементы в поэме

Элемент	Q	F
Сверхсхемные ударения на нечётных слогах, кроме 1-го	3	0,011
Нулевой зачин (МЗ)	14	0,051
Трехсложный зачин (ДЗ)	38	0,148
В том числе:		
а) форма II	11	0,043
б) форма VII	10	0,039
в) форма VIII	17	0,066
Форма IX	3	0,012
Одностопный ямб	1	0,003
Трехстопный ямб	1	0,003

3.1. A_{11} **как ритмическое вступление.** Начинается A_{11}, а с ней и вся поэма, двумя стихами III формы (первая с МК). Вообще в A_{11} на 23 стиха 5Я насчитывается 10 с пиррихием на второй стопе, т. е. 43,5%, что близко к теоретически ожидаемым 45%. Таким образом, своеобразный ритм Луговского, основной тенденцией которого является повышение ударности второй стопы, не возникает сразу, оглушая читателя, а выкристаллизовывается (вспомним также распределение МК) постепенно, усугубляя тем самым вступительный характер отрывка: A_{11} вводит не только в действие, но и в ритм, и является не только содержательным, но и ритмическим вступлением.

Первые 11 строк имеют фиксированный односложный зачин. Но 12-я имеет единственный в A_{11} ДЗ (против трех ожидаемых), а затем следует единственный в поэме одностопный стих 1Я с единственной же дактилической клаузулой и, наконец, строка 16 — единственная в A_{11} строка I формы (против четырех ожидаемых). Этому комплексу ритмических сигналов в композиции соответствует единственное отступление от основного хода изложения. Стих 12 переносит нас к событиям большого мира и дает характеристику времени действия. ИП не заканчивается на 12 строке, его последнее слово *шестнадцатый* составляет отдельный стих, от чего оно как бы «вырастает, делается более протяженным» (Ермаков 1923, 186), субстантивируется и увеличивает свой «синтаксический вес» (Вичокур 1943, 86). Выделяя это слово в отдельный стих, Луговской вызывает из нашей памяти все, что ассоциативно связано в ней с 1916 годом (по-видимому, здесь акцентируется не «основной признак значения», как заключал из анализа подобных случаев Ю. Н. Тынянов — 1965, 103 — а то, что соответствует его «колеблющимся признакам»). Этот ритмико-семантический прием избавляет поэта от необходимости давать

дальнейшую характеристику времени и позволяет ограничиться его точной локализацией («Распутина прикончили вчера»). Наконец, стих 16 возвращает нас к месту действия.

Строки отступления связаны с предыдущей 11-й и последующей 17-й словоразделами на 8-м слоге (6 строк подряд). В строках 16—20 намечается новый связующий словораздел на 2-м слоге, причем строка 18, в которой появляется Цветков, рельефно выделена сдвигом словораздела с 8-го на 7-й слог, затем идут еще 2 стиха со словоразделом на 8-м — всего на 9 строк 8 таких словоразделов.

3.2. Диалог отца и Цветкова. После 12 односложных зачинов подряд особенно ощутим начинающий A_{12} ДЗ стиха 25. Резкость и взволнованность дальнейшей речи Цветкова оттеняются выбором для «задумчивой» реплики отца (стих 28) редчайшей IX формы с МК. Для особо важных стержневых вопросов и ответов Цветкова составляющих как бы костяк разговора, используются формы с ДЗ и/или МК: *Я вас спрошу, учитель для чего. . ., Лишь для того, чтоб мертвецом лежать. . ., А вот кому мы платим — я не знаю, Освобожденье мира? Чепуха!, А для чего? Для стылого окопа!И для безверия. Кто виноват. . ., Но велика и тяжела вина!, За Левитана, Грига и стихи. . .*

«Мучительные вопросы», выделяемые при анализе поэмы в Левин 1963, 314—315 по чисто содержательным признакам, отмечены сверхсхемными ударениями (строка 56-на 5-м и строка 64 — на 7-м слоге). Содержательно связанные друг с другом ИП связаны иногда и постоянным словоразделом: стихи 27—31 — на 4-м слоге (заключающая строка 32 выделена как раз отсутствием этого словораздела), строки 34—37 — снова на 4-м, в стихах 38—39, 41—46, 48—52 — на 8-м слоге, а в стихах 46—52 и 65—70 — *опять на 4-м. В местах особо сильного напряжения* возникают переносы, весь диалог насыщен внутристиховыми паузами.

Обыкновенно все эти сигналы не разрозненны, а появляются целыми комплексами, поддерживая и усиливая друг друга, отмечая особо важные моменты. Так, стих 53, первый после стихов 51 и 52, в которых возбуждение Цветкова на мгновение ослабевает — он как бы прислушивается к часам — выделяется исчезновением фиксированных в предыдущих 7 стихах словоразделов на 4-м и 8-м слогах, следующие два стиха трехударны (после 11-четырех- и пятиударных), разбиты внутристиховыми паузами и оканчиваются МК, причем 54-й содержит ДЗ (после семи односложных зачинов), а 55-й — резкий перенос. Наконец, стих 56 содержит первое в поэме сверхсхемное ударение (на 5-м слоге при ударном 4-м).

Целый комплекс ритмических средств находим и в стихах 63—65, т. е. опять-таки в момент резкого возбуждения Цветкова: здесь два ДЗ, два переноса, три внутристиховых паузы и един-

ственное в поэме ударение на 7-м слоге. Важные для выражения идейного конфликта поэмы стихи 72—73 выделены первым в поэме МЗ — *Нас, мертвецов грядущих, силу жизни*, которому предшествуют МК и перенос. В стихах 74—82 7 словоразделов на 5-м слоге, отсутствие этого словораздела выделяет очень важный в смысловом отношении стих 74 *Победа разума, победа света* и стих 79 — переход от речи Цветкова к авторской и к сцене прощания (из-за трехударности стихов 78—79 игра словоразделов особенно заметна). Прощание Цветкова также сопровождается целым комплексом сигналов: три МК (строки 78—80), три переноса (строки 80—82) и 7 внутристиховых пауз на четырех стихах (80—83).

Наконец, первое упоминание имени Одиссея, первый намек на основной конфликт поэмы (он же — один из основных для всей книги) сопровождается МЗ стиха 85 *Кто Одиссей. . .*

3.3. Вставная поэма (Б). В композиционной структуре Б довольно четко выделяются единицы трех уровней: ИП, «пробельные группы» (или просто «группы»), т. е. совокупности нескольких ИП, отделенные от остальных ИП авторскими отбивками, и «части», объединяющие тематически наиболее тесно спаянные друг с другом пробельные группы. Границы единиц разных уровней могут совпадать и налагаться друг на друга, тем не менее все они, как правило, бывают отмечены особыми ритмическими и ритмико-синтаксическими сигналами.

Вставная поэма начинается стихом формы V, более высокая концентрация которой является, как мы помним, основной особенностью ее ритмического материала. Начало Б отмечается не только формой стиха 89, но и его МК, как бы перенесенной из последней строки ИП и разграничивающей уже не ИП, а две основные части произведения. Три первых периода [89—91], [92—94], [95—97] дают образец тончайшей инструментовки словоразделами: словоразделы на 2-м и 7-м слогах как бы пронизывают весь отрывок, связывая (вместе со словоразделом на 8-м) ИП друг с другом или, наоборот, разделяя их. Так, первый и последний стихи [95—97] имеют идентичную ритмическую схему (V форма, словоразделы на 2-м, 5-м и 7-м слогах). Если бы и средний стих имел такую схему, то создавшаяся монотония, не выделяя заключительной строки, вызывала бы впечатление незаконченности ИП. *Но в середине трехударный стих* X формы без словораздела на 2-м слоге, монотонии нет и в помине, а тождественность расположения оставшихся ударений и словоразделов способствует сохранению ритмической цельности ИП. Ритмико-интонационная спаянность трех ИП соответствует их композиционно-смысловому единству: отделенные отбивкой, они представляют собой известное композиционное целое, противопоставленное следующим ИП, создают единую картину могучей природы и уверенно летящего вперед корабля, увиденного как бы и з в н е-

МЗ (при ударном 2-м слоге) стиха 98 и ДЗ (VIII форма) 100-го отделяют от них следующую пробельную группу [98—119], в которой развертывается совершенно обратная картина, увиденная изнутри глазами участника похода. Редчайшая IX форма стиха 103 выделяет в нем слово *синецветной*, еще раз подчеркивающее контраст между бедственным положением плывущих и окружающей природой. Перемена совершается и в ритмике. Группа [89—97] была спаяна словоразделами на 2-м и 7-м слогах. В первых стихах новой группы еще содержится по одному из этих словоразделов, но затем они почти исчезают, уступая место словоразделам на 4-м и особенно на 8-м слоге (14 на 22 строки, из них 12 на стихах 104—119): последний буквально довлеет и его отсутствие оказывается средством заметного интонационного выделения. Другая особенность новой группы — обилие трехударных стихов: три в ИП [98—106), пять в (106—117]. Впечатление неумолимости заключительного вывода ИП [98—106] создается обрубающей его внутристиховой паузой, противопоставляющей короткую фразу *и это все напрасно* нарастающему интонационному движению предыдущих 8 стихов. Следующий ИП, раскрывающий этот вывод, характеризуется интересным ритмико-интонационным строением: четыре однородных целевых придаточных начинаются четырьмя стихами VII формы (при том, что на всю поэму таких стихов только 10). Большая длина периода и его интонационно-синтаксическая сложность приводят к возникновению в 110-м стихе между сочиненными и потому наименее тесно связанными придаточными МК, разбивающей ИП на два подпериода.

ИП [118—119] представляет собой двустишие V формы. Подобные двустишия, резюмирующие содержание предшествующего отрезка текста, по-видимому, выполняют во вставной поэме разграничительную роль, отделяя друг от друга «части» вставной поэмы, объединяющие по несколько пробельных групп. Начало новой «части» всегда соответствует серьезному композиционно-тематическому переходу, в данном случае — от экспозиции к изложению основного конфликта, показу сталкивающихся сторон. Стык элементов более высокого уровня, чем уровень ИП, сигнализируется и переносом МК ИП [120—121) в стих 120. Эта же строка 120 выделена ДЗ и первым после 9 стихов словоразделом на 6-м слоге. Вывод ИП (122—124) подчеркивается внутристиховой паузой. Вообще, строки, посвященные рассказчику и другим матросам, насыщены внутристиховыми паузами, тогда как строки, посвященные Одиссею, объединены единым и плавным ритмико-интонационным движением. Первое появление темы Одиссея отмечено МК 124-го и ДЗ (форма VIII) 126-го стихов.

ИП (124—128] еще не заканчивает противопоставления — использована *не вся сообщенная информация*, ведь нам известна

не только судьба рассказчика, а и его внешний вид. Аналогичные сведения об Одиссее даются только в ИП [129—130], тем не менее отбивка, завершающая пробельную группу, дана после стиха 128. Если это не дефект типографской подачи текста (в наборном экземпляре этой отбивки не было), то перед нами случай намеренного экспрессивного использования пробела, аналогичного введению красной строки внутрь сверхфразового единства (см. Маров 1970).

Следующая группа периодов повторяет основную антитезу, варьируя и усиливая ее. Эта антитеза подчеркнута МЗ 133-го стиха (2-й слог ударен, в результате имеем стык двух ударений), рифмой *канаты—крылатый* и внутристиховой паузой в строке 134. Стихи 131—134 сшиваются словоразделами на 3-м и 8-м слогах, а последняя строка выделяется отсутствием первого из них. Однако МК, «причитающаяся» завершающему стиху, появляется посреди следующего ИП, в 136-м стихе. Дело, видимо, в тесной смысловой связи этих периодов, в том, что повторное изложение конфликта в [131—134) не закончено. Основной конфликт отнюдь не между рассказчиком и Одиссеем (*Я должен умереть, а ты, крылатый. . .*), но между Одиссеем и всем экипажем (*Мы все умрем/И только ты. . . поднимешься над нами*). Поэтому его новая «формулировка» заканчивается только в ИП [135—144] с появлением образа «ахейского сброда», которое и отмечено в ритмике внутристиховой паузой стиха 135, «сдвинутой» МК в 136-м и третьим членом рифмы *ребята*, еще тесней связывающим данный ИП с предыдущим. Весь ИП [135—144] пронизан словоразделами на 4-м слоге. Выделению заключительной строки опять-таки способствует отсутствие этого словораздела, который вновь появляется в заканчивающем всю часть, посвященную изложению основной антитезы, резюмирующем двустишии V формы [143—144].

Следующая часть вставной поэмы — воспоминания о Трое. На этот раз стык частей отмечен МЗ стиха 145. МК строк 146 и 148 разбивают [146—152] на подпериоды, первый из которых включает 6 однородных подлежащих, а два других — еще по одному распространенному подлежащему. Тематически особенно оправдано выделение подпериода [149—152], целиком посвященного Елене. Начальный стих этого подпериода трехударен (после шести четырех- и пятиударных строк), а в стихе 148 впервые после 12 стихов появляется словораздел на 5-м слоге, встречающийся далее в этой пробельной группе довольно равномерно. Начало ИП [153—160], в отличие от предыдущего непосредственно связанного с основным конфликтом, отмечено ДЗ стихов 153 и 154 (последний — VII формы), а кончается он VIII формой.

После свойственной этому ИП несколько повышенной концентрации трехударных форм особенно заметна характеризующая следующую пробельную группу [161—173] полноударность (5 стихов на 13 при норме в Б 13 стихов на 100). В то же время концен-

трация трехударных в два раза ниже нормы. Пятиударный стих 161 на фоне двух предшествующих трехударных как бы задает ритмический тон всей группе, отмечая вместе с МК 160-го стиха стык двух ИП и двух групп, а ритмический и частичный синтаксический параллелизм [25] стихов 161 и 165 служит, наряду с исчезновением фиксированного словораздела на 2-м слоге, разграничению ИП [161—164] и [165—168], выполняя функцию отсутствующей МК.

Отметим также довольно редкую VIII форму стиха 166 *Без покрывала, голую, как рыба*, дающего новую вариацию основного противопоставления вставной поэмы: Одиссей и здесь «один», не зря ведь его матросы видят лишь «пурпурное покрывало» Елены («огненный плащ» — постоянный атрибут героини и один из сквозных образов поэмы).

Следующая пробельная группа ИП: [174—178], [179—182], [183—190] — говорящая уже не о прошлом, а о его будущей трактовке, *отделяется от предшествующей МЗ 174-го стиха. Особый «ораторский» накал спора с грядущими легендами отмечен* трехударными стихами 176—177 (после семи, имеющих от 4 до 6 ударений), из которых второй — редкой VII формы с ДЗ, и МЗ стиха 178. Этот ораторский накал захватывает и два следующих ИП, ритм которых определяется обилием форм с ДЗ (II и VIII): в [179—182] 3 стиха с ДЗ, а в [183—190] — 5 (при норме в Б 15 стихов на 100, включая VII форму, которая здесь отсутствует, или 11 стихов без нее). Интонационная сложность в более длинном ИП [183—190] приводит к возникновению срединной МК в стихе 186, разделяющей противопоставленные по смыслу однородные обстоятельства образа действия.

Двустишие [191—192] — стихи V и VI форм с тождественным расположением словоразделов, — как и предыдущие аналогичные двустишия, стоит на стыке двух крупных композиционных частей: закончена тема Троянской битвы и ее грядущей интерпретации, рассказчик возвращается в настоящее, к тому, что происходит с ним и его товарищами в момент рассказа. Но на этот раз двустишие «резюмирует» не завершившуюся часть рассказа, а начинающуюся. Впрочем, его связь с предшествующей частью также подчеркнута благодаря рифме стихов 190 и 192. Известно, что рифмующиеся слова часто являются и своего рода смысловыми центрами строк, тем более можно ожидать этого в белом стихе, где самое появление рифмы уже несет большую информацию. И в данном случае рифмующиеся слова с огромной силой подчеркивают основную антитезу двух судеб: «его. . . воспел певец», для нас же — «. . .впереди — конец».

[25] Пятиударность стиха 161, а с ней и ритмический параллелизм были, видимо, введены поэтом. В первоначальном варианте поэмы параллелизм двух стихов был

ИП [193—196] — второй и последний из относительно больших ИП, окончания которых не отмечены МК. Однако следующий за ним ИП [197—200] и без того с лихвой выделен своей необычной (а возможно и небывалой) формой: четверостишие V формы, три первые стиха которого связаны тавтологической рифмой (*другими*), лексико-семантическим сходством, почти тавтологическими зачинами и имеют тождественное расположение словоразделов. Завершающая строка четверостишия выделена иным положением последнего словораздела, отсутствием рифмы и МК.

Среди стихов 191—204 только 193-й не имеет словораздела на 5-м слоге, и лишь три (192, 194, 196) написаны не V формой. Вероятность случайного появления таких последовательностей во вставной поэме имеет порядок 10^{-6}—10^{-7} и поэтому они вряд ли могут быть сочтены случайными: перед нами пример ярко индивидуальной ритмической «окраски» композиционной единицы. То, что эта «окраска» захватывает и начало следующей пробельной группы, не случайно. ИП [201—203] — своеобразное лирическое отступление, в ней возникает тема мечты о Родине. Но недаром связан ритм этих строк: рассказчику не дано и в мечтах уйти от конфликта, родина тоже только для Одиссея. В ритмике этому диссонансу, вторжению напоминания о «владыке» отвечает сильный перебой — исчезновение фиксированного словораздела, первый — после 8 стихов — стих не V формы (205) и МЗ 206-го стиха.

Резкий переход от лирического раздумья к обращению к товарищам по несчастью подчеркнут внутристиховой паузой в стихе 208. 211-й стих — последний в поэме стих редчайшей IX формы. Такая ритмическая структура строки выдвигает (см. о «собственном значении» ритмических форм: Гиндин 1969) слово *неповторимых*, как бы подчеркивая, что несмотря на все трудности, прошедшее время было исполнено славных свершений, и одновременно создает контрастный фон для восприятия написанного V формой двустишия [212—213], заключающего вывод ключевой (для всей книги) важности. Вывод этот подчеркнут также внутристиховой паузой и переносом в стихе 212.

Как и предыдущие двустишия такого рода, [212—213] разграничивает части вставной поэмы. Начинающаяся часть [214—245] характеризуется в целом повышенным содержанием форм I (18,75 строки на 100) и III (21,9 строки на 100) — при норме для той и другой в Б 12,9 строки на 100 — и пониженной концентрацией трехударных форм (9,3% при норме в Б 28,9%). Для особенно напряженной в интонационно-смысловом отношении группы [222—245] характерны также повышенная частота МЗ — 3 стиха с МЗ, или 12,5 на 100 стихов при норме в Б 5,5 на 100 стихов — и удвоенная концентрация словоразделов на 9-м слоге, т. е. непосредственно перед заключительным ударением строки. Очень интересен по своему строению ИП [218—221]. Первые три строки, как и в [197—200], абсолютно тождественны ритмически

(та же форма V) и очень близки семантически, но вдобавок скреплены еще полным синтаксическим параллелизмом и отличаются только последними рифмующимися между собой словами (*словами—сынами—певцами*). На фоне такого монотонного нарастания особую энергию приобретает трехударный (после пяти четырех- и пятиударных) заключительный стих *По праву капитана и царя!* Следующая группа ИП, вводящая тему наступающей смерти, открывается стихом 222 с внутристиховой паузой. Вначале идут подряд три однострочных ИП, оканчивающихся ЖК: [222], [223], [224], два из них — I формы. Стих 226 *Ты справа, не клони бровей тяжелых* выделен МЗ при ударном 2-м слоге.

Следующий ИП [228—230], скрепленный словоразделом на 4-м слоге, начинается МЗ и заканчивается стихом VIII формы с ДЗ, на трехударном фоне которого (это единственный трехударный стих в [222—245]) особенно рельефен ИП [231—234], целиком написанный I формой. Следующий ИП [235—237] прошит словоразделами на 2-м и 8-м слогах, а двустрочный, оканчивающийся ЖК [238—239] — на 3-м и 6-м слогах. Стык ИП отмечает МЗ 240-й строки. Заканчивается вся часть противопоставленным предшествующему отрывку одностишным ИП *А старый наш народ не знает смерти.*

Последняя часть вставной поэмы [246—269] посвящена будущему, грядущим «посмертным судьбам». И, как и в предыдущих обращениях к этой теме, мы находим здесь повышенную концентрацию форм с ДЗ (на этот раз — преимущественно VIII) и трехударных строк, связанную с повышенной эмоциональной напряженностью и нарастанием энергии речи. Формы с ДЗ составляют здесь 20,8% при норме в Б 15,3% (содержание VIII формы почти в 2 раза выше нормы), а трехударные стихи 41,7% при норме в Б 28,9%. В частности, содержание формы X составляет 25% против нормы в 16,5, т. е. близко к не соблюденным в поэме в целом требованиям теоретической модели 5Я.

Начинается часть стихом формы I с внутристиховой паузой. Стих 248, в котором в противовес «копьям над волнами» возникает образ «крылатого» Одиссея, отмечен ДЗ (после 17 стихов, имеющих, за исключением стиха 240, лишь односложные зачины). Нарастание энергии, ритмически выражающееся в концентрации форм с ДЗ, приводит к возникновению в ИП [252—257] срединной МК в стихе 254 (форма VIII). Деление на два подпериода в данном случае не полностью совпадает с синтаксическим: ко второму подпериоду относится не только общий член однородных предложений — распространенное прямое дополнение, но и приложение *мужчин и женщин* из второго из этих однородных предложений. Из-за этого несовпадения возникает особый синтаксический перенос, по силе и свойствам близкий к переносу из строфы в строфу в строфическом стихе. Весь ИП (кроме первой и послед-

ней строк) скреплен словоразделом на 8-м слоге, а во втором подпериоде фиксирован и словораздел на 5-м.

В следующем ИП [258—268] в силу аналогичных обстоятельств возникают даже две срединных МК. Первая из них стоит на границе двух сочиненных предложений, а во втором случае снова возникает «строфический» перенос, поддержаный МЗ стиха 264 (в первоначальном варианте этот стих МЗ не имел: *Тому, кто снова повторит скитанья. .*). Как и в предыдущем ИП, повышена частота словораздела на 8-м слоге (всего в стихах 253—267 12 таких словоразделов при норме в Б 52,4 на 100 строк), но здесь он уже не постоянен: его отсутствием отмечены начальная и заключительная строки ИП и начальная строка второго подпериода. В последней строке ИП этот словораздел передвинут на 9-й слог и совпадает с внутристиховой паузой, резко выделяющей заключительное слово периода — *жизнь!* В следующем и последнем ИП 269 аналогичной паузой выделен его антоним — *смерть!* Эта «смысловая рифма» (ср. Брюсов 1975а, 107), равно как и стык двух МК, усиливают и без того значительный контраст между трехстопной строкой и предыдущими и сообщают ей особое «финальное звучание».

Прежде чем перейти к анализу завершающего «Как человек плыл с Одиссеем» заключения A_2, окинем еще раз взглядом всю вставную поэму и сравним ИП [106—117], [183—190], [252—257] и [258—268]. Для всех них, как мы видели, характерно большое число ДЗ и на них же приходятся 5 из 7 срединных МК. В то же время все эти ИП связаны тематически: они проецируют основной конфликт поэмы в будущее, в план грядущих (в том числе и посмертных) судеб команды и Одиссея. В силу своей редкости появление МК и ДЗ несет дополнительную ритмическую информацию. И то, что их повышенная концентрация отмечает возрастание напряженности, интонационной сложности повествования как раз тогда, когда речь заходит о будущем, представляется нам не случайным. Привлекая внимание читателя к соответствующим эпизодам и задерживая его на них, подобные ритмические сигналы как бы указывают, что рассказанное в поэме есть только частное проявление основного конфликта, вся тяжесть и разрешение которого — именно в будущем, почему этот рассказ о древности и был, собственно, «написан» подавленным зрелищем мировой бойни персонажем Цветковым, а поэтом Луговским включен в книгу о XX веке (ср. заключающую поэму реплику отца и споры об Одиссее героев поэмы «Новый год»). Так внимание к показаниям ритмической структуры поэмы помогает нам понять важные аспекты ее идейного замысла и ее роли в общей структуре «Середины века».

3.4. Заключение поэмы. И, наконец, A_2, не дающая разрешения ни одного из конфликтов, а лишь подчеркивающая их остроту и драматичность, состоит из сплошных ритмических перебоев

(не случайно из всех композиционных частей, выделенных нами в 2.1, лишь она одна обнаруживает существенные отклонения от средних показателей поэмы при подсчете средней выделенности слогов по методике В. С. Баевского, см. табл. 1). Из 6 стихов два имеют МЗ, стих 271, разбитый внутристиховой паузой, несет единственное в поэме ударение на 5-м слоге. Из трех «чистых» стихов — один (273) имеет редкую VII форму, разбит внутристиховой паузой и заканчивается резким переносом. В следующем 274-м также содержится не менее резкая внутристиховая пауза. И лишь последняя строка, указывающая на грядущее разрешение конфликтов, полноударна и имеет «нормальное», неосложненное ритмико-интонационное строение.

Трехстишия, на которые A_2 распадается в смысловом отношении, спаяны каждое своим фиксированным словоразделом: первое на 4-м, второе — на 8-м слоге.

* * *

Методика анализа развертывания ритмического движения текста, использованная в настоящей работе, безусловно страдает серьезными внутренними ограничениями (см. Гиндин 1969, 1970б), не позволяя полностью отразить процессуальную природу и внутренний механизм образования ритма и его выразительных потенций. Кроме того, в ходе анализа мы могли просто не заметить или неверно интерпретировать какие-то из явлений, которые позволяла учесть и примененная методика. Надеемся все же, что самый факт закономерных соответствий между распределением ритмических элементов и композиционно-смысловой структурой и характер этих соответствий нам удалось продемонстрировать и что проделанный анализ хоть немного поможет читателю в постижении удивительной гармонии и спаянности движения ритма и смысла в поэме Луговского.

ЛИТЕРАТУРА [26]

Баевский В. С. Числовые значения силы слогов в стихе альтернирующего ритма. — Науч. докл. высшей школы. Филол. науки, 1967, № 3.
Брюсов В. Я. Фиалки в тигеле. — Собр. соч., т. 6. М., Худож. лит., 1975а.
Брюсов В. Я. Пушкин-мастер. — Собр. соч., т. 7. М., 1975б.
Винокур Г. О. Маяковский—новатор языка. М., Сов. писатель, 1943.
Гаспаров М. Л. Статистическое обследование русского трехударного дольника. — Теория вероятностей и ее применения, 1963, т. 8, вып. 1.
Гаспаров М. Л. Ямб и хорей советских поэтов и проблема эволюции русского стиха. — ВЯ, 1967, № 3.
Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., Наука, 1974.

[26] Исследования, вышедшие в свет после июня 1977 г., не могли быть учтены.

Гиндин С. И. Внутренняя семантика ритма и ее математическое моделирование. — В кн.: Проблемы прикладной лингвистики, ч. 1. М., МГПИИЯ, 1969.

Гиндин С. И. К основаниям дескриптивной метрики. — В кн.: Материалы 5-го Всесоюзного симпозиума по кибернетике. Тбилиси, 1970а.

Гиндин С. И. Пути моделирования ритмической организации текста. — В кн.: Структурно-математические методы моделирования языка, ч. I. Киев, Изд. КГУ, 1970б.

Гринберг И. Л. Поиски и открытия Владимира Луговского. — В кн.: Луговской В. А. Собр. соч., т. I. М., Худож. лит., 1971.

Ермаков И. Д. Этюды по психологии творчества Пушкина. [Б. м] ГИЗ, 1923.

Колмогоров А. Н., Кондратов А. М. Ритмика поэм Маяковского. — ВЯ, 1962, № 3.

Кондратов А. М. Теория информации и поэтика. — Проблемы кибернетики, 1963, вып. 9.

Кушнер А. С. Отказ от поэмы. — В кн.: *Кушнер А. С.* Письмо. Л., Сов. писатель, 1974.

Левин Л. И. Владимир Луговской. Книга о поэте. М., Сов. писатель, 1963.

Луговской В. А. Раздумье о поэзии. М., Сов. писатель, 1960.

Луговской В. А. Середина века. Книга поэм. М., Сов. писатель, 1958.

Луконин М. К. К читателю. — В кн.: Луговской В. А. Середина века.

Маров В. Н. Структурно-стилистические модели абзаца. — В кн.: Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Свердловск, 1970.

Оуэн Д. Сборник статистических таблиц. М., 1966.

Пушкин А. С. Письмо Л. С. Пушкину от 4.9.1822. — Полн. собр. соч., т. 10. М. Изд-во АН СССР, 1958.

Рейсер С. А. Строфа в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., МОПИ, 1969а.

Рейсер С. А. Словарь трехстопного ямба поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — Учен. зап. Тартуского ун-та, 1969б, вып. 236. Труды по знаковым системам, 4.

Смирнов Н. В., Дунин-Барковский И. В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. М., Наука, 1965.

Тарановски К. Руски дво делни ритмови. Београд, 1953.

Тарановский К. Ф. О ритмической структуре русских двусложных размеров. — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Л., Наука, 1971.

Тарковский А. А. Повесть о прекрасной Гулапм. М., Дет. лит., 1965.

Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., Гослитиздат, 1958.

Томашевский Б. В. О стихе. Статьи. Л., Прибой, 1929.

Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., Худож. лит. 1965.

Шенгели Г. А. Трактат о русском стихе, ч. I. Органическая метрика. 2-е изд. М.—Пг., ГИЗ, 1923.

Якобсон Р. О. Болгарский пятистопный ямб в сопоставлении с русским. — В кн.: Сборникъ въ честь на проф. Л. Милетичъ. София. 1933.

Bailey J. The evolution and structure of the Russian iambic pentameter from 1880—1922. — Intern. Journal of Slavic linguistics and poetics, 1973, N 16.

Prochorow A. W. Teoria prawdopodobiénstwa w badaniach ritmu wiersza. — Pamiętnik literacki, 1970, r. 61, z. 3.

Е. Ю. КУКУШКИНА

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПОВТОРЫ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А. БЛОКА

(на материале цикла «Стихи о Прекрасной Даме»)

В. М. Жирмунский в работе «Композиция лирических стихотворений» рассмотрел различные типы композиционных повторений в лирике. Исследователь показал важную роль повторов в романтической поэзии и, в частности, их место в системе поэтических приемов А. Блока. Простейшим случаем повтора В. М. Жирмунский считает полное повторение ритмико-синтаксической единицы (например, строфы); на этом фоне рассматриваются повторы более коротких синтаксических групп и отдельных слов в тексте стихотворения. Характеризуя отдельные типы лексических повторений, В. М. Жирмунский в качестве основного признака классификации использует положение повторяющегося элемента в «словесном ряду» (строфе, строке и т. п): учитываются два основных положения — в начале и в конце словесного ряда — и их возможные комбинации. Если же повторяющийся элемент не занимает начальной или конечной позиции в словесном ряду, то такие случаи рассматриваются как видоизменения основного типа [1].

Лексическим повторам в лирике А. Блока уделено значительное место и в книге Е. Ф. Никитиной и С. В. Шувалова «Поэтическое искусство Блока» [2]. Кроме основных типов лексических повторов (анафора, эпифора, кольцо, стык), в анализе которых авторы следуют за В. М. Жирмунским, Е. Ф. Никитина и С. В. Шувалов обратили внимание на многократные повторения в различных местах стихотворения одинаковых лексических единиц независимо от их положения в строке. Такое явление авторы назвали художественным хроматизмом.

Авторы указанных работ рассматривают три функции лексических повторов. Это, во-первых, «повторение как прием композиционного членения и связывания словесного материала» [3], во-вторых, повторение (преимущественно анафорическое), как средство выражения эмоционального напряжения и, в частности, характерный признак «песенного лиризма», в-третьих, повторение как средство придания стихотворению «определенного характера, основанного на единстве общего впечатления» [4]. При анализе повторений слов, не занимающих маркированной позиции

[1] См., например, анализ словесного и тематического кольца в указанной работе, в кн.: *Жирмунский В. М.* Теория стиха. Л., Сов. писатель, 1975, с. 516.

[2] *Никитина Е. Ф., Шувалов С. В.* Поэтическое искусство Блока. М., 1926.

[3] *Жирмунский В. М.* Указ. соч., с. 451.

[4] *Никитина Е. Ф., Шувалов С. В.* Указ. соч., с. 51.

в строке, подчеркивается третья функция — создание единства общего впечатления. Между тем эти повторения являются также одним из существенных композиционных приемов в ранней лирике А. Блока. Их роль тем более велика, что такие средства, как синтаксическое объединение отдельных строф, сюжетное и логическое развитие темы используются мало [5]. С композиционной точки зрения особенно важны повторы, объединяющие разные строфы стихотворения (а не повторы внутри строфы). В настоящей работе рассматривается композиционная функция таких повторов на материале цикла «Стихи о Прекрасной Даме».

Название «лексический повтор» используется в работе условно. С одной стороны, речь будет идти только о повторениях полнозначных слов (существительных, прилагательных, глаголов, наречий и числительных), с другой стороны, в качестве лексического повтора рассматриваются не только повторения одной и той же лексемы, но и ряды однокоренных слов. Совокупность однокоренных слов, используемых в одном стихотворении, мы будем называть рядом лексических повторов, а чаще, для краткости, рядом повторов или просто рядом. Один элемент ряда повторов мы будем называть лексическим повтором или повтором. Иногда бывает трудно отличить повторение целой строки в двух различных вариантах от повторения отдельных слов в двух разных строках, как, например, в следующих строфах, образующих кольцо стихотворения [6]:

Свет в окошке шатался,
В полумраке — *один* —
У подъезда шептался
С темнотой *арлекин*.
‹. . .›
Восхищенью не веря,
С темнотою — *один* —
У задумчивой двери
Хохотал *арлекин*.
(«Свет в окошке шатался. . .»)

В таких случаях мы будем говорить о повторах отдельных слов.

Как уже было сказано, для многих стихотворений цикла «Стихи о Прекрасной Даме» характерно использование в составе ряда повторов сразу нескольких однокоренных слов, часто относящихся к разным частям речи: *встречались* (1, 11) — *встречи* (5) («Мы встречались с тобой на закате. . .»); *долины* (7) — *долу* (20) («Экклесиаст»); *дрожа* (6) — *задрожали* (14) («Верю в Солнце Завета. . .»); *певучая* (1) — *песнью* (5) — *пою* (9) («Не ты ль в моих

[5] См. об этом там же.

[6] Материал приводится по изданию: *Блок А. А.* Собрание сочинений в восьми томах. Т. 1. М.—Л., Худож. лит., 1960. — Цифры в скобках обозначают строку стихотворения (1—24).

мечтах, певучая, прошла. . .») и т. д. Значительное число стихотворений содержит два и более рядов повторов. Так, стихотворение «Он входил, простой и скудный. . .» содержит два ряда: *молчал* (2) — *молчал* (7) — *молчаливый* (14) и *тайно* (5) — *тайной* (11) — *тайный* (16); стихотворение «На весенний праздник света. . .» — четыре ряда: *весенний* (1) — *по весне* (6); *приноси* (4) — *понесем* (12); *в окна* (7) — *в окне* (8), четвертый ряд образует троекратное повторение слова *день* (4, 5, 8). По нескольку рядов повторов в стихотворениях «Там сумерки невнятно трепетали. . .», «Я знаю день моих проклятий. . .», «В городе колокол бился. . .» и многих других.

Количество повторов в стихотворении может сильно варьировать. В некоторых стихотворениях каждая строка содержит хотя бы один повтор, связывающий эту строку с одной или несколькими другими строками стихотворения. Так построено, например, стихотворение «Там сумерки невнятно трепетали. . .», все двенадцать строк которого соединены следующими рядами повторов: *сумерки* (1) — *сумрак* (12), *день* (2) — *день* (6), *проходя* (3) — *проходящий* (6), *мечта* (4) — *мечты* (7) — *мечтой* (9), *на земле* (8) — *землю* (11), *сон* (8) — *сны* (10). Нет ни одной строки без повторов и в стихотворении «В бездействии младом, в предрассветной лени. . .». В других стихотворениях, наоборот, каждая строфа содержит всего один-два повтора. Так, в стихотворении «О легендах, о сказках, о тайнах . . .» всего два ряда повторов, в каждый из которых входит две словоформы: *о тайнах* (1)— *тайну* (8), *железом* (6) — *железом* (12). Тем не менее, эти четыре повтора связывают все три строфы стихотворения. Стихотворение «Экклесиаст», состоящее из шести строф, содержит три ряда повторов, объединяющих пять четверостиший. В каждой строфе всего один повтор; исключение составляют вторая строфа, в которой два повтора, и пятая строфа, не содержащая повторов: *смотри* (3) — *смотревшие* (24), *цветет* (7) — *цветы* (13), *долины* (7) — *долу* (20).

Часто в стихотворении легко обнаружить одну «опорную» строфу, в которую входят повторы из всех (или почти всех) рядов. Опорная строфа обычно связана повторами со всеми остальными строфами стихотворения (иногда кроме одной). Как правило, опорной является первая или вторая строфа. Так, в стихотворении «На смерть деда», в котором шесть рядов повторов, опорная вторая строфа содержит шесть повторов, объединяющих ее с остальными тремя четверостишиями (а также пару повторов внутри строфы: *походкой — уходил*):

Там *старец шел* — уже, как лунь, седой —
Походкой бодрою, с *веселыми глазами*,
Смеялся нам, и все манил рукой,
И *уходил знакомыми* шагами.

Первая строфа является опорной, например, в следующих стихотворениях (в скобках указаны повторы из опорной строфы): «Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла. . .» (*певучая, прошла, тайный*); «Под старость лет, забыв святое. . .» (*старость, забыв, во сне*); «Свобода смотрит в синеву. . .» (*в синеву, окно, воздух, месяца*). Вторая строфа особенно часто бывает опорной в стихотворениях из трех строф: «Ныне, полный блаженства . . .» (*ныне, сжалься, боже, блаженным, рабом, ангела*); «Я недаром боялся открыть. . .» (*непогодный, полуночный, молитвенным, таиться*); «Там сумерки невнятно трепетали. . .» (*проходя, отходящий, день, мечты, на земле, сон*).

Одна из строф в стихотворении с повторами может быть выделена и по противоположному признаку — отсутствию в ней повторов. В одном стихотворении может быть одновременно опорная и свободная строфа. Так, в стихотворении «Свобода смотрит в синеву. . .» опорной является первая строфа, свободной — вторая. Свободной может быть любая строфа стихотворения, но чаще всего это вторая или последняя строфа. Вторая строфа является свободной в стихотворениях «Мне битва сердце веселит. . .», «Мой вечер близок и безволен. . .», «Когда святого забвения. . .»; последняя — в стихотворениях «Я помню час глухой, бессонной ночи. . .», «Мы живем в старинной келье. . .», «За темной далью городской. . .» и др.

Еще один характерный тип распределения повторов в тексте может быть назван «цепочкой». При цепочечной структуре разные ряды повторов связывают начало стихотворения с его средней частью и среднюю часть с концом, а ряды, связывающие начальную и конечную часть (кольцо стихотворения) отсутствуют. Примерами могут служить стихотворения «Пытался сердцем отдохнуть я. . .», «Старик». Особенно ярко цепочечное распределение повторов проявляется в тех стихотворениях, в которых каждая строфа связана повтором с предыдущей и с последующей: *припадут* (4) — *припадут* (5) — *покину* (7) — *покидай* (9) («Ты уходишь от земной юдоли. . .»); замедляешь (2) — *забвенные* (6) — *медленно* (7) *в. . . забвеньи* (9) («Ловлю я тонкий прах надежды. . .»); *сбежал* (1) — *болотный* (5) — *бегут* (7) — *болото* (9) («Сбежал с горы и замер в чаще. . .»).

Лексические повторы, рассыпанные по всему тексту, типичны и для стихотворений с кольцевой композицией. В этом случае возникают сложные связи через повторы между обрамляющей и средней частью стихотворения. Наиболее характерны следующие три типа таких связей.

Самый распространенный тип — средняя часть связана повторами как с начальной, так и с конечной частью стихотворения; при этом внутри средней части имеются и самостоятельные ряды повторов. Как правило, в таком случае в стихотворениях со строфической структурой нет строф без повторов. Примером

могут служить стихотворения «Кто-то шепчет и смеется. . .», «И поздно и темно. Покину без желаний. . .», «Я жду призыва, ищу ответа. . .».

В стихотворениях со строфической структурой, богатых повторами, часто имеется хотя бы один ряд повторов, объединяющий все (или почти все) строфы стихотворения. Такой ряд повторов мы будем называть полным рядом повторов. Приведем несколько примеров полных рядов повторов в стихотворениях с кольцевой композицией: *шепчет* (1) — *шопот* (5) — *шептанье* (5) — *пошепчи* (9) («Кто-то шепчет и смеется. . .»), *ворожу* (4) — *ворожбой* (6) — *ворожу* (7) — *ворожбой* (9) («Одинокий, к тебе прихожу. . .»), *близкий* (4) — *близко* (7) — *близкий* (12) («Мы странствовали с ним по городам. . .»). При наличии связи средней части стихотворения с начальной и конечной частями, внутри средней части повторы могут отсутствовать. Чаще всего это бывает в стихотворениях из трех строф: «Ветер принес издалека. . .», «Ты отходишь в сумрак алый. . .», «Ты горишь над высокой горою. . .» и др. Понятно, что и в этом случае стихотворение может содержать полный ряд повторов, например: *снежная* (1) — *снег* (6) — *в снежном* (11) («Ночью вьюга снежная. . .»).

Вторым по частоте является такой тип распределения повторов, когда обрамляющая и средняя часть стихотворения имеют разные ряды повторов: обрамляющая часть не связана повторами со средней частью. Так построены стихотворения «Я все гадаю над тобою. . .», «Жизнь медленная шла, как старая гадалка. . .», «Мой вечер близок и безволен. . .». В стихотворениях с кольцевой композицией повторы внутри средней части могут вообще отсутствовать (например, «Нет конца лесным тропинкам. . .», «Будет день — и свершится великое. . .»).

Третьим по частоте является такой тип распределения повторов, когда начальная часть стихотворения связана повторами как со средней, так и с конечной частью, а связь через повторы между серединой и концом отсутствует. Примерами могут служить стихотворения «Старый год уносит сны. . .», «Мы преклонились у завета. . .», «Мы встречались с тобой на закате. . .» (с самостоятельными рядами повторов внутри средней части); «Я бремя похитил, как тать. . .», «Жду я холодного дня. . .» (без повторов внутри средней части).

Мы рассмотрели характерные для цикла «Стихи о Прекрасной Даме» способы размещения лексических повторов в тексте. Сходную структуру в стихотворениях цикла могут иметь также ряды слов, не относящихся к одному синхронному лексическому гнезду, но обладающих звуковой и семантической общностью. Мы имеем в виду явления следующих трех типов.

Во-первых, это ряды слов, относящихся к одному этимологическому гнезду, семантические связи между которыми в той или иной степени утрачены в литературном языке, но актуали-

зуются в поэтическом тексте. Сюда относятся любимые Блоком сопоставления типа *душа — дышать*. Пара *душе* (8) — *дышал* (11) использована в стихотворении «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко. . .» в составе цепочки повторов; пара *дыша* (6) — *душа* (8) — в опорной строфе стихотворения «В городе колокол бился. . . (в позиции рифмы). Полный ряд повторов *вздох* (3) — *дух* (10) — *душой* (16) объединяет все строфы, кроме второй, самой бедной повторами, в стихотворении «В день холодный, в день осенний. . .». Первая строфа стихотворения «За городом в полях весною воздух дышит. . .» содержит ряд *воздух* (1) — *дышит* (1) — *дыханье* (4). В стихотворении «Мне битва сердце веселит. . .» в кольце стихотворения использована пара *вражеских* (3) — *заворожив* (16).

Во-вторых, это смешанные ряды, которые включают как однокоренные, так и разнокоренные слова, имеющие общие семантические признаки, как в парах типа *даль — дол*. В стихотворении «Она росла за дальними горами. . .» ряд *за дальними* (1)— *дол* (2) — *в. . . дали* (12) — *за дальними* (15) объединяет начальную, среднюю и конечную части стихотворения с кольцевой композицией. В стихотворении «За городом в полях весною воздух дышит. . .» пара *далеко* (5) — *дольний* (12) связывает среднюю и конечную части стихотворения. Часто образуют смешанные ряды слова с корнями *мрак-/мерк-* и *мут-*: *сумрак* (1) — *сумрак* (10) — *смутный* (20) — *сумрачных* (20) — *смутно* (21) («Вечереющий сумрак, поверь. . .»); *в полусумраке* (1) — *сумрак* (7) — *смутно* (15) («Там, в полусумраке собора. . .»); *сумерки* (1) — *смутно* (7) — *сумрак* (12) (полный ряд повторов в стихотворении «Там сумерки невнятно трепетали. . .»). Заметим также, что в «Стихах о Прекрасной Даме» часто используются «чистые» ряды, образованные словами с корнем *мрак-/мерк-*: *мрак* (1) — *из сумрака* (8) — *сумрачным* (11) — *меркнул* (15) («Сгущался мрак церковного порога. . .»); *в сумерках* (5) — *в сумерках* (13)— *над сумрачным* (17) («Там — в улице стоял какой-то дом. . .»); *мрак* (8) — *омрачить* (11) («Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных. . .») и др.

В-третьих, это случаи объединения в составе ряда повторов нескольких словоформ, обладающих фонетической близостью, но не родственных и не имеющих общих семантических признаков. Пары фонетически близких словоформ в составе кольца стихотворения использованы в стихотворениях «Одинокий, к тебе прихожу. . .» и «Будет день, словно миг веселья. . .». В первом из них, имеющем кольцевую композицию с обращением, строке

Ты гадаешь. — Меня не зови.

в начальной строфе соответствует строка

[Ворожбой полоненные дни]
Я лелею года, — не зови. . .

в конечной строфе. Эти строки характеризуются отчетливой ритмической, синтаксической и лексической близостью, на фоне которой сопоставленными оказываются и словоформы *гадаешь — года*, находящиеся в одной и той же позиции перед паузой (тире). Стихотворение «Будет день, словно миг веселья. . .» имеет скрытое кольцевое построение (по Жирмунскому). Тематическое кольцо поддерживается парой словоформ *день* (1) — *Дню* (16). В заключительном двустишии словоформа *Дню* фонетически сближается со словоформой *дна* из предшествующей строки:

И до дна исчёрпаю чашу,
Сопричастный Дню Твоему.

В этом двустишии фонетически сближены также словоформы *исчерпаю — сопричастный*: повторяется (с измененным порядком) четверка согласных, образующих консонантный скелет корня и префикса (лишь последний согласный корня *част-* не имеет соответствия в предшествующей строке): *счрп — спрчс*. Кроме фонетических сближений целых словоформ, указанные строки объединены повторением ударных слогов *чé — чá — чá*. Таким образом, фонетическое (и графическое) сходство последних строк стихотворения весьма велико. Можно сказать, что почти один и тот же набор фонем, по-разному организованный, образует каждую из этих строк. Фонетическая близость (по составу фонем) и противопоставленность (по способу их организации в словоформы) воплощает «сопричастность» лирического героя противоположному началу стихотворения — образу героини [7].

Полный ряд повторов образуют однокоренные и фонетически близкие неродственные слова в стихотворении «Не жди последнего ответа. . .». Каждая из четырех словоформ *чует* (3) — *чутко* (6) — *чаянье* (9) — *в чаду* (13) начинается с фонемы ‹ч›, которая не встречается ни в одном другом слове стихотворения. Наибольшей фонетической и семантической близостью характеризуются начальные члены ряда: пара *чует — чутко* имеет три общие фонемы и большое семантическое сходство (*чутко* может быть истолковано через *чуять*) [8]. Третья словоформа ряда *чаянье* имеет три общие фонемы с *чует* и только одну — с *чутко*. Существительное *чаянье* является синтаксическим дериватом глагола *чаять* и совпадает с ним по значению и семантической сочетаемости. В свою очередь, глаголы *чуять* и *чаять* имеют сходную сочетаемость: оба они являются двухвалентными

[7] Тема сближения — противопоставления двух «близких и чужих» начал является одной из главных в «Стихах о Прекрасной Даме». См. об этом, например, в кн.: *Минц З. Г.* Лирика Александра Блока. Спецкурс для студентов-заочников. Вып. 1. Тарту, 1965.

[8] См., например, толкования слов *чуять*, *чутье*, *чутко* в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (10-е изд. М., Сов. энциклопедия, 1973).

и требуют одушевленного субъекта и пропозитивного объекта [9]. Четвертый член ряда *в чаду* связан с остальными только фонетически. Отметим также, что словоформа (*в*) *чаду*, фонетически сближенная с остальными членами ряда, семантически противопоставлена им в поэтическом контексте: первые три члена ряда соотнесены с темой поэта, последний — с контрастирующей темой семьи.

Тот же эффект «задания» ряда повторов действует и в стихотворении «Зарево белое, желтое, красное. . .». Пара *зарево* (1) — *заревом* (5) в начале первой и второй строф заставляет искать продолжение ряда в третьей строфе, но вместо ожидаемого слова с тем же корнем в первой строке третьей строфы находим словоформу с тем же составом согласных *взоры*.

Приведенный материал показывает, что границы лексического и фонетического повтора в цикле «Стихи о Прекрасной Даме» являются размытыми: некоторые глубокие фонетические повторы композиционно эквивалентны лексическим повторам. В связи с этим естественно поставить вопрос о возникновении в поэтическом контексте некоторого общего значения у композиционно сопоставленных неродственных слов, обладающих фонетическим сходством, иными словами, вопрос об использовании А. Блоком в «Стихах о Прекрасной Даме» приема паронимической аттракции [10]. Решение этого вопроса требует дальнейшего, более углубленного анализа материала.

С. Н. ЩЕПЕЛЕВА, В. М. ПЕТРОВ

К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ РУССКОЙ РИФМЫ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В последние годы значительно возрос интерес к проблеме рифмы в русском стиховедении. Это связано со многими причинами. В их числе, по-видимому, можно назвать перспективность исследования рифмы — как важного конструктивного элемента связи между структурами разных уровней организации поэтического текста — для разработки целого ряда общетеоретических

[9] См.: *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., Наука, 1976, с. 126 и след.

[10] О паронимической аттракции см.: *Григорьев В. П.* Паронимия. — В кн.: Языковые процессы в современной русской художественной литературе. Поэзия. Гл. 4. М., Наука, 1977.

проблем; существенно и удобство рифмы как объекта для применения статистических методов, все шире проникающих в лингвистические и литературоведческие работы. Не последнюю роль, видимо, играет и актуальность судьбы рифмы в ближайшем будущем русской поэзии. Изучение эволюции рифмы за большой промежуток времени проливает свет на многие из этих проблем.

Строгое научное изучение какого-либо феномена, преследующее цель извлечения закономерностей его эволюции из имеющегося эмпирического (статистического) материала, требует прежде всего разработки методов измерения тех параметров, с помощью которых можно описать этот феномен. Разумеется, это относится и к такому поэтическому феномену, как рифма.

С задачей строгого и вместе с тем компактного (т. е. оперирующего небольшим числом параметров) описания рифмы исследователь сталкивается при обработке результатов эмпирического исследования, направленного на статистическое описание эволюционных закономерностей в сфере поэтического языка. Мы преследуем именно такие цели. Поэтому возникает необходимость дать операциональное определение тех параметров, посредством которых мы хотим описать рифму. Таким образом, задача алгоритмического описания русской рифмы порождена потребностями конкретного эмпирического исследования; однако, на наш взгляд, решение этой задачи может представлять интерес как методический, так и практический для исследователей, занимающихся анализом более широкого круга проблем.

Остановимся на требованиях, предъявляемых к конструируемой нами системе — системе алгоритмического описания русской рифмы для целей ее статистического эволюционного исследования. Требования эти, в принципе, могут исходить из двух сфер — теории литературной эволюции и практической обработки эмпирического материала. В нашем случае эти два класса требований, как будет показано ниже, не только не противоречат друг другу, но, наоборот, диктуют практически одинаковые пути решения задачи.

Требования со стороны теории должны состоять в согласованности выбираемых параметров с выводами, полученными в теоретических (и исторических) исследованиях относительно природы и характера эволюции изучаемого феномена. В области теории и истории рифмы в настоящее время существует довольно много фундаментальных исследований; из них самым глубоким и разносторонним, на наш взгляд, до сих пор остается работа В. М. Жирмунского (Жирмунский 1923), на которой мы преимущественно и будем основывать теоретико-историческую аргументацию. Автор проанализировал функции и развитие рифмы в поэзии многих народов; в интересующем нас отношении — эволю-

ции параметров рифмы основные выводы автора можно резюмировать следующим образом.

Эволюция рифмы в поэзии любого народа имеет две основные ветви, отвечающие двум основным этапам развития рифмы — этапу ее становления как закономерно встречающегося феномена, с характерным для этого этапа усилением точности совпадения между компонентами (обычно — стиховыми окончаниями), соединяемыми рифмой, — и этапу изменения свойств уже развитой рифмы, на котором происходит частичное разрушение совпадения упомянутых компонентов. «История рифмы, — пишет автор, — может быть удобно рассматриваема с точки зрения точной рифмы *как наиболее полного созвучия и наиболее прочной комбинации* звуковых повторов на конце стиха.. С этой точки зрения я буду различать процесс *канонизации* точной рифмы и процесс ее разрушения, или *деканонизации*, обычно проходящие через сходные стадии, что вполне понятно при ограниченном числе теоретически возможных комбинаций <. . .> элементов. Точная рифма — только гребень волны, в которой исторически не менее существенное значение имеют ее восходящая и нисходящая часть» (стр. 249). Автор неоднократно указывает на о с о б у ю, как бы задающую «точку отсчета» при восприятии, ф у н к ц и ю т о ч н о й р и ф м ы, под которой «обычно понимается акустическое тождество всех звуков стиха, начиная с последнего ударного <. . .>. При изучении рифмы неточной удобно исходить из точной рифмы, условно отмечая различные формы несовпадений как отклонения от совпадения безусловного, хотя с исторической и теоретической точки зрения, как было уже сказано, так называемая точная рифма есть понятие сложное и возникает из соединения более элементарных звуковых повторов» (стр. 283). Наконец, об эволюции русской рифмы в XVII—XX вв.: «Рассматриваемая не как статическое явление, а в процессе своего развития, от Кантемира и Ломоносова — до Александра Блока и Маяковского, русская рифма дает нам любопытный пример совершающегося на протяжении двух столетий непрерывного процесса деканонизации точной рифмы — сперва в форме незначительных графических отклонений, потом в виде все более заметных акустических несоответствий («приблизительная рифма»), наконец — как сознательное разрушение канонических созвучий употреблением заметных и необычных диссонансов («неточная рифма») (стр. 305).

Сказанное имеет важное значение для наших «измерительных» целей, в связи с чем следует выделить два аспекта.

1. Отправной точкой при эволюционном исследовании следует считать фиксацию т о ч н о й р и ф м ы (хотя, по-видимому, *и в более широком ее понимании, чем цитированное выше*), *которая* диктует направление развития рифмы — либо как цель, ориентир в процессе канонизации рифмы, либо, наоборот, как «точка отталкивания» в процессе деканонизации рифмы. Область точной рифмы

(т. е. ее положение в строке), равно как и само представление о точной рифме, различны в разные исторические эпохи, но всегда именно «текущее» положение точной рифмы служит точкой отсчета и для эволюции рифмы, и для восприятия каждой отдельной конкретной рифмы. В то же время для всех видов точной рифмы существует некий абсолютный («вневременной») «предел», из которого можно получить — в качестве частных случаев — все виды точной рифмы всех эпох [1]. Таким образом, наиболее удобно для исследователя исходить из самой крайней позиции, из самых крайних («абсолютных») представлений о точности, а затем в той или иной степени смягчать требования к точности.

II. Это смягчение требований к абсолютной точности должно проходить через ряд градаций (этапов). Отметим, с одной стороны, что на какой-то (каких-то) из градаций надо остановиться, причем раз и навсегда, если мы хотим иметь единый критерий, сквозной для различных эпох, на протяжении которых мы должны изучать эволюцию рифмы. Эта «остановка» будет относиться к идентификации самого изучаемого феномена (т. е. к установлению в каждом конкретном случае имеем ли мы дело с рифмой или нет); в любом исследовании эта стадия должна предшествовать более подробному изучению и измерению свойств феномена. С другой стороны, упомянутые градации «смягчения» могут быть использованы для количественной оценки параметров изучаемого феномена — рифмы. При этом нам приходит на помощь то обстоятельство, что различные виды рассматриваемых смягчений суть не просто градации, а градации упорядоченные. Это важное обстоятельство — упорядоченность градаций — вытекает, прежде всего, из отмеченной эволюционной тенденции, заключающейся в направленности отклонений от «абсолютной точности» рифмы. Иначе говоря, различные отклонения от точности рифмы не являются по отношению друг к другу случайными, хаотичными. Наоборот, между различными видами отклонений существует статистическая взаимосвязь, одни из них следуют (разумеется, статистически, т. е. если проследить этот процесс на большом массиве) за другими; например, приблизительная рифма появляется только после незначительных графических отклонений. Такая иерархия послужит нам методологическим основанием для последующих измерений.

Здесь мы сделаем отступление о причинах этой иерархии, совершив переход от чисто феноменологического описания эволюционного процесса к предположениям о природе восприятия рифменных отклонений. Действительно, при детальном рассмотрении процесса эволюции русской рифмы складывается впечатление, что

[1] Здесь и далее мы всюду будем понимать под точностью рифмы именно максимальную («абсолютную») точность, которая, кстати, как раз и находится на «гребне», упомянутого эволюционного процесса.

он преследует всеми доступными для него средствами [2] цель, лежащую над целями каждого из этапов эволюции, а именно д е к а н о н и з а ц и ю [3], о которой мы уже говорили. Каждый из рифменных приемов, вводимых в строй, служит этой цели (хотя отдельное рассмотрение «вблизи» одного приема может ввести исследователя в заблуждение и заставить увидеть цель эволюции только в закреплении данного приема). Впрочем, такое представление об эволюционном процессе вытекает не только из чисто феноменологического его описания. Можно подозревать, что за таким целенаправленным процессом скрывается какой-то питающий его механизм, имеющий социально-психологическую природу. По-видимому, этот механизм может найти соответствующее теоретическое объяснение.

С позиций теории эволюции ясно, что рифма, бесспорно, представляет собой эволюционно достаточно а в т о н о м н у ю единицу. Это значит, что в сознании носителя литературного языка (любой эпохи) рифма существует достаточно изолированно от всех других приемов — в том числе в плане наличия собственных, «рифменных» критериев оценки читателем «качества исполнения» данного приема. (Это было проверено в специальном эксперименте, выходящем за рамки данной работы). Вследствие такой самостоятельности рифма должна претерпевать эволюцию как единое целое, используя все доступные ей приемы — но лишь как средства для достижения своих эволюционных целей. Таких целей немного; они вытекают из самых общих теоретических закономерностей функционирования автономного феномена. Главное, что ему (феномену) требуется, — это постоянно избегать «автоматизации» (термин формальной школы), или увеличивать свою информативность (в терминологии теоретико-информационного подхода). Однако при этом феномен должен оставаться в определенных пределах, где каждое конкретное его проявление идентифицируется читателем именно как данный феномен (а не что-либо другое). Требование, с одной стороны, изменчивости, а с другой — ограничение определенными рамками в каждый момент времени обуславливает только д в е э в о л ю ц и о н н ы е ц е л и приема:

1) обеспечение необходимого разнообразия (для избежания автоматизации) при фиксированных границах идентификации приема [4];

---

[2] Напрашивается параллель с развитием русской прозы XIX в., которая тоже «всеми средствами» осуществляла свою эволюцию — размежевание, разделение на две ветви по «прозрачности». См. подробнее: Петров, Каменский, Шепелева 1978.

[3] Интересна попытка рассмотрения всего процесса эволюции русской рифмы как постоянной деканонизации, постоянного отталкивания от существующей нормы (независимо от того, является ли такой нормой точная или неточная рифма). Полемику по этим вопросам (а также соответствующую библиографию) см., например: Гаспаров 1977 и Минералов 1975.

[4] Обеспечить такое разнообразие можно в свою очередь двумя способами: за счет различия между значениями данного параметра у разных авторов

2) смещение самих границ идентификации приема, т. е. тех границ, внутри которых данный феномен еще воспринимается индивидом (носителем культуры данной эпохи) как прием.

Разумеется, одна из этих целей не исключает другую, и они должны работать (в эволюционном процессе) совместно.

Не останавливаясь подробнее на этих эволюционных целях, обратим внимание на «инструментальный» (по отношению к ним) характер отдельных видов отклонений, которые мы рассматриваем. На каждом заданном этапе эволюции рифмы какой-то тип отклонения рано или поздно окажется автоматизованным, исчерпает свои возможности воздействия на восприятие читателя. Тогда-то и должен будет вступить в строй следующий, еще не опробованный тип отклонений. Естественно также, что сначала должны вводиться в строй самые слабые градации отклонений (в отношении их воздействия на читателя), и только когда их новационные возможности будут исчерпаны, начнут вводиться другие градации — либо такой же силы, либо более сильные. Такие процессы будут протекать постоянно, на всех этапах эволюции, при этом временная последовательность градаций будет совпадать с иерархией этих градаций по силе воздействия. «Склеивая» все эти отрезки эволюции (и помня, что прием имеет «память», т. е. простой возврат к старому состоянию системы надолго невозможен), мы получаем решение — теоретическую картину однонаправленной эволюции рифмы с последовательностью градаций, соответствующей их силе в читательском восприятии.

Однако сказанное не исчерпывается игрой в получение эмпирической зависимости чисто теоретическим путем. Существенным результатом нашего теоретико-эволюционного анализа является получение того факта, что эволюционный процесс в данном случае следует рассматривать прежде всего в свете силы воздействия различных градаций рифмы на читателя. Более того, воздействия эти должны быть выстроены в такую иерархию [5], которая (будучи единой, общей для всего эволюционного процесса) может быть условно приписана механизму восприятия некоего «абстрактно-всевременного читателя». Последний заранее, со своей всевременной позиции, упорядочил все градации отклонений от точности рифмы, а затем запустил в ход направлен-

---

или в разных произведениях, функционирующих параллельно (одновременно), и за счет периодического изменения самого распространенного значения параметра (моды), но в заданных границах. Последний вариант был изучен, например, на эмпирическом материале моды на женскую одежду (Моль 1973).

[5] Уточним, что эта иерархия может быть в принципе вырожденной (т. е одному и тому же значению силы воздействия могут отвечать различные градации отклонений — случай так называемых «связанных рангов»), однако это не сказывается на получаемых результатах.

ный эволюционный процесс. Но наличие такого механизма у абстрактного читателя означает, что элементы этого процесса могут быть найдены посредством теоретического изучения механизмов восприятия реального читателя, причем, очевидно, *самых общих* из реальных механизмов. Этот результат важен для определения направления последующих рассуждений.

Резюмируя это отступление, отметим, что полученная в нем существенная особенность — наличие «вневременной» упорядоченности градаций отклонений (от точности рифмы), связанной с некими самыми общими механизмами восприятия рифмы, — позволяет приписывать этим отклонениям *количественную* характеристику. Такую оценку мы введем впоследствии при описании отклонений рифменного созвучия от точного.

Наконец, суммируя все сказанное о роли точного совпадения и отклонений от этой точности, можно получить весьма простые *требования к измерительному методу* — результату предпринимаемого нами конструирования.

1. Метод должен, исходя из понятия точности рифменного созвучия, давать возможность определять — при наличии тех или иных отклонений от указанной точности в каждом конкретном случае, — какое *количество* элементов составляет данное созвучие (претендует на сходство в восприятии читателя); эту характеристику рифмы можно условно назвать *богатством* созвучия.

2. Метод должен давать возможность измерять степень *отклонения* данного рифменного созвучия от точного.

3. Наконец, метод должен давать возможность измерять *местоположение* рифменного созвучия в строке — расстояние созвучия от конца строки (с каковым концевая рифма связана своей композиционно-организующей функцией).

Все три характеристики при этом должны быть разработаны не произвольным образом, а в соответствии с наиболее общими закономерностями читательского восприятия.

Что же касается требований со стороны практической обработки эмпирического материала, то они в сущности сводятся лишь к *немногочисленности* замеряемых характеристик (что хорошо согласуется с полученными требованиями со стороны теории, приводящими к необходимости измерения только трех характеристик), а также к *простоте* и *единообразию* измерительной процедуры. *В свете последних требований разумно* исследовать только письменный вариант русского языка, ведя измерения на уровне фонем (точнее, их позиционных представителей).

Проведенный методологический анализ был нужен нам для обоснования неслучайности того алгоритмического подхода, к конструированию которого мы теперь переходим.

СТРУКТУРА ВОСПРИЯТИЯ РИФМЫ

Итак, нам предстоит сконструировать алгоритмическое описание русской рифмы для целей ее эволюционного количественного исследования. Эта конструкция, как мы выяснили, должна, во-первых, базироваться на каких-то самых общих закономерностях восприятия и, во-вторых, должна описывать два явления: 1) рифму как феномен совпадения определенных элементов; 2) рифму как феномен отклонения от точности совпадения.

В литературе имеются опыты формального описания русской рифмы. В качестве примера можно указать на работу Кондратова 1963, в которой приводятся простейшие правила классификации рифм или приписывания им определенных значений классификационных признаков. Заметим, что таких формальных систем можно построить довольно много. К сожалению, эти построения не удовлетворяют нашим специфическим (эволюционным) исследовательским требованиям (хотя сами по себе эти построения могут быть полезны для многих целей — от теоретических исследований до машинного сочинения стихов): они оперируют сравнительно большим числом параметров, параметры эти не являются количественными, к тому же, они не связаны друг с другом строгими системными взаимоотношениями и, в принципе, теоретически не связаны (или слабо связаны) с закономерностями читательского восприятия. Исключение составляет лишь работа С. М. Толстой (Толстая 1966), которая предлагает использовать для подобных целей два параметра, характеризующих степень близости элементов созвучия и степень отклонения элементов созвучия (попарно и в сумме) от точного совпадения. Оба параметра предлагается измерять посредством фонологических расстояний между фонемами рифменного созвучия. Однако в этой работе остается открытым вопрос о левой границе созвучия, а также целый ряд других вопросов, в частности, об установлении соответствия между фонемами внутри созвучия, кроме того, предлагаемый автором метод слишком трудоемок для применения в широких масштабах при статистическом анализе эволюции рифмы. Сказанное делает целесообразным построение новой системы параметров.

Живой носитель русского литературного языка обычно может без особого труда идентифицировать рифму, руководствуясь при этом своими интуитивными представлениями о принятых способах рифмовки. Под идентификацией мы в данном случае понимаем умение:

а) отличать рифмованный стих от нерифмованного: воспринимая текст в целом (или какой-то достаточно большой фрагмент этого текста, а иногда, наоборот, имея лишь отсылку к тому или иному типу текстов или к жанру), оценить, насколько неслу-

чайны встречи в этом тексте рифмы, их композиционную роль и т. д.;

б) определять *соотношения* между тяготеющими друг к другу сочетаниями рифмующихся элементов; иначе говоря, в пределах, скажем, строфы, находить, какие из рифменных окончаний рифмуются друг с другом;

в) внутри этих сочетаний — выявлять *связи* между отдельными элементами, т. е. оценивать свойства «собственно рифмы»: определять, какие из элементов одного рифменного окончания имеют свои аналоги в другом окончании, насколько эти аналоги близки и т. п.

В этой «иерархии умений» (построенной по принципу перехода от восприятия текста в целом к восприятию отдельного, конкретного элемента) все «этажи» тесно связаны друг с другом. Естественный фундамент этой иерархии, конечно, составляют микропроцессы типа (в), поскольку именно они поддерживают представление о данном тексте как о системе с определенной рифменно-композиционной структурой [6]. Это «подпитывание» восприятия создает фон, который в свою очередь, позволяет воспринимать и каждую отдельную рифму. Кроме того, именно за счет таких «связей ближнего порядка» поэзия осуществляет свои основные функции по интеграции психической деятельности воспринимающего ее индивида (см. Петров 1976). Поэтому разорвать цепь всех указанных взаимосвязей целесообразнее всего, изолировав и поместив в фокус внимания именно процессы типа (в).

Итак, будем считать, что читателю известно, какие пары рифменных окончаний он должен сопоставить друг с другом, и нам надо проанализировать лишь сам *процесс* этого *сопоставления* [7].

Прежде всего необходимо указать на те *психологические предпосылки*, которыми мы воспользуемся для описания механизма восприятия рифмы читателем. Таких предпосылок — две.

1. Рассматриваются только процессы сопоставления двух рифменных окончаний, протекающие при чтении (для нашего рассмотрения сейчас неважно, воспринимается текст визуально или на слух). Эти процессы протекают в масштабе времени, соответствующем режиму деятельности так называемой *кратковременной памяти* (см. Линдсей, Норман 1974, с. 297). В последней

---

[6] О композиционно-организующей роли рифмы в стихе см. в цитированной книге В. М. Жирмунского. Этой ролью рифмы объясняется то, что именно концевые рифмы оставляются нами для дальнейшего рассмотрения (кроме того, практически только они получили достаточное распространение в русской поэзии).

[7] Впрочем, из той модели, которую нам предстоит построить, можно будет затем получить и правила для процессов типа (б) и (а); однако это не входит в задачи данной работы.

может храниться на более 7 ± 2 элементарных единиц (Миллер 1964); о природе этих единиц мы будем говорить позднее.

2. Рассматриваемые процессы имеют эстетическую природу, в связи с чем у читателя имеется установка на восприятие данного рифменного созвучия как *неслучайного*, т. е. как художественного приема — свидетеля специальной («искусственной») художественной упорядоченности воспринимаемого текста (Петров 1976). Поэтому для того, чтобы восприниматься как художественное явление, созвучие должно обладать такими свойствами, которые обеспечили бы достаточно низкую вероятность его возникновения в языке за счет «чистого случая».

Этих двух психологических предпосылок: ограниченности объема кратковременной памяти и требования к маловероятности случайного возникновения рифменного созвучия — вполне достаточно для построения простейшей модели восприятия рифмы [8].

Процесс восприятия в свете действия указанной установки на поиск неслучайного созвучия, должен состоять из двух этапов:

— *определения той области*, где должны присутствовать созвучные элементы (например, последние гласные в строке в случае использования одногласных мужских рифм);

— *сопоставления* элементов принадлежащих выделенным областям двух рифмующихся строк.

Область поиска идентичных элементов (элементов, воспринимаемых как составляющих созвучные пары) может стать известной читателю либо из его предшествующего опыта (в том числе опыта чтения предыдущих фрагментов данного стихотворения), либо из непосредственного сопоставления элементов двух данных строк. Однако и в том, и в другом случае эта область может отыскиваться читателем лишь с помощью присутствующих в сознании «*точек отсчета*» (ориентиров, «реперов»), задающих то место строки, где следует включать механизм сопоставления созвучных элементов. По отношению к элементам эта точка отсчета может быть задана двумя способами:

α) *внешним образом* по отношению к идентичным элементам;

β) *свойствами самих идентичных элементов*.

Способ (α), в свою очередь, включает в себя два варианта:

(α′) точка отсчета задана *внешним образом* по отношению к структурным характеристикам данной строки;

(α″) точка отсчета задана какими-то *структурными свойствами* строки.

---

[8] Дальнейшее изложение будет представлять собой по сути дела *дедуктивное конструирование рифмы*, т. е. развертывание теоретической конструкции без обращения к эмпирическому материалу. Конструируемым феноменом является рифма, для которой априорно заданы две характеристики: композиционно-организующая функция в стихе и звуковой принцип действия.

Вариант (α') интерпретируется однозначно: единственной точкой отсчета, не зависящей от структурных свойств строки, является п р а в ы й к р а й (конец) строки, и только около него (в этом варианте) читатель будет искать идентичные элементы. Что же касается варианта (α''), то для выяснения того, какими структурными свойствами строки может быть задана точка отсчета (поле поиска созвучия), следует, естественно, обратиться к анализу воспринимаемых свойств строки и одновременно конкретизировать используемое нами п о н я т и е э л е м е н т а.

В системе силлабо-тонического стихосложения следует считать очевидным факт присутствия д в у х с и с т е м э л е м е н т о в, которые могут фиксироваться в восприятии читателя (на уровне звуковой организации текста). Такими элементами могут быть ф о н е м ы и с л о г и: между этими двумя типами элементов существуют определенные и е р а р х и ч е с к и е взаимоотношения. Прежде всего слоги в среднем крупнее (по «длине» — длительности звучания), чем фонемы, ибо каждый слог содержит, как правило, более одной фонемы. Главное же иерархическое различие состоит в том, что именно слого-силовая структура (чередование ударных и безударных слогов) определяет интенсивность звучания фонем, детерминирует ту меру специфичности звучания, которую они могут проявить. Поэтому когда речь идет о двух системах элементов, из которых одни (слоги) определяют, преимущественно, интенсивность звучания, а другие (фонемы) характеризуют его специфичность, и при этом требуется узнать, какие из элементов воспринимаются как задающие о б л а с т ь п о и с к а идентичности, а какие — как н о с и т е л и этой идентичности, то решение может быть одно: приоритет (право детерминировать область поиска) должен принадлежать системе «интенсивностных» элементов [9], т. е. с л о г о - с и л о в о й с т р у к т у р е, которая «забивает», в восприятии, более «слабую» систему элементов со специфичностью звучания — фонем. Поэтому, если требуется задать поле поиска созвучия посредством каких-то структурных свойств строки — вариант (α''), — то для этих целей надо обеспечить и д е н т и ч н о с т ь слого-силовых структур каких-то фрагментов двух строк. При отсутствии такой идентичности внимание читателя может переключиться на сопоставление специфичности таких элементов, как фонемы, что впрочем, уже отвечает способу (β). Имеются и еще причины, обуславливающие такой приоритет. Среди них — неспособность элементов слого-силовой структуры быть использованными в качестве э л е м е н т о в с о з в у ч и я: элементы слого-силовой структуры отли-

[9] Данную иерархию (примат и н т е н с и в н о с т и с последующим учетом к а ч е с т в е н н о й индивидуальной специфики сопоставляемых элементов) интересно сравнить с аналогичной иерархией при конструировании системы живописи, где происходит переход от интенсивности света к его спектральному своеобразию (Петров, Грибков 1976).

чаются друг от друга лишь по значению одного признака — ударности, а из-за такой бинарности вероятность случайного возникновения созвучия становится очень высокой; поэтому требование к маловероятности случайного возникновения рифменного созвучия (наша вторая психологическая предпосылка) исключает возможность использования элементов слого-силовой структуры для этих целей [10].

Таким образом, в варианте (α'') элементы двух указанных типов играют разную роль в процессе восприятия рифмы [11]: элементы слого-силовой структуры (слоги) служат для указания на область поиска идентичных элементов (например, окрестности последней ударной гласной), а в качестве самих идентичных элементов выступают фонемы. Это делает целесообразным использование именно ф о н е м в качестве е д и н и ц и з м е р е н и я параметров рифмы.

Далее, оценивая диапазон возможных изменений основных рифменных характеристик, мы будем конкретизировать описанную выше модель, пользуясь для этого соображениями, базирующимися на всё тех же двух психологических предпосылках.

МАСШТАБЫ ИЗУЧАЕМОГО ФЕНОМЕНА

О б л а с т ь (местонахождение) созвучия нетрудно оценить, учитывая первую психологическую предпосылку — об ограниченности объема кратковременной памяти. Рассмотренный в предыдущем разделе вариант (α'') отвечает подсчету числа слогов от края строки до созвучия (для указания области поиска). Ограниченность объема памяти требует, чтобы в ней при сопоставлении хранились фрагменты двух строк, составляющие в сумме не более 7—8 единиц (в данном случае — слогов). Следовательно, правый край созвучия должен быть удален от края строки (в каждой строке) не более, чем на 4 с л о г а [12].

В варианте (α') область поиска отсчитывается от правого края строки так, что при этом структурные свойства строки не играют роли. Значит, единицами счета здесь могут быть только фонемы,

---

[10] Указанная вероятность становится в особенности высокой при условии сохранения заданного размера (ямб, хорей и т. д.), когда слого-силовые структуры двух любых окончаний будут почти всегда идентичны. Поэтому только за счет организации слого-силовой структуры невозможно связать друг с другом две строки с помощью такого звукового композиционно-организующего приема, как рифма.

[11] Заметим, что этот вариант охватывает практически почти весь материал русской поэзии XIX—XX вв.; случаи, отвечающие двум другим вариантам, встречаются крайне редко.

[12] Далее влево концевая рифма продвигаться уже не в состоянии (и практически не продвинулась в русском стихосложении). Левее начинается область инструментовки и внутренних рифм.

и правые границы созвучия должны быть удалены от концов строк не более, чем на 8 фонем (в сумме по обеим строкам).

Что же касается варианта (β), то здесь единственным ограничением на местоположение созвучия служит необходимость его «привязки» именно к правому краю строки (для выполнения рифмой композиционно-организующей функции). Отсюда следует, что созвучие в целом не может быть смещено влево от середины строки. Смещение созвучия вправо должно обеспечивать различие между «дорифменной» и «послерифменной» частями строки (или между расстоянием от левого края строки до середины созвучия и расстоянием от середины созвучия до правого края строки) не менее 10—15%. Именно таково минимальное (пороговое) значение, фиксируемое при сравнении длин, интенсивностей и т. д. (см., например, Тростников 1968, с. 69). В «вырожденном» варианте нулевого смещения (когда созвучие занимает всю строку) «привязка» созвучия к правому краю строки происходит автоматически.

Теперь попытаемся оценить размеры области созвучия, опираясь на вторую психологическую предпосылку — требование к маловероятности случайного возникновения рифменного созвучия. Максимальные размеры области созвучия ограничены лишь вышеописанным тяготением его к правому краю строки; но это — очень слабое верхнее ограничение на размеры созвучия. На самом же деле должен еще существовать некий разумный предел, превышение которого уже ничего не добавляет к выполнению рифмой ее композиционно-организующей функции. Этот предел должен составлять около 4 фонем (в расчете на одну строку), поскольку поле поиска в состоянии охватить не более 8 фонем в двух строках. Именно фонемы являются при этом «считаемыми» единицами, поскольку организовать созвучие за счет элементов слого-силовой структуры нельзя — об этом мы писали выше. Конечно на практике могут существовать и гораздо более длинные рифменные созвучия, но эти случаи можно считать (в определенном смысле) уже относящимися к сфере избыточности: «лишние» фонемы ничего не добавляют к выполнению рифмой ее композиционной функции (хотя, бесспорно, не избыточны в принципе, так как несут другие нагрузки в плане оформления, реализации поэтической мысли).

Минимальные размеры области созвучия можно оценить с помощью простейших вероятностных расчетов, опирающихся на то же требование его неслучайности. При этом оказывается, что минимальный размер области созвучия зависит от того, каким способом (α', α'' или β) задана область поиска и в какой части строки эта область находится. Если, например, точкой отсчета служит край строки (α''), а само созвучие непосредственно с этим краем соседствует, то требования к минимальному размеру созвучия весьма слабы: если все русские фонемы разбить на небольшие группы по 1 — 2 — 3 в каждой группе, внутри которой фонемы

можно считать идентичными (так, 5 ударных гласных составляют $n=5$ групп идентичности, т. е. все они являются неидентичными друг другу — см. ниже), то очень маловероятно, чтобы случайно в соответствующей позиции (например, на самом краю строки) оказалась именно идентичная фонема (в нашем примере эта вероятность $\varepsilon=1/n=0{,}2$). Поэтому существуют, в частности, мужские одногласные рифмы типа *свою — люблю* (Лермонтов) которые, несмотря на свою бедность (малое количество фонем, составляющих созвучие; в данном случае — только одна фонема), все же обеспечивают выполнение рифмой ее композиционно-организующей функции.

По мере удаления правого края созвучия от правого края строки требования к размеру созвучия повышаются. В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда область поиска задана слогосиловой структурой (α'') и соответствует, скажем, правой окрестности последней ударной гласной. Тогда будет уже недостаточно идентичности (т. е. повторения в двух строках) этой одной ударной гласной, если справа от нее имеются какие-то фонемы, и они не являются идентичными. Дело в том, что читатель ищет идентичные фонемы в диапазоне трех фонем, ближайших (справа) к ударной; если же они все неидентичны, то эта неидентичность «забьет» (в восприятии) идентичность ударных гласных, и такая рифма будет восприниматься как очень слабая. Поэтому созвучие надо усилить: это можно сделать, дав достаточно маловероятное совпадение фонем [13]. Пусть справа с этой ударной гласной соседствуют согласные; для каждой из них имеется вероятность случайно оказаться идентичной с согласной, занимающей соответствующую позицию в другой строке (так, для фонемы [п] имеется вероятность «встретить» 3 «идентичные» ей фонемы: [п'], [б], а также саму себя — см. ниже), и средняя вероятность для одной из 37 русских согласных равна $\varepsilon \simeq 0{,}07$, т. е. весьма мала. Следовательно, если рядом с идентичной ударной гласной окажется еще и идентичная согласная [14], это будет хорошим «подспорьем», делающим данное рифменное созвучие достаточно маловероятным [15] (вероятность случайного появления созвучия такого типа составляет $0{,}2\times0{,}07=0{,}014$) и, следовательно, вполне полноценным.

---

[13] Прием действует тем сильнее, чем менее вероятно случайное его появление *в языке. Выше мы уже апеллировали к подобному аргументу, когда говорили* о присутствии в стихе рифмы как приема только в ситуации маловероятности случайного появления такого созвучия.

[14] Примеры: *мой—живой* (Пушкин), *зык—слезы* (Пастернак).

[15] Приведенное значение вероятности является несколько заниженным, ибо существуют определенные ограничения (фонетические, грамматические и др.) на сочетаемость фонем вообще и в данной системе стихосложения (и даже в данном стихе), в частности. Кроме того, частота встречаемости разных фонем существенно различна. Однако при данном рассмотрении нас интересует только порядок величин.

Несколько иначе обстоит дело, когда идентичную согласную надо искать по обе стороны от неидентичных ударных гласных. Если, допустим, все фонемы равноправны (равновероятно встречаемы), и перемена позиции согласной относительно нашей фиксированной гласной несущественна для читателя, то вероятность того, что данная фонема одной строки найдет себе по крайней мере одну идентичную фонему в соответствующей области другой строки (непосредственно рядом с фиксированной гласной, слева или справа от нее), составит $\Gamma'=1-(1-\varepsilon)^m$, где m — размер области поиска (число фонем, в данном случае $m=2$). Вероятность же идентичности хотя бы одной пары фонем в двух областях двух строк составит $\Gamma=1-(1-\Gamma')^m=1-(1-\varepsilon)^{m^2}$, что для средней согласной составляет ~0,27. Столь высокая вероятность делает такой прием достаточно «бедным», слабо выделяющимся из всей массы возможных сочетаний фонем, встретившихся в стихе; эта бедность усугубляется «зашумлением» — неидентичностью других соседних фонем; поэтому такие созвучия (типа *кур—ра*) малоэффективны. Но если, допустим, потребовать идентичности двух согласных (стоящих рядом — слева и справа от фиксированной гласной), то вероятность случайного возникновения такого феномена снизится до $[1-(1-\varepsilon)^2]^2\approx 0{,}02$, и такие созвучия (с равноправием типов: *кур—рак* и *кур—кар*) уже получат определенное право на существование. Если же наложить еще и ограничение на изменение позиций идентичных согласных относительно фиксированной гласной, то вероятность такого феномена составит $\varepsilon^2\approx 0{,}006$. Такой прием должен обладать весьма большой силой воздействия (и вполне способен вытеснить «конкурирующий» с ним предыдущий прием). Действительно, паронимы [16] типа *дань—день* (Хлебников) входят в арсенал русских рифм.

Не продолжая перечня всех возможных рифменных ситуаций, рассмотрим лишь случай, когда область созвучия задается только свойствами самих идентичных элементов — фонем. Пусть областью поиска охвачено по 4 фонемы в каждой строке (и эта область «скользит» вдоль строки по мере чтения стиха). Тогда любая фонема из области поиска в первой строке найдет идентичную фонему среди 4 фонем области поиска во второй строке с вероятностью $1-(1-\varepsilon)^4\approx 0{,}27$, а вероятность того, что хотя бы одна пара фонем в двух областях поиска окажется идентичной, составит $1-(1-0{,}27)^4\approx\approx 0{,}71$, и *такой прием существовать не может. Если потребовать* от приема идентичности двух соседних фонем (с фиксированным порядком), то вероятность случайного их появления составит около

[16] Полученный нами критерий необходимости идентичности минимум двух фонем для паронимии близок к используемому в современной исследовательской практике критерию минимума в виде двух тождественных согласных на орфографическом уровне (Григорьев 1978).

0,04, и такой прием будет еще весьма слаб на фоне окрестной неидентичности. Если же потребовать идентичности т р е х с о с е д н и х ф о н е м (с фиксированным порядком), то вероятность случайного их появления падает до 0,0015, что обеспечивает возможность функционирования такого приема. Таким образом, минимальные размеры области созвучия зависят от способа задания области поиска, от ее местонахождения и ограничений на порядок фонем.

В предыдущих рассуждениях, как правило, рассматривалось лишь сплошное созвучие [17], в котором *идентичные элементы* образуют последовательность, не прерываемую внедрением «посторонних» фонем (не участвующих в создании созвучия). Теперь следует рассмотреть проблему разрыва, т. е. определить максимально допустимую величину разрыва, при которой созвучие еще продолжает функционировать. Из всех возможных вариантов рассмотрим (поскольку в данной статье мы преследуем преимущественно методические цели) только один, самый простой *вариант*.

Представим себе, что читатель зафиксировал наличие рифменного созвучия, но с одного из краев его, за разрывом в одну фонему, в каждой строке находится еще по одной идентичной фонеме. Вероятность случайного возникновения такого феномена $\Gamma=1-(1-\varepsilon)^4$, что при $\varepsilon=0{,}075$ (согласная) дает $\Gamma \simeq 0{,}27$ — прием достаточно бедный, но все же способный функционировать, в особенности если учесть слабость «шумов» за счет неидентичности единственной фонемы разрыва. Если же разрыв составляют две фонемы, то $\Gamma=1-(1-\varepsilon)^9 \approx 0{,}52$, т. е. прием резко ослабляется, но все еще может восприниматься (правда, при условии достаточно сильного созвучия слева). А при разрыве в три фонемы $\Gamma \approx 0{,}86$, т. е. такой «прием» почти всегда существует; кроме того, поле поиска при этом должно превышать предельный объем кратковременной памяти, и такая поддержка за счет идентичности не может восприниматься в качестве «рифменного подспорья». Поэтому разумным максимальным размером для разрыва рифменного созвучия следует считать две фонемы.

Определение допустимых разрывов, перестановок фонем в рамках созвучия, границ рифмы требует наложения еще ряда ограничений, например, ограничений «позиционного» характера. Так, разрыв созвучия в позиции опорной согласной безусловно «*сильнее» аналогичного разрыва в предударных и заударных слогах*. Поэтому для того, чтобы он не нарушал восприятия созвучия как целостной единицы, необходимо слева от такого разрыва иметь созвучие также достаточно «сильное» (очевидно, например, что звуковое совпадение всего лишь безударных гласных будет недоста-

[17] Исключение составляла лишь ситуация с фиксацией, неидентичных ударных гласных.

точным). Имеет значение и количество разрывов в рамках созвучия, число перестановок фонем или разного рода сочетаний разрывов с перестановками (метатетический, эпентетический и другие типы созвучий, см. Григорьев 1979). Необходимо также рассмотреть вопрос о пограничных фонемах рифменного созвучия (например, включать ли в его состав пару сходных по звучанию безударных гласных в закрытом предударном слоге на левой границе созвучия, и т. п.). Подробно эта проблема будет рассмотрена в следующей статье предполагаемого цикла.

Получив представление (выведенное дедуктивно, но, впрочем, хорошо согласующееся с эмпирическим материалом) о диапазонах возможных изменений изучаемого феномена, можно перейти к разработке техники измерения его параметров.

Предполагается рассмотреть три основные параметра рифмы, отражающих ее эволюцию: местоположение (параметр, характеризующий, в частности, процесс сдвига созвучия влево), богатство (число фонем созвучия) и степень отклонения от точности совпадения звучания (*см. выше о структуре восприятия рифмы*).

ЛИТЕРАТУРА

Гаспаров М. Л. Первый кризис русской рифмы (к статье Минералова). — «Studia metrica et poetica II (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 420). Тарту, 1977, с. 59—70.

Григорьев В. П. Поэтика слова (на материале русской советской поэзии). Автореф. докт. дис. М., 1978.

Григорьев В. П. Поэтика слова. М., Наука. 1979, с. 280—283.

Жирмунский В. М. Рифма, ее история и теория. — В кн.: Жирмунский В. Теория стиха. Л., Советский писатель, 1975, с. 235—430.

Кондратов А. М. Статистика типов русской рифмы. — ВЯ, 1963, № 6, с. 96—106.

Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека (введение в психологию). М., Мир, 1974.

Миллер Дж. Магическое число семь плюс или минус два. — В сб.: Инженерная психология, М., 1964.

Минералов Ю. И. Современная предударная рифма и проблема рифменной эволюции в русском стихе. Автореф. канд. дис. Тарту, 1975.

Моль А. Социодинамика культуры. М., Прогресс, 1973, с. 48.

Петров В. М. О построении функциональной дедуктивной классификации культурных объектов. — В сб.: Модели и методы исследования социально-экономических процессов. М., 1976, с. 167—202.

Петров В. М., Грибков В. С. Семиотический анализ некоторых аспектов цветового языка. Предварительная публикация. М., 1976.

Петров В. М., Каменский В. С., Шепелева С. Н. «Прозрачность» стиля прозы: опыт экспериментального исследования восприятия. — В сб. Проблемы структурной лингвистики, М., Наука, 1978.

Толстая С. М. О фонологии рифмы. — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 181, Тарту, 1966.

Тростников В. Н. Алгебра гармонии. М., Знание, 1968.

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

СОДЕРЖАНИЕ

Г. О. Винокур. Введение в изучение филологических наук 3

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Н. Ю. Шведова. Об идентификации предложений на основе их стационарных характеристик 59
В. Г. Вилюман, П. А. Соболева. Семантико-синтаксические проблемы в контрастивной лингвистике 68
Ю. А. Левицкий. Семантика русских сочинительных союзов 83
И. В. Альтман. Локализаторы в структуре предложения 91
Л. И. Василевская. Синтаксические возможности имени собственного. II 98

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СЛОВА

М. Я. Гловинская. Общефактическое значение несовершенного вида 108
Г. А. Смирнова. Грамматические категории неодушевленных несклоняемых существительных 125
Е. В. Красильникова. О формальной структуре слова 149
Т. С. Морозова. Структура словообразовательных парадигм глагола и ступенчатый характер русского словообразования 162
Е. Л. Гинзбург. Компактные словообразовательные гнезда 175

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Л. Гаспаров. Итальянский стих: силлабика или силлабо-тоника? 199
Вяч. Вс. Иванов. Об одном способе организации ритмического построения стихотворения 218
С. И. Гиндин. Ритмика, интонация и смысловая композиция в поэме Вл. Луговского «Как человек плыл с Одиссеем» 230
Е. Ю. Кукушкина. Лексические повторы в ранней лирике А. Блока 266
С. Н. Шепелева, В. М. Петров. К проблеме описания эволюционных параметров русской рифмы 273

Проблемы структурной лингвистики 1978

Утверждено к печати
Институтом русского языка АН СССР

Редактор издательства Г. Н. Корозо
Художественный редактор Т. П. Поленова.
Технический редактор О. Г. Ульянова
Корректоры М. В. Борткова, Н. Б. Габасова

ИБ № 18108

Сдано в набор 9.06.80
Подписано к печати 10.12.80
Формат 60×90¹/₁₆. Бумага № 3
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 18,25. Уч.-изд. л. 19,9
Тираж 2850 экз. Тип. зак. 1523
Цена 2 р. 40 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Орденов Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

В издательстве «Наука» готовятся к печати:

Ахметьянов Р. Г.
ОБЩАЯ ЛЕКСИКА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ.
10 л. 1 р. 50 к.

В книге дается семантический и этимологический анализ общих в языках Среднего Поволжья слов, относящихся к мифологии, фольклору, календарным и семейным обрядам, этике и эстетике личных имен.
Для специалистов по языкам, фольклору, литературе, этнографии и истории тюркских, финно-угорских и русского народов.

Гловинская М. Я.
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВИДОВЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ РУССКОГО ГЛАГОЛА.
12 л. 1 р. 20 к.

В работе предлагается способ описания видовых значений глагола, обсуждается проблема разграничения лексического и видового значения внутри видовой пары глаголов.
Для лингвистов — научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов.

Книгу можно заказать предварительно в магазинах Центральной конторы «Академкнига», в местных магазинах книготоргов или потребительской кооперации.